

1995 РОССИЯ

ПЕРЕКРЕСТОК

Ц О М Е Т

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

ВЫПУСК ВТОРОЙ

ИЗРАИЛЬ 5755





ПЕРЕКРЕСТОК

Ц О М Е Т

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

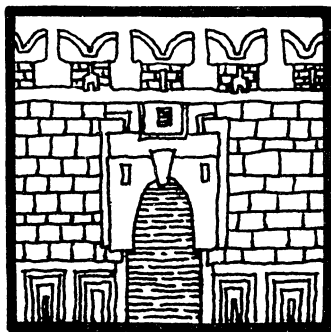
ВЫПУСК ВТОРОЙ

Главный редактор
Леонид Гомберг (Израиль)

Соредактор
Рада Полищук (Россия)

Составители выпуска:
Марк Котлярский (Израиль)
Рада Полищук

Художник:
Марат Закиров (Россия)



Тель-Авив Москва
5755 1995

Альманах «Перекресток - Цомет» издается
совместно независимыми литераторами Израиля и России.
Произведения печатаются в авторской редакции.
Авторские права на произведения, опубликованные в альманахе,
принадлежат авторам.
Часть тиража распространяется в Израиле. часть – в России.



Издание альманаха финансирует
ЧАСТНАЯ ФИРМА С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛЬЯ КОЛЕРОВ и К^О"

Адрес фирмы: 117588, Москва, Новоясеневский просп.,
д. 13, корп. 2. Телефон: 425-90-39.

П 27 Перекресток – Цомет: Литературный альманах. Вып. 2. –
Тель-Авив – Москва, 1995. – 352 с.

ISBN 5-86225-136-7

Во второй выпуск альманаха «ПЕРЕКРЕСТОК — ЦОМЕТ» вошли произведения московских литераторов, ныне живущих в Москве, и тех, кто по тем или иным причинам покинул Россию, избрав местом проживания Израиль. Это проза, поэзия, публицистика, воспоминания, написанные в разное время и по разным поводам. Есть в этом выпуске альманаха новая рубрика — «Мемориальные страницы».

ГТ $\frac{4702010000-06}{335(03) - 95}$ Без объявл.

ББК 84 (2 Рос-рус) 6

ГТ $\frac{4702010000-06}{335(03) - 95}$ Без объявл.

ISBN 5-86225-136-7

© Составление и название.
Литературный альманах «Перекресток — Цомет»,
1995. Россия, 125015, Москва, Бутырская ул.,
д. 53/63, кв. 43. Р.Е. Полищук
St. Ben-Zion Israel 19-13, 59621 Bat-Yam, Israel,
Leonid Gomberg
© Оформление Марата Закирова
© Фото Леонида Гомберга

СОДЕРЖАНИЕ

Россия

ПРОЗА

Семен ЛИПКИН
Пушкинская улица
(из книги «Зарисовки и соображения»)
6

Юрий ЧЕРНЯКОВ
Полукровка. Повесть
48

Алла ГЕРБЕР
Молитва (из книги «Мама и папа»)
74

Рада ПОЛИЩУК
Невыдуманное
96

ПОЭЗИЯ

Евгений РЕЙН
В жизни, как в письмах, помарки с размаха
100

Ефим БЕРШИН
Рождение
105

Нина ГАБРИЭЛЯН
Дух могучий рода
112

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Бенедикт САРНОВ

Кто мы и откуда?

118

Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ

Я люблю вас — и живых, и мертвых

147

Юлия РАХАЕВА

До и после Осташвили

155

МЕМОРИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Галина ДРОБОТ

Выдох на излете

(предисловие)

162

Юрий НАГИБИН

Притча о Мордане

164

Последняя глава

(из повести «Тьма в конце туннеля»)

176

ПЕРЕКРЕСТОК — ЦОМЕТ

Фотоальбом

*

Дорога по бездорожью

* *

ПРОЗА

Семен ЛИПКИН
Юрий ЧЕРНЯКОВ
Алла ГЕРБЕР

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА

(из книги «Зарисовки и соображения»)

Много прекрасного, значительного связано в моей душе с небольшим кварталом Пушкинской улицы между Троицкой и Еврейской. Начать с того, что здесь, поближе к Троицкой, я провел первые два года своей жизни, и потом часто приходил с отцом к прежним соседям, которые громко и певуче удивлялись тому, как я вырос, ласкали меня и угощали коржиками, и каждый раз отец со вздохом показывал мне двери, наполовину стеклянные, с приподнятыми шторами, и единственное окно того магазинчика, который он вынужден был покинуть, запутавшись в долгах, — по вине моей матери, не забывал он повторять, — и наша семья перебралась, к стойкому огорчению матери-фантазерки, в дом победнее, попроще, в Овчинниковском переулке, где я жил до своего отъезда в Москву и где, задыхаясь от астмы, от эмфиземы легких, умер в муках мой отец.

Дом — двухэтажный, шестнадцать квартир — принадлежал французу-виноторговцу, сам он жил в другом месте, а здесь, в длинном подвале, зарешеченном со стороны улицы, хранилось вино, и запах его был прочнее менявшихся после революции властей, и только при окончательно укрепившихся большевиках он окончательно исчез.

Мне было пять лет, когда нас с отцом позвала к себе на Пушкинскую бывшая соседка, кормившая себя и двух маленьких детей шитьем мужского белья: ее муж уехал в Америку, и о нем не было ни слуху ни духу. Мама тоже была приглашена, но не пошла, она ревновала отца к этой безмужней женщине. А та пригласила нас к себе из-за необычайного события: она жила на втором этаже, и у

нее был балкон, выходявший на улицу, и с балкона можно было в этот день увидеть приехавшего в Одессу царя. Для отца это было небезопасно, он вел социал-демократическую пропаганду среди рабочих мелких мастерских. Шла война, он был оборонцем, сторонником Плеханова, но находился на сильном подозрении у полиции, редко ночевал дома, прятался там, где работал закройщиком в мастерской богатого военного портного на Новосельской, в новом доме эклектической пышной архитектуры, ровеснике века. А если он ночевал дома, то наш городской, толстоногий и сивоусый, как Тарас Бульба, всегда пахнувший кислыми щами и крепким табаком, предупреждал его заранее о возможном обыске: городской получал от мамы красненькую каждый месяц.

Отец назначил нам свидание у фонтана в Александровском садике, недалеко от нашего переуллка, мама привела меня к нему, он взял меня за руку, в другой руке он сжимал серебряный набалдашник трости, и мы отправились на Пушкинскую. Сейчас вряд ли кто поверит, что человек, скрывавшийся от полиции, настраивающий рабочих против существующего строя, мог свободно идти по центру города, да еще с какой целью? Посмотреть на царя!

Дойдя до Главной синагоги, мы уже издали услышали голоса военных труб. Кстати, именно эта синагога дала свое название Еврейской улице, точно так же, как Троицкая получила свое название потому, что в конце этой улицы, в начале парка, располагался монастырь св. Троицы, белые здания которого, в чудной своей чистоте выглядывавшие из густой зелени, были уничтожены во время гражданской войны. А следующая улица именовалась Успенской, в честь круглившейся на другом конце, на Преображенской, поныне действующей церкви Успения Божьей Матери. То, что в портовом, пестром городе наименования улиц были обязаны храмам или названиям народов, — имелись и Лютеранский переулок, и Польский спуск, и Греческая площадь, и Итальянский и Французский бульвары, а в том же парке, который начинался монастырем, над самым морем сохранились мусульманские арки Турецкой крепости, — придавали многонациональной Одессе своеобразную, красочную прелесть. Не потому ли двуединство религии и нации так рано и сильно осветило мое детское сознание?

Мы свернули на Пушкинскую. Показалась важная процессия. Она двигалась от вокзала по направлению к Николаевскому бульвару, к Воронцовскому дворцу, предназначенному для краткого пребывания царя. По обе стороны улицы стояли любопытные. То не были знатные люди, допущенные по специальным пропускам, —

кто хотел, тот и пришел, и места впереди, у кромки тротуара, достались не самым проверенным, а самым проворным.

Нас никто не вздумал останавливать, мы спокойно поднялись на второй этаж. Изю всех окон, с балконов старались разглядеть царя обитатели Пушкинской и их знакомые. У нас в городе улицы нередко делились на отрезки, соответствующие материальному и сословному положению жителей. На Пушкинской, начиная от вокзала, вдоль перпендикулярных к ней Новорыбной и Старо-Резничной с Привозом, Большой и Малой Арнаутскими (здесь когда-то селились албанцы, иначе — арнауты), Базарной, Успенской, Троицкой и Еврейской сосредоточились дешевые, пользовавшиеся дурной славой номера, лавки ремесленников и мелких торговцев. Хорошо помню и бедную синагогу в глубине обширного двора. А потом, начиная с Жуковской и Полицейской, улица богатела, чванилась, постепенно становилась частью Средиземноморья, появлялись великолепные дома, карниаты могущественных банков, сверкающие надменной роскошью магазины, изумительное здание биржи (теперь там зал филармонии), построенное и украшенное итальянскими архитекторами и скульпторами. Бродская синагога толстосумов, воздвигнутая галицийскими выходцами из города Броды, — первая в Одессе хоральная синагога с органом, с готическими башенками и вытянутыми, узкими готическими окнами, теперь полуразрушенная: в сохранившейся изуродованной части размещено какое-то архивное управление.

Когда-то Пушкинская была многоцветной. Говорят, что такой ее впервые увидел Пушкин. Сухие ветры, горячее солнце Новороссии, осенние и зимние дожди, годы военного коммунизма и сплошной коллективизации погубили яркую окраску стен, штукатурку, но при мне в широких, гулких, загаженных, но веющих прежней роскошью парадных еще сохранились росписи. Не знаю, обладали ли они художественной ценностью, но помню то чувство праздника, приобщения к иному, зовущему, загадочному миру, которое охватывало меня, когда я, босоногий, забегал в чужие богатые парадные и смотрел на нарисованных людей и птиц, живущих незнакомой, может быть, вымышленной жизнью.

Конный кортеж двигался медленно. В толпе зевак виднелся только один городской. Он часто крестился, держа в левой руке фуражку. Буколические, беспечные времена — преступно беспечные, как вскорости выяснилось. Я просунул голову сквозь витую ограду балкона, мне мешал высокий платан. Царя я не запомнил, хотя мне на него указывали, — вот он, на лошади, но другие военные тоже сидели верхом, а кто из них царь?

Моя двоюродная сестра Дора, которая была на шесть лет старше меня, рассказывала, что она видела, на той же Пушкинской, не только царя, но и наследника, когда они приехали в Одессу в связи с трехсотлетием дома Романовых. Это было в год моего рождения. Сестру поразило, что наследника почему-то нес на руках огромный матрос. Наследник был в военной форме.

Этот рассказ так глубоко врезался мне в память, что я постепенно привык к мысли, будто я сам, собственными глазами, видел наследника. Он стал мне казаться существом сказочным, но близким, ведь он тоже был мальчиком, как и я. Мальчик, а одет как офицер. И еще то необыкновенно, что его нес на руках матрос. Наверно, так полагается? И вот я уже о нем рассказывал другим мальчикам, когда учился в гимназии, рассказывал с подробностями, каждый раз все более уточнявшимися. Фантазерство я унаследовал от матери.

О наследнике я расспрашивал отца. "Несчастный ребенок", — пожалел его папа, глядя на меня печальными синими глазами. Я не забыл эти слова. Повторяю, я думал, что так полагается, чтобы матрос нес цесаревича на руках. Когда по пятницам я посещал с отцом баню Исаковича, я видел на худом отцовском теле бледно-розовые полосы, которые навсегда остались после ударов казачьих нагаек в 1905 году, — и вот бунтовщик пожалел большого царского сына. Ох, недаром Ленин терпеть не мог меньшевиков!

Как давно это было! Мы выписывали "Ниву", некоторые старые номера сохранились в доме и после революции, и я хорошо помню тот фотоснимок, о котором так пронзительно написал Георгий Иванов:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно.
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
И как безнадежно бледны
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Может быть, в моей памяти остались жить и другие фотоснимки тех в бездну канувших лет, и я соединяю с ними действительно пережитое?

Задумав эти записки, я решил, что буду писать, доверяясь только, по-батюшковски, "памяти сердца", никуда не заглядывая, ни в старые газеты, ни в справочники, даже вот эти строки Георгия Иванова цитирую по памяти. Пусть страницы записок будут палимпсестом моей души, пусть прежние годы сами собой оживут под тем, что начертано годами более поздними.

Мой земляк, который в 1916 году, в день приезда царя, уже заканчивал гимназию, рассказывал мне: царь свернул с Пушкинской на Преображенскую, чтобы помолиться в соборе. Против собора выстроилась шеренга любопытствующих гимназистов. Помолвившись, царь вышел, закурил, но быстро бросил папиросу на мостовую. Между ним и гимназистами не было никакой охраны. Из шеренги выбежал мой земляк и поднял окурочок. Папироса была не фабричная, на гильзе виднелся золотой ободок...

О меньшевизме отца. Он вовлекся в рабочее движение на рубеже двух столетий, сиживал в царских тюрьмах, где пристрастился к чтению. Теперь кажется невероятным, что политический заключенный имел возможность в тюрьме читать русских и иностранных классиков, римскую историю Моммзена, популярные книги Рубакина, Мечникова. А еще с воли как-то добрались до арестантов и сочинение Каутского «Экономическое учение Карла Маркса» и более опасные. У отца была могучая память самоучки: он знал наизусть рассказы Чехова, Горького, Куприна, Короленко и даже роман Достоевского «Идиот». Однажды в Киеве ему удалось попасть в тюрьму вместе с родственником (племянником, кажется) сахарозаводчика Бродского, и богатая семья присылала лукулловы обеды всем политическим. Нет, что ни говорите, а такое неразумное государство должно было рухнуть.

После революции 1905 года отец, снова посаженный в тюрьму, а потом отправленный в ссылку в Сибирь, бежал по фальшивому паспорту за границу, стал эмигрантом, жил несколько лет в Париже, научился свободно (возможно, с ошибками) говорить по-французски. Он рассказывал мне: у него заболели зубы, товарищи посоветовали ему обратиться к врачу социал-демократу, живущему в Париже, как и они, в эмиграции. То был Раковский, впоследствии председатель Совнаркома Украины, а при дальнейшем последствии — расстрелянный как троцкист.

Рабочий портновской мастерской обалдел, когда ступил в буржуазную квартиру зубного врача. Товарищ по партии осмотрел его рот и на ломаном русском языке не то болгарина, не то румына сказал: «Вам надо серьезно лечиться, у меня вам будет не по карману, я вас направлю к другому врачу».

В 1910 году отец вернулся в Россию, женился на моей матери, постепенно отошел от революционной деятельности. Большевиков он терпеть не мог и откровенно высказывал свои чувства в советские годы. Впрочем, он был неоригинален, в нашем переулке, да и во всем городе жители не терпели большевиков — за редким исключением. Отцовскими высказываниями соседи объясняли арест

отца летом 1925 года, но они ошибались, дело было не в болтовне: в это время, когда покончили с выходцами из буржуазных партий, стали по всей стране сажать бывших эсеров, меньшевиков, бундовцев, анархистов. Отца поместили в камеру вместе с известным в городе журналистом Соколовским-Седым, чья дочь была первой женой Троцкого. Я привозил им в ДОПР (Дом принудительных работ — такой псевдоним выбрала себе тюрьма) хлеб, халву, пшенку с солью и сифон сельтерской. Мальчишке разрешалось навещать заключенных каждый день. Трамвай двигался по Люстдорфской дороге, он был битком набит крикливыми женщинами, подростками, детьми, жаждущими искупаться у берегов немецкой колонии, и только я один не устремлялся к морю. С трудом протискиваясь сквозь потную и плотную груды тел, я выходил на остановке около кирпичных зданий камер и мастерских. А напротив вольно и пусто пылилась и зеленела степь.

От политических заключенных требовали, чтобы они отреклись от своего прошлого. Соколовский-Седой в конце концов сдался, он и отца уговаривал сдать: «У вас маленькие дети, на стороне большевиков не только сила, но и историческая правота». Но отец стоял на своем: «От политической деятельности отошел давно, но в ней не раскаиваюсь, я сторонник идей Плеханова и Каутского». Вскоре он остался в камере один, Соколовского-Седого выпустили. Ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. Отца, просидевшего около полугода, тоже выпустили, взяв с него подписку, что он впредь не будет заниматься политикой.

Это произошло на пятом в нашем городе советском году. До этого, как известно, власти у нас менялись часто. При Деникине мне удалось поступить в старший приготовительный класс пятой гимназии. Я выдержал экзамены на все пятерки, иначе я вряд ли попал бы в гимназию. Готовил меня мой дядя Абрам, занимавшийся репетиторством, он давно окончил частную гимназию, но в университет поступил тогда же, когда я в гимназию, ему было далеко за тридцать. Осенью 1941 года его убили немцы где-то под Новороссийском. Как репетитор он пользовался уважением, недурно зарабатывал. Я ему обязан еще и тем, что он научил меня основам русской версификации, и я уже в детстве мог отличить не только ямб от хорея, но и амфибрахий от анапеста и дактиля.

Гимназия помещалась далеко от нашего дома, в получасе ходьбы. По той же Пушкинской улице я шел до Новорыбной, в конце которой, около Земской, поближе к морю, виднелось справа до сих пор меня волнующее многоэтажное серое здание. Пятую гимназию, с присущей ему художественной точностью, описал Валентин Катаев, там преподавал его отец, там он и сам учился —

конечно, задолго до меня. Среди моих друзей есть такие, которые считают меня образованным человеком, это ошибка, просто все одичали; однако должен сказать, что если я что-нибудь знаю, то это благодаря тому, что я проучился полтора года в гимназии, а когда пришли и прочно утвердились большевики, то в новой советской школе остались прежние учителя, мы еще долго учились по старым учебникам, даже латынь у нас ликвидировали не сразу, а лишь тогда, когда от голода умер преподаватель.

Я любил свою гимназию, любил метлахские плитки длинного зала, высокие окна в сад, высокие классы, до которых доходил шум поездов, — вокзал был близко, любил учителя словесности Петра Ивановича Подлипского, стройного, седого, но еще не старого статского советника с орденом на скюртуке, — говорили: Станислава второй степени. Зажмурив глаза, он читал нам Полонского, помню его молодой, высокий голос: «Думы с ветром носятся, ветру не догнать». Он преподавал и в советское время, и отмечал меня из гущи учеников, потому что я с чувством и разумением декламировал на уроках стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Никитина.

Еще я любил подниматься в гимназии на второй и третий этажи, где учились старшекласники, уже разделенные политическими убеждениями, и на самый последний, четвертый этаж — его занимала церковь св. Алексея: так, сказали мне, она была названа в честь покровителя наследника. По большим праздникам там молились и жители соседних домов.

Я забыл, как она была устроена, помню только странное для мальчика, выросшего в многонациональном городе торговли, мореплавания и ремесел, чувство благоговения и неосознанного умиления, которое нежно овладевало мной в гимназической церкви. Точно такое же чувство, всегда свежее, я испытывал потом в других церквях — и в соборе (он уничтожен) на Преображенской рядом с домом Попудова, и в костеле на Екатерининской, с его яркостью и живой наглядностью изваяний, и на той же Екатерининской в греческой церкви с витражами на евангельские темы, и в католическом храме св. Петра на Гаванной, который, направляясь по спуску к морю, посещали француженки-модистки и пузатые виноделы и кондитеры, и в кирхе на Новосельской, в которую важно, с сознанием своего превосходства богатых набожных крестьян, вступали целыми семьями окрестные лютеране, а в более поздние годы — в калмыцком хуруле, где старенький, изнутри светящийся отрешенной добротой гелюнг подарил мне маленького Будду-Майтрею, чтобы мне была помощь в работе над переводом священного эпоса, и в мечетях Самарканда

и Бухары, и в бурятском дацане, и, наконец, в индуистских храмах в Дели, Мадрасе, Калькутте. Бог в этих храмах был тот же, что и в синагоге, тот же, что и во мне, но в синагоге я жил дома, а в тех храмах я был в гостях у приветливых, благочестивых хозяев.

Кроме преподавателя русского языка моим покровителем в гимназии был батюшка Василий Кириллович Флоря, по происхождению молдаванин. Я посещал его уроки Закона Божьего, хотя был от них освобожден. Ему была по душе моя детская религиозность. Я продолжал с ним дружить, когда стал московским студентом, и по-прежнему, как в детстве, бывал у него в доме на улице Петра Великого, недалеко от кирхи и консерватории. Был он небольшого роста, худенький, всегда улыбающийся, на морщинистом личике жгуче выделялись выпуклые цыганские глаза, волосы у него были длинные, но редкие. В конце первой мировой войны рядом с его квартирой во флигеле в глубине двора поселилась семья евреев-беженцев из Галиции, там был мальчик по имени Цаля, который через чердак забирался на крышу основного дома и плясал на самом краю ее, к ужасу прохожих. Василий Кириллович бранил его басурманом. Когда при петлюровцах в городе ожидали погрома, Василий Кириллович прятал Цалю у себя. Цаля этого не забыл и, когда вырос, приносил дошедшему до полунищеты Василию Кирилловичу деньги под православные праздники, а то приводил живого индюка: отец Цали при нэпе разбогател.

Будучи московским студентом, я в пору каникул снабжал Василия Кирилловича книгами, которыми тогда увлекался: изданными до революции сочинениями Хомякова, Данилевского, Бердяева, Булгакова, Мережковского, Гершензона. Батюшка внимательно их читал, делая выписки, ему кое-что нравилось, но суждения его были скорее отрицательными: «Все хотят обосновать, у протестантов научились, головой веруют, а не сердцем. Вот Хомяков верует сердцем, на других не похож».

Приехав в 1933 году на каникулы, я, как всегда, пришел навестить его, но в квартире жили уже другие люди, Василия Кирилловича отправили, как мне сказал Цаля, учившийся в мореходке, на Соловки, там он и погиб. Не знаю, что стало с матушкой и тремя их рослыми, в мать, длинноносыми дочерьми, они вынуждены были переселиться на окраину города, в самый конец Градоначальнической. Цаля их перевозил, дал мне их адрес, но я поленился к ним пойти, объясняя самому себе это тем, что я мало с ними общался. Мой грех.

Моим гонителем в гимназии был преподаватель истории Игнатий Кузьмич Лысяк — несмотря на то, что я увлекался его

предметом, старательно учился (я хорошо учился в средней школе и посредственно в высшей). Игнатий Кузьмич зло, во время занятий, смеялся над тем, что я, посещая уроки Василия Кирилловича, одновременно, после гимназии, хожу в хедер¹ — не знаю, как дошли до него эти верные сведения.

Не думаю, что я был очень наблюдательным мальчиком, но я заметил, что, когда в городе властвовали французы, немцы (австрийцы) или — недолго — большевики, Игнатий Кузьмич ко мне не придирался, но стоило город занять добровольцам или одной из украинских банд, как житья мне от него не было. Его предмет (историю) мы изучали по учебнику Иловайского, того самого, на дочери которого был женат первым браком отец Марины Цветаевой. Учебник начинался словами: «Наши предки славяне...», а в классе, наряду с украинцами, русскими, поляками, сидели сыновья армян, греков, немцев, караимов и два еврея — я и Дуська Гренадер, впоследствии майор НКВД по строительной части.

Лысяк меня невзлюбил с того дня, когда я поступал в гимназию. Главный экзамен принимали сразу три преподавателя — русского языка, истории и Закона Божьего. Я должен был прочесть наизусть стихотворение «с выражением», назвать коренные слова (то есть с буквой «ять»), ответить на вопросы, связанные с историей, — стихотворения подбирались экзаменаторами соответствующим образом. На мою долю выпала пушкинская «Песнь о вещем Олеге».

Вначале дело пошло хорошо. Стихотворение я знал наизусть, прочел с выражением и коренные слова назвал правильно, четко ответил на вопросы батюшки — кто был Олег, почему у него не-славянское имя. Игнатий Кузьмич, пододвинув верхней губой густые усы к изогнутому и заостренному гоголевскому носу, как будто в рот ему попала какая-то кака, спросил:

— Не попытаетесь ли вы нам объяснить, почему Пушкин назвал хазар неразумными?

Я не ограничился Иловайским, жадно читал купленные мне отцом (вместе с ним читал) книги по истории древних и средних веков. Хазары будоражили мое воображение, так как были единственным послебиблейским народом, принявшим иудейство, я сумел ответить на вопрос довольно подробно. Но Игнатия Кузьмича я раздражал своим существованием, это было ясно всем. Он задал новый вопрос:

— Может быть, вам известно название столицы хазарского царства и где она была расположена?

¹ Хедер — еврейская начальная религиозная школа.

В учебнике об этом не было ни слова, однако я не смутился:

— Столицей хазарского царства был город Итиль. И Волгу хазары называли Итилем. Город помещался между нынешними Астраханью и Саратовым.

— Хорошо вызубрили. А на каком языке разговаривали хазары?

Тут-то он меня поймал. Ответить «на хазарском» было опасно, я, девятилетний, угадал ловушку — и признался:

— Не знаю.

Тем самым отрезал себе дорогу в гимназию. За меня заступился батюшка, сказал историку:

— Нельзя так.

Историк вывел мне пятерку.

Я не случайно написал, что хорошо помню синагогу на Пушкинской в глубине обшарпанного двора. Синагог было много, все не упомнишь, да еще такую невзрачную, но дело в том, что под нею помещался мой хедер.

Улица была названа Пушкинской потому, что Пушкин на ней жил, недалеко от моря, от молодого порта, по которому властно расхаживал бывший корсар Морали и куда, то-то радость, на южных кораблях прибывали устрицы. Пушкин жил довольно близко от знаменитой ныне Дерибасовской, да, в сущности, и от Садовой, от Ришельевского лицея, где впоследствии учился его младший брат Лев. Дом, в котором жил Пушкин, сохранился, правда, перестроенный еще в конце прошлого века, здесь долгое время действовала филия украинского союза писателей. Пушкин, надо думать, прогуливался по улице, но вряд ли доходил до моего заветного квартала, а тем более дальше, до того дома, где в мое время были синагога и хедер, хотя и этот дом весьма старый, середины девятнадцатого столетия. Я полагаю, что в те годы город обрывался близко от того места, где жил Пушкин, а дальше простиралась то многозеленая, то выгоревшая голая степь.

Ворота двора, который я собираюсь описать, пусть бегло, были низенькие, улица опускалась к ним примерно на пол-аршина. Двухэтажное приземистое здание, выходившее на улицу, казалось сугубо городским по сравнению с широким двором, чья пыльная земля по-деревенски обнажалась, кое-где прикрыв наготу булыжником, а флигельки вокруг были, в сущности, сдвоенными или строеными мазанками. Против ворот было другое двухэтажное здание, без входов, без окон, только арка была прорублена в стене, через арку проходили на черный двор, в конце его соседствовали сортир и темный подвал с мусорным ящиком. Слева и справа от арки, со стороны черного двора, взбегали на второй этаж, в сина-

гогу, узкие деревянные лестницы — одна в помещение для мужчин, другая — в отгороженную часть для женщин. Перед входом в помещение для мужчин имелся так называемый пулэш — вестибюль, что ли, в углу его стояли длинная жесткая метла и ведро, орудия производства Тевеля Винокура, шамеса (служки) синагоги. Он-то и был нашим меламедом (учителем). Его жилье находилось под лестницей и состояло из очень большой полутемной кухни, служившей одновременно и столовой и спальней для двоих, кажется, детей, и светлой продолговатой комнаты со скошенным потолком. Она-то и была нашим хедером. Комната замыкалась низенькой нишей, в которой едва умещалась двуспальная деревянная кровать с множеством подушек — видно, на всю семью, — а посередине комнаты, почти во всю ее длину, простирался стол без скатерти, за которым, склонив головы, сидели ученики — курчавые, стриженные, черные, рыжие — и читали книги справа налево, и лишь изредка поглядывали на стены, на портреты раввинов-богословов, длиннородых, в лисьих шапках, и только баронет Мозес Монтефиоре, знаменитый филантроп, красовался хотя и в ермолке, но в европейском белом жабо.

Мой отец был против того, чтобы я учился в хедере. Он не верил в Бога. Сам сын меламеда, прекрасно знавший древнееврейский, он ненавидел иудаистскую схоластику. Он уважал и ценил только русскую образованность. Я не могу объяснить свою раннюю упрямую религиозность. Отец был вынужден уступить моему желанию учиться в хедере. К тому же я завоевал его горделивое расположение, став гимназистом: я был во всем Овчинниковском переулке единственным еврейским мальчиком, учившимся в казенной гимназии.

Хедер содержался на средства погребального братства, но Тевель Винокур получал от родителей добавочную плату за обучение детей. Был он высок, рыж, тощ, глаза его постоянно слезились, прикрываясь длиннейшими ресницами, бороденка редкая, жалкая. Не по-одесски набожный, он говорил: «Одесса — город грешников, вокруг нее на семь миль пылает ад». Он обходил стол, проверял, читают ли ученики древние слова, за спиной держал в руке ремешок, «кантик», но никого ни разу не ударил, разве что, рассердившись на шалуна или на нерадивого, бил по спинкам нескольких стульев — большинство учеников сидело на табуретках. Вопросы задавал на идиш или же, детям из интеллигентных семей, двум или трем, на загадочной смеси польского, украинского и одесско-русского. За столом сидели ученики разных возрастов, от семилетних до тринадцатилетних, одновременно изучали кто букварь, кто Пятикнижие, кто последующие разделы Библии. Ника-

кой методологии не было, нужна была память, и память нешуточная, иные ученики, достигшие тринадцати лет, возраста зрелости, застревали на азбуке, но зато из тех, кто учился успешно, порой вырабатывались личности незаурядные.

Я уже дошел до чтения Пятикнижия, когда в Одессу вступили большевики, на этот раз окончательно. Начался голод, деньги потеряли стоимость, надо было платить Тевелю Винокуру продуктами, а мы сами голодали. Так окончилось мое учение в хедере, и я забыл святой язык, хотя еще после хедера в течение нескольких лет нараспев читал Пятикнижие и даже одолел, хотя и с трудом, «Сказание о погроме» Бялика.

Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый Заветы), «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина? И чем больше другие книги приближаются к этим трем, тем ближе они к моим представлениям о Красоте-Истине. Гомер и Пушкин кажутся мне такими же пророками, как и библейские. Мы ничего не знаем о Гомере и, в сущности, очень мало о Пушкине, о его внутренней жизни. Чем больше накапливается фактов его внешней жизнедеятельности, тем меньше он становится нам понятен. То, что Гомер был слепым, не есть характерная подробность: у многих народов сказители считаются слепыми — тем самым подчеркивается их внутреннее, боговдохновенное зрение. Зная теперь жизнь Пушкина чуть ли не день за днем, можем ли мы его назвать пророком? А почему же нет? Что нам известно о тех годах, когда Исайе и Иеремии еще не исполнилось сорока? Нет Бога, кроме Бога, и Пушкин — русский пророк его, и Пушкинская улица — моя на всем моем земном пути.

Меня с детства тайно и притягивали к себе, страстно волновали Бог и история, то есть Бог и его подобия, и не только Бог Ветхого Завета, но и трехипостасный Бог Евангелия, и смутное, темное приближение к Создателю чувствовалось мне в пантеонах языческих богов Греции, Ассири-Вавилонии, Египта, в богах Рима, отчасти заимствованных у греков. Я читал в богато изданных книгах по мифологии, в романах Эберса «Дочь фараона» и «Уарда» о делах и приключениях этих странных богов. А люди? Куда девались хананеяне или хиттийцы (не хетты ли?), филистимляне или аморреи? По правде говоря, я и теперь не далеко ушел от поэтических, философских вопросов детства, и ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего, интересуют, волнуют,

влекут, мучают, восхищают, обвораживают только два нераздельных явления — Бог и Нация. О них я начал сочинять стихи в семь лет, о них я пишу и в старости. Взрослые упрекали меня, когда я был ребенком, в умозрительности, в ней же упрескают меня порою и нынешние друзья.

Впервые такого рода упрек, не понимая его как следует, я услышал от Семена Соломоновича Юшкевича, знаменитого в те времена писателя. Семен Соломонович постоянно жил, кажется, в Петербурге, а в Одессе останавливался у своего брата, Павла Соломоновича, видного экономиста, меньшевика, знакомого моего отца. Он занимал большую квартиру на Еврейской улице, недалеко от нас.

Павел Соломонович осуждал своего прославленного брата за то, что тот был отчаянным картежником, проводил вечера в ресторане при гостинице «Венеция» — за углом, на Александровском проспекте.

Пьесы Семена Соломоновича ставили лучшие наши театры, а его романы, например, «Леон Дрей» (в сущности, переделку «Милого друга» Мопассана), читала вся Россия. Он числился во втором разряде знаньевцев, где-то рядом с Чириковым, Зайцевым, Найденовым, Гусевым-Оренбургским. О нем, в своих поздних записках, с симпатией отзывается Бунин. Его произведения, тематически, а не стилистически, чем-то предварили «Одесские рассказы» Бабеля. Лев Никулин когда-то сложил такую эпитафию-эпиграмму на Валентина Катаева:

Здесь лежит на Новодевичьем
Помесь Бунина с Юшкевичем.

Столичный писатель пришел к нам в гости в какой-то из осенних еврейских праздников, не то на Рош а-Шана, не то на Суккот, — помню только пятна нашего черноморского солнца на его серой визитке. Был он крупен, даже тучен, но артистичен, волосы его поблескивали бриллиантином, в глазах — нежность и доброта. При мне он рассказал навсегда мне запомнившееся забавное происшествие, связанное с именем Бунина, перед которым — это видно было даже мне, мальчику, — он благоговел. Иван Алексеевич оставил в «Одесских новостях» рукопись рассказа и уехал. Когда рассказ набрали, два сотрудника нашли грамматическую ошибку. Тогдашний влиятельный редактор «Одесских новостей» Владимир Евгеньевич Жаботинский, впоследствии сионистский деятель, учитель Менахема Бегина и других ястребов, рассердился на сотрудников: «Если два еврея находят ошибку у Бунина, то

прав Бунин, а не два еврея». Через некоторое время Бунин прислал письмо в редакцию, вежливо поблагодарил за опубликование рассказа, но посетовал на то, что по его вине в рукопись вкралась ошибка и, увы, повторилась в печати.

Отец велел мне прочесть свои стихи знатному гостю, известному писателю. Семен Соломонович выслушал меня внимательно, как взрослого, и сказал примерно следующее:

— Ты чувствуешь размер, это уже кое-что, но у тебя есть неправильные ударения, читай книги вдумчиво, в особенности стихи, ритм подскажет тебе правильные ударения, поменьше рассуждай, описывай то, что видишь, — вот шелковица растет перед вашими окнами, девочка катается по двору на роликовых коньках.

Его устами, как я понял позднее, говорил довольно прочный, но тусклый опыт сборников «Знания», их узкая правота. Я его послушался, сочинил стихи и о шелковице, и о роликовых коньках, на которых катается стриженная после тифа девочка, и о мастерской, где седые рабочие и подростки-ученики шьют военные мундиры. Ерундовые, конечно, беспомощные стихи, они пропали, как и более поздние, юношеские, за исключением тех, кажется, пятнадцати, которые были помещены в московских журналах. Да и из журналов остались у меня два или три номера.

Возможно, что когда-нибудь, в подходящем месте своих воспоминаний, я объясню причину пропажи.

Было мне четырнадцать лет, когда я начал посещать литературный кружок учащихся Художественной профшколы. В Одессе тогда существовал такой порядок: средние школы были семиклассные, желающим продолжать учение предоставлялась возможность, если они не были детьми лишенцев, поступать в двухгодичные профшколы. Имелись химпрофшколы, металлпрофшколы, электропрофшколы, мукомольные, торгово-промышленная, в которую почему-то устремлялись будущие гуманитарии. Художественная профшкола занимала часть помещения нашей пятой гимназии, ставшей обычной семилетней советской школой. Общие предметы преподавали у юных художников те же учителя, что и у нас, вот почему, не блистая способностями к рисованию и с младых ногтей склонный к консерватизму, я, окончив семилетку, поступил в Художественную профшколу, где все мне было знакомо и мило — и классы, и учителя, и чудесный двор, где ранней весной начинала зеленеть меж камешками пахучая киммерийская наша трава, а за забором слышались звонки трамваев, направлявшихся к морю — на Большой Фонтан, в Аркадию. В новой школе я

узнал и новых учителей — руководителей мастерских: живописной, живописно-прикладной, архитектурной и скульптурной.

Во главе живописной, где увлекались чистым искусством, то есть станковой живописью, стоял художник Михаил Константинович Гершенфельд, человек колоритный. У него была кокетливая походка: вилял бедрами. До революции он прожил несколько лет в Париже, один раз выставлялся вместе с Матиссом (у него дома я видел каталог вернисажа), печатал статьи в «Аполлоне». Я их прочел в нашей Публичной библиотеке, когда узнал, после встречи с Багрицким, что собой представляет «Аполлон»: то были крошечные корреспонденции о событиях художественной и театральной жизни в Одессе. В одной из комнат в Доме ученых на Елизаветинской, где проходили заседания Южно-Русского общества писателей, которые, заканчивая школу, я начал посещать, висела картина Гершенфельда — городской пейзаж, написанный в пуантилистской манере. Михаил Константинович читал, для учащихся всех мастерских, курс истории искусств, начиная его так: «Уже на заре человеческого существования нас восхищают рисунки на кости мамонта». Старшеклассники говорили, что каждый год он произносит одно и то же, заучив свой текст.

Мне это не мешало. Я с благодарностью вспоминаю его лекции. Может быть, они были невысокого качества, но душа мальчика с жарким восторгом узнавала о том, как человек, с помощью кисти, резца и чертежных принадлежностей уподоблялся Богу не только обликом своим, но и способностью творить живое — начиная от человека первобытного до ассирийцев, египтян, греков и римлян, от Леонардо и Микельанджело вплоть до французских импрессионистов и отечественных мирискусников.

В мастерской Гершенфельда занимались только редкие фанатики живописи. Остальные ученики над ним посмеивались, прозвали «французом». Их смешило его виляние бедрами, раздражала его повседневная высокопарность. Он казался им человеком вчерашнего дня. Уже будучи взрослым, я познакомился с двумя славными одесситами, оба — профессора, один — медик, другой — историк. Они были ровесниками Гершенфельда, и на мой вопрос, знали ли они его, ответили одинаково: пустой, манерный, а художник никакой. Может быть, так оно и было, если учесть единодушное мнение старых ученых и подростков-учеников. Но хорошо сказал один восточный краснобай: в пещере невежества радуйся и слабому светильнику. Я обязан Михаилу Константиновичу умением любить живопись и даже немного знать ее, а начало любви всегда прекрасно, всегда памятно.

Противоположностью Гершенфельду был руководитель прикладников Леонид Евсеевич Мучник, красавец-мужчина, высокий, широкоплечий, эффектно одевающийся. Увы, он начинал полнеть. Он участвовал в первой мировой войне, был гусаром. Подумать только, еврей-гусар! В одесском музее живописи висит его картина «Подвоз провианта к броненосцу «Потемкин». Глядя на нее, вспоминаешь выражение Пушкина о сонной кисти художника-варвара. Ученики им восхищались, в особенности ученицы. Стоило ему подсесть, чтобы подправить рисунок, к какой-нибудь хорошенькой, рано развившейся девушке, как он начинал тяжело (ученицы говорили: страстно) дышать. Наверно, он был ловким рисовальщиком, но его темперамент не нашел своего выражения в искусстве.

Он был добрый малый. Ко мне он относился хорошо, смотрел сквозь пальцы на то (он это знал), что рисовать обложки, бордюры, обои и прочее мне помогали мои гораздо более способные соученики. С его помощью, окончив школу, я получил аттестат тринадцатого разряда, а самый высокий был четырнадцатый. Он благоволил ко мне потому, что я писал и даже начал публиковать в местной печати стихи: а вдруг из меня получится нечто не совсем серое? Ремесленник, а не художник, он презирал низменное, преклонялся перед возвышенным, нежитейским.

Мастерские Гершенфельда и Мучника с большими окнами, выходящими на двор, отделялись друг от друга тоненькой, не достигавшей потолка перегородкой. Нам было слышно все, что творится у Гершенфельда, было слышно, как ораторствовал, можно сказать, витийствовал «француз», красноречиво принося неизвестные имена, вроде Пикассо, Леже, Марке, Штук, а иногда совсем загадочное — Аполлинер. Что это — производное от Аполлона? Прикладники громко, с непонятной злостью его передразнивали. «Замолчи!» — приказывал им Леонид Евсеевич, но подмастерья чувствовали, что мастер на их стороне.

Из-за перегородки огрызались, и грубее, повелительнее всех — Шура, молившийся на своего Михаила Константиновича. Шура был сыном кузнеца, работавшего на судоремонтном заводе имени Андре Марти. Он был старше меня года на три, самый сильный мальчик у нас в классе, не раз меня выручавший во время школьных побоищ. Он мало читал, отставал по всем предметам (кроме рисования), но в нем жила та особенная и бесплодная одержимость искусством, которая свойственна цельным, ограниченным натурам. Как оказалось, одержимость еще не есть талант. Шура в Москве стал профессиональным живописцем, членом МОСХа, регулярно выставлялся, но не стал художником. В школе

нас сблизило то, что мы оба приходили к Михаилу Константиновичу домой, Шура — как его любимый ученик и опора, я — ради бесед об искусстве, о французской поэзии. Я немного понимал по-французски (научил отец), а Михаил Константинович с неподдельной очарованностью читал нам Верлена и парнасцев — от него я узнал это слово.

Да, Михаил Константинович нуждался в опоре! В нашей художественной школе немало было детей непролетарского происхождения, особенно непролетарскими были почему-то девочки, и комсомол прислал нам вожака по фамилии Бердичевский, высокого, худого, патлатого, с воспаленными инквизиторскими глазами. Он быстро учуял, что среди преподавателей главный враг — Михаил Константинович, он с комсомольским презрением называл его «аскетом» (хотел сказать «эстет») и начал с того, что запретил Михаилу Константиновичу читать лекции по истории искусств, как далекие от марксизма и потому весьма вредные, что ударило нашего «француза» не только по самолюбию, но и по карману. Я, как редактор стенгазеты, имел право присутствовать на заседании педсовета, и сам слышал, как долгоносый Робеспьер кричал на Михаила Константиновича: «Я хочу знать ваше кредо (ударение на «о»), моя задача — уничтожить вражеское гнездо вашего логова». Остальные преподаватели молчали, боялись. Бояться научились не рано и не поздно, а вовремя.

Действительно, как далек был Михаил Константинович, одесский сотрудник «Аполлона», от комсомольца Бердичевского, тупо возбужденного горячкой классово-борьбы, как далеко была от нескладного парня в кожаной тужурке или в черной косоворотке большая, метров, наверно, в тридцать, комната Михаила Константиновича в бывшей буржуазной квартире на Пушкинской, вблизи того дома, где теперь помещается музей западной живописи (некоторые ценные картины подарил в свое время музею Михаил Константинович), какой элегантный беспорядок был в этой комнате с высоким лепным потолком, как пахла она крахмальной свежестью холостяцкой постели, красками и мужскими духами.

А между тем Бердичевский нашел среди преподавателей и другую жертву — руководителя скульптурной мастерской Марка Луиджи Молилари. Сын скульптора-итальянца, участвовавшего в отделке великолепного здания нашей биржи, Молилари родился в Одессе, никогда не был за границей, но так и не научился правильно говорить по-русски. Он владел одноэтажным домиком на Отрадной улице, самой обольстительной в городе, стены дома были увиты плющом и диким виноградом, посредине дворика (мы

его называли «патио») рос широкий платан, под его навесом Марк Луиджи угощал нас, сочувствующих ему учеников, самодельным вином и ругал Бердичевского, называя его проклятым «тедеско», то есть немцем. Почему немцем? Может быть, он при мне не хотел называть своего гонителя евреем? Или со времен австрийского ига у итальянцев «тедеско» стало ругательством? Лет под шестьдесят, крепкий, загорелый, с большими, сильными руками, всегда в шапочке с помпончиком (он был совершенно лыс), с бородкой, как у испанского гранда, он кричал (он вообще никогда не говорил тихо): «Бельдически! Проклятый тедеско! Он сказал, что я есть фашисто! Я не есть фашисто! Я не есть любитель фашисто! Он сам есть фашисто в черной рубахе! А я есть любитель Джузеппе Гарибальди, а не Бенито Муссолини, который есть кровавая собачка!».

Так он кричал, наливая избранным, любящим его школьникам вино в длинные, узкие кружки из вполне античного кувшина, а близко, рядом, под оползневым обрывом, синел той же античной синевой наш Понт Эвксинский.

Через двенадцать лет после описываемых событий Бердичевского, выгнанного отовсюду, опустившегося, бездомного, арестовали, он исчез в таежной мгле, а Марк Луиджи Молилари и Михаил Константинович умерли достойной смертью в родном городе. Жаль, конечно, Бердичевского, но есть какая-то высшая, самая высшая правда в том, как Господь распорядился судьбой этих трех людей.

А пока нуждался Михаил Константинович в такой опоре, как сын кузнеца Шура, который с непритворной яростью и порою завидной непререкаемостью необразованного адепта защищал, где только мог, своего учителя. Уж если Шура чему-то поклонялся, то поклонялся только с яростью, только с непререкаемостью. Вслед за Михаилом Константиновичем он напал на безбидного старого одесского художника Кишиневского, тусклого, милого эпигона передвижников, на талантливых Волокидина и Фраермана — потому что они третировали Гершенфельда. Став студентом художественного института, Шура с яростью объявил себя крайне левым, азартно подражал украинскому футуристу Пальмову, потом, когда годы искусства повернулись вправо, он с той же яростью последователя рисовал мирную сирень, утверждая, что Кончаловский — единственный стоящий у нас художник, потом ярость его начинала угасать, из-под его кисти поступали на выставки на Кузнецком, на Беговой, в Манеже банальные, большие, скучные картины. Сам он ими громко, непререкаемо восхищался. Впрочем, он был недурным человеком,

добрым товарищем. Так, по крайней мере, я думал, пока не наступила пора «Метрополя». Но об этом после.

В школе я подружился и с Филей, который, хотя и жил в кварталах бедноты, на Молдаванке, был сыном владельца небольшого завода по изготовлению кафельных печей. Сблизились мы, посещая литературный кружок. Однажды Филя прочел на кружке стихотворение, которое поразило всех тщательностью отделки, правда, старомодной. Увы, скоро выяснилось, что это стихотворение принадлежит Огюсту Барбье, русский перевод Филя переписал из календаря. О происшествии заговорила вся школа. Филя затрясся в страхе. Не без влияния Бердичевского было решено устроить показательный суд.

У Филя была школьная любовь — красивая шестнадцатилетняя девушка Женя Тарасенко, младшая сестра жены Ильфа, тогда еще безвестного. Она склонялась было к высокому, сильному парню из народа Шуру, но однажды, когда мы вместе возвращались из школы, неся в руках этюдники и чертежные доски — свои и девушек, Женя, указывая на Шуру, сказала: «Вот моя симпатия». Шура ответил: «Уйди, зараза». Он не знал, что означает слово симпатия, думал, что оно оскорбительное. С этого дня положением овладел прихрамывающий, но миловидный и нарядно, в отличие от всех нас, одевающийся Филя. И вот Женя, повелительно улыбаясь огромными надменными глазами, подошла ко мне во время перемены и властно попросила выступить защитником Филя на показательном процессе. Как отказать такой девушке? Я согласился. Да и за товарища следовало заступиться.

В актовом зале собрались даже те ученики, которые никогда не приходили на занятия литературного кружка. Несколько слов о внешности адвоката. Валя Мироненко, нищий обломок малороссийского дворянского рода, которой я незадолго до суда объяснился в любви, сказала, закуривая папиросу (тогда — для школьницы — чарующая экстравагантность): «Сема, но вы же такой маленький!».

Речь я построил так: да, Филя виновен, выдал стихотворение Огюста Барбье за свое. Но разве стихи, печатающиеся в наших газетах, не похожи одно на другое, как рисунки на обоях? Авторы и не замышляют что-либо заимствовать друг у друга, они не списывают. Боже сохрани, но так как они не умеют мыслить, то получается, что все эти многочисленные вирши плетет один человек. Не хотел ли Филя, несколько странным, отнюдь не заслуживающим похвалы способом, дать урок этим виршеплетам? Не лучшее ли явное, но бескорыстное присвоение чужого, чем скрытое, но корыстное? Поблагодарим же нашего товарища за неумелый, может быть, но поучительный урок.

Дело я проиграл с треском. Бердичевский несколько раз требовал лишить меня слова, называл меня шутом гороховым. Филе дали строгий выговор и запретили навсегда посещать литературный кружок. Однако же речь моя понравилась большинству собравшихся: я впервые почувствовал слабое, но сладкое дуновение славы. Женя Тарасенко преподнесла мне пышно-махровую центрифолию, а преподаватель русского языка Петр Иванович Подлипский и химии — Оганес Александрович Шахдинарьянц (чье имя, отчество и фамилию я себе присвоил, решив выдать себя за армянина, когда в 1942 году на Юге попал в окружение), — смотрели на меня более чем одобрительно: они не столько жалели Филю, сколько ненавидели Бердичевского.

Об этом суде заговорили и в соседней (рядом с вокзалом) торгово-промышленной школе, там тоже был литературный кружок, известный среди городских школьников (на его заседаниях иногда выступали профессиональные поэты, например, Кирсанов, Бондарин), мы устроили совместное занятие двух наших кружков, я прочел свои стихи, меня похвалили, потому что слышали о моей речи на показательном суде. Успех вскружил мне голову, я решил отнести стихи в главную городскую газету «Одесские известия». Петр Иванович Подлипский одобрил мое решение, выбрал наиболее, по его мнению, подходящие.

И вот я аккуратно переписал мои творения в новенькую тетрадку, на зеленой обложке которой густо чернела голова Троцкого, а под ней изречение: «Грызите молодыми зубами гранит науки», и прямо из школы, никому ничего не говоря, с бьющимся сердцем направился на Пушкинскую улицу, в тот квартал между Троицкой и Еврейской, где вблизи от дома, в котором я родился, помещались «Одесские известия», а также редакция «Вечерней газеты», комсомольской «Молодой гвардии», тонкого журнала «Шквал», редактором которого был заезжий человек, подписывавшийся восточным псевдонимом «Суфи», впоследствии известный Петр Павленко, а его заместителем, беспартийной рабочей лошадью, — циничный, образованный, умный, сластолюбивый Станислав Адольфович Радзинский — отец ныне весьма заметного драматурга Эдварда Радзинского.

Все эти редакции переехали сюда сравнительно недавно из старинного — пушкинских времен — дома Вагнера, занимавшего кварталы на Екатерининской и Дерибасовской и два обширных проходных двора которого своей скрытой от иногородних сельской сущностью спорили с нарядными фасадами, с кокетливыми вывесками кондитерских, с живописными корзинами цветочниц, с уличной франтовской толпой. А здесь, на Пушкинской, помеща-

лась раньше только типография, и когда я, бывало, проходил мимо, гутенберговский гул казался мне тем же, чем, наверно, мусикийский лад лиры для греческих рапсодов, комуз для сказителей киргизского эпоса, вина для поэтов Индии, не декламирующих, а поющих свои стихи.

Я вошел в подъезд. Ворота напротив вели во двор типографии. Слева была парадная. Я поднялся по ее ступенькам на второй этаж.

По коридору с показной озабоченностью сновали мужчины в новомодных роговых очках и женщины, сжимающие покрашенными губами папиросу. Я застыл, не решаясь задать вопрос, — не только вследствие понятной робости, но и потому, что не знал, как вопрос сформулировать. Насвистывая, крутя головой, извивающейся походкой подошел ко мне высокий, с несообразно маленьким личиком и большими растопыренными ушами совсем молодой человек и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Я выпалил:

— Где ваш редактор?

— Главный редактор? Товарищ Ольпевец? Для чего он тебе?

— Я принес ему стихи.

— Лично ему? Нет? Тогда тебе нужно к консультанту. Много должно пройти лет, чтобы тебя с твоими стихами принял главный редактор. Начни с того, что пойдешь по коридору прямо, свернешь налево, потом направо, упруешься в дверь. Можешь ее смело открыть, не постучавшись, там и сидит консультант.

Так же, как и необычное лицо ушастого сотрудника, я навсегда запомнил прокуренные коридоры, завораживающий стук пишущих машинок и ту дверь, которую я открыл без спроса. Я попал в большую, очень большую комнату совершенно без окон. Она мутно освещалась электрической лампочкой. У стен, слева и справа, стояли два длинных конторских стола и два стула. На одном из столов лежал, закрыв глаза, огромный мужчина в сандалиях на босу ногу. Напротив двери, через которую я вошел, но несколько наискосок, в самом углу виднелась другая дверь. Из-за нее доносился ровный долгий гул. Вот она, святая святых! Только отсюда путь ведет к признанию, сочувствию, пониманию, может быть, к славе. Мне хотелось войти в типографию, но я понимал, что этот светлый, многооконный зал, шумный и работающий, запрещен для посторонних. Что делать? Я приблизился к спящему. Давно небритый толстяк с некоторым, однако, сонным любопытством приоткрыл один глаз. Несколько минут он молча озирает меня этим глазом. Я прервал тягостное молчание:

— Гражданин консультант, прочтите мои стихи.

Толстяк открыл и второй глаз, взгляд у него оказался добрый. Сойдя с конторского стола, большой, тучный незнакомец улыбнулся близоруко и сказал, приятно картавя:

— Какой я тебе гражданин, гы-гы. Так ты пишешь стихи? Для этого надо много прочесть. Вот я прочел много, гы-гы. Впрочем, раз ты уже дефлорировался, начал писать, так ты меня знаешь. Там (он протянул свою атлетическую руку в сторону типографии) набираются мои стихи. Завтра их прочтет вся Одесса. Я — Давид Бродский. Да, да, ты видишь Давида Бродского, гы-гы. Не ожидал?

— Я не знаю, кто вы такой.

— Что же ты знаешь? Ты ничего не читал, ты ничего не знаешь. «Век был двух лет, когда я родился». Это строка Виктора Гюго. И когда я родился, век тоже был двух лет: 1902 год. Случайность? Совпадение? В поэзии не бывает случайностей. Только поняв это, получаешь право приступить к писанию. Сейчас придет товарищ, которому поручено читать самотек. Черная работа, она не для Давида Бродского. гы-гы. Вот ему ты покажешь свои стихи. Он романтик, а я реалист. Понимаешь разницу?

— Что значит «самотек»?

— Я же говорю, что ты ничего не знаешь. «Сошли грибы, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной». Это Бунин. Я пишу так же, но новее, нервнее. Ты, конечно, не знаешь имени Рембо.

Я ничего не знал. Я не знал, что Давид Бродский станет моим товарищем, что мы будем с ним вместе жить в комнате под Москвой, в Кунцеве, что он познакомит меня с новой французской поэзией, что мне первому он прочтет свой знаменитый и несовершенный перевод «Пьяного корабля» Рембо.

Он закурил, явно не затягиваясь, направился в типографию и скрылся за дверью. Я остался один в этой странной комнате без окон на таинственном, незримо заминированном опасностями рубеже между редакционными разговорами в папиросном дыму и типографскими станками.

И вот появилось новое лицо. Это было необыкновенное лицо! Артист? Художник? Серо-голубые глаза, вдохновенные и насмешливые, птичий нос, спутанные седеющие волосы. Он был высокого роста, слегка сутулился, одетый во что-то летнее, мягкое, кажется, в парусиновые брюки и рубашку. Округлые, женственные плечи. Я подумал про него: одновременно Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак.

Из типографии вышел Давид Бродский.

— Дуся, здравствуйте, — сказал вновь пришедший. — На страже, как всегда? — И обратился ко мне, как будто давно меня

знал: — У него стишки набраны, так он боится, что в последнюю минуту их выбросят, вот и стережет. Да не волнуйтесь, Дуся, все будет в порядке. Наверно, опять о железной дороге, о бабах, торгующих морошкой на станции. Угадал?

Говорил он певуче, но не так, как у нас на юге, а артистично, распоряжаясь языком нежно, глубоко, по-хозяйски. Голос у него был немного хриплый. Видимо, вспомнив, что видит меня впервые, спросил:

— Конечно, молодой человек, вы принесли стихи?

Я понял, что это и есть консультант, и вручил ему свою зеленую тетрадку.

Он сел за стол, скрипуче дыша. Хотя волосы его, как я уже заметил, начинали седеть, видно было, что ему лет тридцать, не больше. Почему же он так трудно дышит? Я тогда не знал, что у него мучительная астма.

Продолжая громко и трудно дышать, он довольно быстро перелистал тетрадку и вдруг вонзил в меня птичий недвижный взгляд:

— Вы тут заявляете: «Лишь в движенье мы жизнь постигаем и преобразаемся в нем». Испоганили Гумилева, обокрали его: «Ах, в одном божественном движенье косным нам дано преображение».

— Я поэта Могилева никогда не читал.

— Могилева? Ой, поцайло! Вы вообще каких-нибудь поэтов читали?

Я обиделся:

— Я читал всех известных русских поэтов.

— Врете. Кого же именно?

Стыдиться мне было нечего. Уверенный в себе, я начал перечислять.

— Кто из них вам нравится больше других?

— Пушкин и Никитин.

— Никитин? Почему Никитин? Ей-Богу, это уже неплохо. Более поздних, современных, вы знаете?

— Читал в газетах. Запомнил Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого.

— Вот как, запомнили? Кто из них лучше?

— Кажется, лучше Багрицкий. Он очень красиво пишет про море. Не сравнить с Пушкиным и Языковым, но красиво. Зато Демьян Бедный пишет смешнее.

— Да, смешнее. Между прочим, Эдуард Багрицкий буду я.

— Эдя, — вмешался Бродский, — мальчик прав. Устами младенцев. У вас нет юмора. Вот у меня есть юмор, гы-гы. Правда, изысканный, не до всех доходит. Вы заметили, что скрытый юмор есть и у Малларме?

Я смутился. Мне уже в раннем детстве довелось близко видеть настоящих писателей: Семена Юшкевича и великого Бялика. О встречах с Бяликом я рассказал в другом своем сочинении. Но Юшкевич был прозаик, Бялик писал не по-русски. И вот предо мною русский поэт, чье имя часто мелькает в одесских изданиях.

— Дуся, — сказал Багрицкий, — не лезьте в серьезный разговор, продолжайте оберегать свой опус.

Он понял мое смущение, но, сердясь на Бродского, спросил и меня сердито:

— Неужели вы никогда не читали Бальмонта, Игоря Северянина, наконец, Есенина? Их обожает вся грамотная и полуграмотная Одесса.

— Я читал поэму Блока «Двенадцать».

— О, об этом стоит поговорить. Ну и что?

— Частушки какие-то. Но есть красивые места.

— Частушки? Биндюжник! Это великая поэзия. Какие же красивые места вы заметили?

— Например: «У тебя на шее, Катя, та царапина свежа».

— Почему это красиво?

— Представляешь себе. Шею видишь.

— Сколько вам лет?

— Скоро пятнадцать.

— Самое время поглядывать на женскую шею. Да, вы перечислили поэтов, которых знаете, от Державина до Аполлона Коринфского, а Тютчева не назвали. Не знаете?

— Еще как знаю. Забыл назвать.

— Можете прочесть что-нибудь наизусть?

Я прочел: «Не то, что мните вы, природа».

Опять неподвижный птичий взгляд, но более внимательный:

— Вы читаете стихи, как пономарь. Имеете представление о Дальницкой улице?

— На Молдаванке. Туда идет трамвай от Тираспольской.

— Я хожу оттуда сюда, на Пушкинскую, пешком. Но фраера добираются и в трамвае. Остановка у Джутовой фабрики. Приходите ко мне в воскресенье, часов в шесть, начнем учиться. В вашей тетрадке что-то шелкает, есть слух. Самое дерьмовое стихотворение «Весна». Нечетные строки длинные, четные короткие. Спасибо и за это. Совершенно пустое упражнение. Его и напечатает. И запомните: в газетах печатают только самые плохие стихи. Забыл спросить: Фофанова вы любите?

— Люблю.

— Клянусь жизнью Давида Бродского, я так и знал.

Я шел по Пушкинской улице и сердце мое пело. Ноги сами привели меня к дому, где я родился. За окном девушка поливала

цветы и, встретившись с моим пристальным и, наверно, тупым взглядом, высунула язык... Сейчас помещение, в котором я родился, соединено с соседним, и над дверью — небольшая вывеска: «Детская библиотека номер такой-то имени Э.Г. Багрицкого».

Не стану описывать волнение, охватившее нашу семью, когда все узнали, что мое стихотворение будет напечатано в газете, которую читает весь город, что меня, как взрослого, пригласил в гости поэт, чье имя было известно даже тем, кто стихов обычно не читает. На оценку «совершенно пустое упражнение» никто, даже я, не пожелал обратить внимание — до того ли нам было? Моя тетя Маня, портниха, работавшая в знаменитой у нас фирме Берзона, быстро сшила мне из старой портьеры бархатную блузу. Родители каждый день впивались в «Одесские известия». Нет и нет. Наступила суббота, газета вышла с литературной страницей, но и там нет. Другие вещи есть, а моей «Весны» нет. Поздно вечером прибежала ликующая Маня и, еще не войдя в квартиру, сунула через окно «Вечернюю газету». Опубликована «Весна!» Подпись: «Сема Липкин, учащийся Художественной профшколы». Папа с тросточкой с серебряным набалдашником двинулся на Дерибасовскую, в магазин Дубинского, эпмана-старовера, купил полфунта чайной колбасы и четверть фунта ореховой халвы. Пировали за полночь. Мама сказала: «Он у нас будет академиком науки».

В воскресенье в бордовой бархатной блузе — под горлом черный бант, в новых брюках, перешитых из отцовских, я отправился на Дальницкую. Улица оправдывала свое название, ею заканчивалась северная окраина города. Мне дали двадцать копеек на трамвай, туда и обратно, но я решил пойти пешком, как это делал сам Багрицкий.

Несколько лет назад, приехав в Одессу, я повторил этот путь. Он занял у меня два часа. Но тогда я дошел минут за сорок. Багрицкий хорошо растолковал мне свой адрес, объяснил, что живет в доме сторожа футбольного поля, принадлежавшего команде Джутовой фабрики. Я до сих пор не знаю, почему он не жил в родительском доме в центре города, на углу Базарной и Ремесленной, где я был у него, когда он, уже знаменитый, приехал в Одессу из Москвы.

Немного отклонюсь от ровного течения рассказа. Мое знакомство с Багрицким состоялось в самый тяжелый год его жизни. Его почти перестали печатать в местных изданиях. Он мне рассказал, как это произошло. Я потом понял, что верить следует не всем его рассказам. Он не чуждался вымысла. Например, в своих стихах он пишет, что во время первой мировой войны участвовал (возмож-

но, в качестве вольноопределяющегося) в нашем удачном турецком походе, дошел до Персии, до Энзели, с блеском нарисовал картину двигавшихся по горным переходам пулеметов. В действительности его победоносное шествие обрывалось в Полтаве: он заболел дизентерией и быстро вернулся в Одессу. Однажды он мне намекнул, что служил при Керенском в контрразведке. Правда ли это? Бог его знает — и простит.

Вот его рассказ о тогдашних трудностях — насколько я запомнил:

— Моей кормушкой был «Моряк», есть у нас такая газетка. В прошлом году приехал в Одессу Маяковский. То ли Семка Корчик (Кирсанов) ему что-то нашпел, то ли сам на меня рассердился, а выступил на городском партактиве, сказал с издевкой — он умел это делать: «Некий Джордж, или Эдуард, или еще какой-то Вильям, вместо того, чтобы стихом помочь черноморцам в их нелегкой работе, печатает в боевом «Моряке» баллады о рыцарях, которые пьют вино сабли, а сам, наверно, настоящее сабли не пробовал, пил вино типа сабли. И стихи его — не стихи, а типа стихов». Клянусь жизнью Севки, никакого сабли в моих стихах не было. Я печатал переводы с английского о благородном разбойнике Робине Гуде. В редакции испугались и высвёрнули меня из «Моряка».

Видимо, Багрицкий если и фантазировал, то в пределах, близких к факту. Сергей Бондарин и Лев Славин, каждый в отдельности, рассказывали мне уже в Москве, что редактор «Одесских известий» Ольшевец, ставший заместителем главного редактора столичных «Известий», объяснил Маяковскому его ошибку, напомнил ему, что еще до революции, чуть ли не в 1915 году, Багрицкий опубликовал в Одессе стихотворение, в котором приветствовал молодого Маяковского, и Маяковский, пожалев безвестного собрата, дал как-то знать одесскому идеологическому начальству, что был неправ, когда напал на Багрицкого, и материальное положение Багрицкого улучшилось.

Все же я не думаю, что Маяковский симпатизировал творчеству Багрицкого. Я присутствовал на вечере Маяковского в Политехническом. Поэту задали вопрос, как он относится к Багрицкому. Ответ Маяковского: «Он лучший из краснонивских». В то время приложением к «Известиям» выходил тонкий журнал «Красная нива», в котором, как правило, печатались посредственные стихи.

Так это было с Багрицким или не совсем так, но в тот памятный день я попал в дом нищего. Под косым майским дождиком я прошел, как мне было указано, мимо мазанок, мимо начинающих

цвести калачиков мальвы, мимо заборов, на кольях которых висели вверх дном глечики, и приблизился к строению вроде сарая, но довольно высокому. Я постучал, ответа не последовало. Я открыл дверь — и ничего не увидел: так было темно в этом сарае. Я сделал несколько неуверенных шагов и вдруг услышал:

— Болван, вы прете на корыто.

— Здравствуйте, — с облегчением, без обиды сказал я, узнав этот певучий голос с хрипотцой, но еще никого и ничего не видя.

Постепенно мои глаза привыкли к темноте. Посредине потолка был фонарь, которым освещалось помещение, потолок протекал, потому-то внизу стояло корыто. Обстановка: кухонный стол, он же и обеденный, несколько стульев разной формы и крепости, две железные узкие кровати в одном углу, а в другом — покрытый клетчатой шалью матрац на топчане, шкаф с выломанной дверью, прислоненной рядом к стене, кирпичная плита, обмазанная синей известкой, около которой возилась молодая женщина в очках — худенькая, не по-городскому румяная, как я потом заметил. Это была Лидия Густавовна, жена Багрицкого. Мальчик лет четырех-пяти, тот самый Севка, именем которого любил клясться Багрицкий, играл на кровати сам с собой в самодельные шашки. Около его кровати стояли у стены камышовые удочки и какой-то предмет в чехле, как оказалось — охотничье ружье. Мальчик на меня не взглянул, углубиешись в игру. Он, видимо, тогда еще не был тем буяном, которого я через несколько лет застал в Кунцево. Возле топчана возвышались, один на другом, два больших ящика, кажется, из-под папирос, в них виднелись книги, а на верхнем лежали длинные обрывки-полосы газетной бумаги и огрызки карандашей.

Начался чудесный вечер. Багрицкий мне читал стихи. Не свои. Его голос до сих пор звучит во мне «Шагами Командора» Блока, «То было на Валлен-Коски» Анненского, «Коллежскими ассессорами» Случевского, описанием концерта из «Первого свидания» Белого, «В разноголосице девического хора» Мандельштама. «Этими строками Мандельштама, — сообщил Багрицкий, — я лечу свою астму. Помогает».

Он ничего не объяснял, ни к чему не приковывал мое внимание, он только читал, и его радость от прочитанного — думаю, единственная радость его жизни — стала для меня наилучшей наставницей. Серебро двадцатого века так ослепило меня в темном сарае на Молдаванке, что потускнело (на несколько лет!) в этот вечер чистое золото девятнадцатого.

— Мальчик, — неожиданно, резко прервал себя Багрицкий, — сорвите с себя этот мещанский бант, вы же не актер без ангажемента, без гроша в кармане. Кстати, а есть гроши?

— Мама дала мне двадцать копеек на трамвай. Но я пошел пешком.

— Лида, у него есть двадцать копеек, и он любит шпроты. Вы же с ума сходите от шпрот (это ко мне). — Лида, купи босяку шпроты.

Лидия Густавовна посмотрела на меня с ненавистью.

— Эдя, двадцати копеек не хватит на банку. Ты отлично знаешь. Да и как я в дождь доберусь до Степовой.

Я залепетал:

— Я вовсе не люблю шпроты. Я не знаю, что это такое. Эдуард Георгиевич шутит. И назад я хочу поехать трамваем, уже поздно.

— Он врет. Он с раннего детства обожает шпроты. Избалованный одесский ребенок. Кошмар! А дождь прошел, слышишь, Лида, корыто замолчало. Клянусь жизнью Севки, у тебя припрятаны два гривенника. Хватит на шпроты для этого гурмана.

Лидия Густавовна, от гнева еще больше разгневываясь, глядя черными глазами, сердито и остро поблескивающими из-за очков, накинула на себя покрывавшую топчан клетчатую шаль, взяла у меня двадцать копеек и, злая, отправилась за шпротами. Кстати, до Степовой, главной улицы Молдаванки, было довольно далеко.

Багрицкий достал из нижнего ящика несколько тоненьких книжек:

— Теперь я вам прочту Гумилева, чтобы вы его больше не путали с городом из черты оседлости. Четыре года назад петроградская Чека его расстреляла.

— Как Андрея Шенье?

— Вот, вот. Бойтесь этого поэта. Гумилев так завораживает, что вы теряете самого себя. Я сам только недавно вырвался из его колдовского плена. Помните «Страшную мечь» Гоголя? Поверьте мне на честное слово, что Гумилев такой же колдун, какого описал великий хохол, равного которому я не знаю никого в мировой литературе. Гумилев сознавал, что в нем есть нечистая сила: «Милый мальчик... на, владей волшебной скрипкой, и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача».

Он начал чтение с «Капитанов». Господи, милый Бог, что со мной стало! Какие необыкновенные слова я услышал в этом нищем сарае на нищей, жалкой городской окраине! «Арабы-скитальцы, искатели веры, и первые люди на первом плоту». А какие удивительные рифмы — «обнаружив-кружев», «области-доблести», «хартий-карте». Таких слов, таких рифм не было у тех поэтов, которых я знал. А «Заблудившийся трамвай»? «Остановите, вагоно-

вожатый, остановите скорей вагон!». Я даже такого слова не слышал — вагоновожатый, у прежних поэтов его не было, не могло быть, а в Одессе водителя трамвая почему-то называли «ватман».

Разумеется, Багрицкий понял, что со мной происходит. Он так и задумал. Воткнув свои толстые пальцы с длинными пушкинскими ногтями в мою густую шевелюру, он сказал:

— Я вам дарю «Жемчуга», «Колчан» и «Огненный столп» — последнюю, лучшую его книгу. Я не хочу их держать у себя. Хватит. Мне с ними душно. Я хочу дышать свежим, соленым ветром новой жизни.

Вернулась Лидия Густавовна, молча и гневно скинула с себя шаль, сделала второй бросок — и на кухонном столе появилась банка шпрот. Оказалось, что эти консервы продавались вместе со вскрывательным ножичком. Багрицкий с какой-то лихой жадностью присел к столу и быстро опустошил всю банку — без хлеба. Потом спросил у меня:

— Правда, вкусно?

Молчавший все время Севка, вдруг оторвавшись от шашек, сообщил:

— Все сам сожрал.

Что это было — детское озорство Багрицкого? Однажды, уже в Кунцеве, он мне сказал:

— Сейчас ко мне придет хлопчик из богатой московской семьи, сын адвоката. Пишет стишки. Обещал привезти альбом неслыханных марок.

Вскоре приехал золотоволосый подросток лет шестнадцати, будущий известный стихотворный писатель Долматовский. Он действительно привез альбом с марками. Я заметил: Багрицкий, рассматривая альбом, поддевал длинным ногтем понравившуюся ему марку, и та падала под стол. Что это — тоже озорство?

А шпроты? Но что мне эти шпроты, что мне земная пища, когда мне щедро подарена небесная. По совету Багрицкого я сорвал с себя бант и перевязал им три гумилевских книжечки. Я возвращался домой по безмолвным улицам полуночной майской Молдаванки, порой сверкали запоздалые, недоступные для меня трамваи, а в душе сиял другой, не электрический свет, сияли музыка и счастье.

Предсказание Багрицкого сбылось. Несколько лет я жил, закодированный Гумилевым. Конечно же, я выучил все три книги наизусть, иначе и быть не могло, я читал Гумилева всем знакомым и полужанкомым.

Гумилев долгие годы находился у нас под запретом, да и сейчас в печати его имя упоминается кисло и нехотя, поэтому иссле-

дователи обдуманно не замечали его огромного воздействия на советскую поэзию. Если у Маяковского советская поэзия заимствовала его беспрекословную, нерассуждающую подчиненность, служебность Государству, его приземленность, его фельетонную, плакатную броскость, схоластику мышления, и лишь некоторые — считанные — взяли на вооружение его великолепную версификацию и опять же плакатные, резкие изобразительные средства, то Гумилев привлек к себе советских стихотворцев воинской мужественностью, ясностью, наглядностью деталей, блеском классически-прозрачного стиха. Тихонов, Саянов, Сурков, Симонов и множество менее известных — подражатели Гумилева. Для них благородный стиль Гумилева то же самое, что греческие колонны для сталинской архитектуры. Я хорошо помню, что для интеллигентных группок начинающих стихотворцев моего поколения наиболее привлекательными из числа старших современников были не Ахматова, не Мандельштам, не Кузьмин, не Ходасевич, — их понимали и ценили единицы, — а гораздо более левые, Пастернак, Сельвинский и Цветаева, чей голос доходил из-за рубежа, и рядом с ними — Гумилев. Не случайно Маяковский в сентябре 1929 года заявил в своей речи на втором пленуме РАППа: «Говорят относительно поэтессы Цветаевой: у нее хорошие стихи. Это полонщина (поэт имеет в виду своего противника — критика Вячеслава Павловича Полонского, того, кого РАПП ненавидел — и съел), которая агитировала за переиздание стихов Гумилева, которые «сами по себе хороши». А я считаю, что вещь, направленная против Сов. Союза, — направленная против нас, не имеет права на существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней не учить». Между прочим, у Гумилева нет ни одной строки, «направленной против Сов. Союза». Маяковский произнес эти слова за полгода до самоубийства, он с острой болью чувствовал, что теряет уважение, интерес к себе, и уже не в силах кощунственно «сделать максимально дрянной» поэзию тех авторов, кого любили, ценили и знатоки, пусть весьма немногочисленные.

Еще раз забегу далеко вперед. В 1949 году арестовали моего приятеля Рувима Морана, журналиста и переводчика. Ему дали восемь лет, но отсидел он только пять, благодаря зачетам: последние каторжные свои годы он работал слесарем на строительстве Волго-Донского канала. Вернувшись, он мне рассказал, что на Лубянке ему предложили прочесть показания П.М., нашего сотоварища по одесскому литературному кружку, ныне члена Союза писателей. Вызванный по делу Морана как свидетель (чего?), он показал, что «Моран — друг Липкина, который в молодости, в Одессе, пропагандировал стихи белогвардейца Гумилева,

расстрелянного советской властью». В каком-то смысле доносчик не соврал. Он и сам полюбил Гумилева, услышав от меня его стихи.

Сейчас в моих глазах Гумилев не высится в первом ряду поэтов двадцатого века, в том ряду богов, в котором я вижу Анненского, Ахматову, Блока, Бунина, Мандельштама, Пастернака и Ходасевича. Гумилев принадлежит к полубогам. Но в те начальные мои годы, когда Багрицкий, умно и увлекательно объяснял мне истинность, красоту, значительность этих поэтов, да и других, мне незнакомых — Бенедиктова, Случевского, Кузмина, Клюева, Нарбута, — долгу еще Гумилев оставался для меня самым дорогим.

Как-то, в пятидесятых, заговорили о Гумилеве с Анной Ахматовой. Она мне сказала:

— У Николая Степановича отняли жизнь, когда он был совсем молодым. В сущности, он только в «Огненном столпе» начал развиваться. Он шел к Богу, к самой сути христианства. Он никогда не участвовал в Таганцевском заговоре. Вообще, никакого заговора не было, его выдумали, как и все последующие заговоры. А Николай Степанович с охотой служил во «Всемирной литературе», у него наладились добрые отношения с Горьким, он говорил мне: «Увидишь, что Советы будут первой действительно русской властью в России». Распутинщина сильно поколебала его благоговейное отношение к династии. Он с отвращением говорил о ней, когда приезжал в отпуск из армии. Ирина Одоевцева вместе со своим Жоржиком (так Анна Андреевна, несколько презрительно, всегда называла прелестного, печального поэта Георгия Иванова) выдумали, что Гумилев был заговорщиком. Так им нравится. Какая бульварная, ствратительная выдумка!».

Багрицкий, открывший мне Гумилева, только и делал тогда, что его развенчивал. У меня до окончательного отъезда Багрицкого в Москву было с ним несколько встреч. Один раз он пришел ко мне в школу на Новорыбную и, с разрешения директора, увел меня с уроков. Мы двинулись к Отраде, по ближайшему пути к морю. Шли молча, он только спросил: «Завтрак захватили?» Миновали Уютную — и из мира замкнутого перенеслись в беспредельный. Далеко внизу волшебноплотно синело, колдовало море. Я начал спускаться по узкой, покрытой древней пылью тропинке, но что-то заставило меня оглянуться. Багрицкий, задумавшись, стоял наверху, на смеси пыли и сухой травы. Он сказал:

— Спуститься просто, спуститься — мне цены нет. А вот как потом подняться?

Слова его меня удивили. Я забыл о его астме. Только через несколько лет, когда жестокой астмой заболел мой отец, утратил работоспособность, двигался с трудом, всегда согнувшись, я понял, как мучился Багрицкий.

Может быть, астма — одесская болезнь? Страдал же ею Бабель, но был разумен, регулярно лечился, а Багрицкий запустил свою болезнь и так рано умер — его свалило воспаление легких...

Все же мы спустились к морю: я уговорил Багрицкого, предложив назад вернуться через Ланжерон, там не такой крутой подъем.

На берегу было пустынно, как всегда в Одессе в мае. На террасе над берегом пограничники в трусах гоняли мяч, на песке зеленели их фуражки. Жирные чайки горланили, как греки в кофейне. От моря исходил тот странный, трудно обозначаемый запах, которым, наверно, пахла вселенная, когда она создавалась. Багрицкий отбросил сандалии, снял рубаху, но остался в брюках. Тело его отличалось какой-то нездоровой белизной. Я поплыл. Вернувшись, я начал с моря обдавать Багрицкого солеными, еще холодными брызгами, как бы зазывая его к себе, к волнам. Багрицкий подрагивал рано полнеющими, болезненно-белыми плечами, сердился. Вскоре выяснилось, что певец моря не умеет плавать.

Я лег с ним рядом на теплый песок. Он неожиданно признался, что пишет поэму об украинце-хлеборобе, который дезертировал из красноармейского отряда и попал к Нестору Махно, — как раз тогда, когда батя, после совместных действий с Красной Армией, внезапно повел свою орду против сил Котовского.

— Я пишу эту вещь в стиле Шевченко, — сказал Багрицкий. — Силлабический украинский стих не удастся русским переводчикам, даже такому, как Сологуб. Я докажу, что силлабика может отлично зазвучать по-русски. Послушайте.

Он прочел мне изумительные строки об Устинье, жене Опанаса. В прославленную «Думу про Опанаса» эти строки не вошли. Кажется, Устинья — действующее лицо в либретто оперы, написанном Багрицким впоследствии по мотивам «Думы». А в прочитанной мне главке Устинья собирается рожать, когда на Украине бушует гражданская война, мужа нет, он воюет где-то далеко, крестьянка не хочет, боится рожать в такое время, кричит, просит: «Рушником вяжите груди».

Теперь Багрицкого начинают забывать. Когда-то один из самых ценимых и популярных поэтов (впрочем, Ахматова и Мандельштам и в те времена высказывались о нем пренебрежительно), он перестал интересовать молодых стихотворцев

и стихолюбив. Всем существом своим стремясь идти в ногу с временем, он не понимал, куда идет время. Он сочинил немало дурных стихов. Сначала в родовых муках он освобождался от эпигонского южного акмеизма, потом (повторю выражение из своих стихов) «впрыскивал в себя самообман». Но я уверен, что «Думе про Опанаса» и, может быть, десятку его стихотворений суждено жить в русской литературе. А это немало. Никто так, как Багрицкий, не описал в стихах трагедию украинского крестьянина, обманутого всеми режимами. Есть в «Думе» мелкие неточности, паникадило спутано с кадилом, вряд ли пажить, то есть пастбище, «свищет житом», то есть рожью, но зато в этой поэме столько пленительных картин, столько музыки, столько строк, ставших крылатыми. В молодости я знал ее наизусть и умел читать ее, подражая хрипловатому, задыхающемуся и в то же время певучему голосу Багрицкого.

Между прочим, Катаев, чья память всегда отличается точностью, как-то сказал мне, что сравнение цвета коня с рафинадом подарил Багрицкому он. В этом сравнении чувствуется склад крестьянского украинского ума — сахарных заводов на Украине было много, а сахар стоил дорого, был в хате редкостью:

Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.

Он еще раз взял меня с собою на прогулку. Мы пошли с ним на «охотничий рынок». Не помню, где он помещался, запомнил только, что мы прошли до самого конца Нежинской, пересекли Конную. Меня поразило, как он хорошо знает птиц. Он подводил меня к клетке и называл: «Вот щеглы, вот снегири, вот сизари, турманы, воркуны». Он долго стоял около голубей, хотел купить, но денег не хватало, а уйти от птиц не было у него сил.

Вскоре после нашего знакомства Багрицкий уехал в Москву. Через несколько лет он мне рассказывал:

— Приехал из Москвы Валька Катаев. Он пришел ко мне на Базарную, в дом моей матери и сказал: «Эдя, едем в Москву. Там тебя ждут. Я купил тебе билет. Собирай вещи». А какие у меня вещи? Я взял клетку со щеглом.

Он поехал навстречу славе.

«Дума про Опанаса» была напечатана в сокращенном виде Иосифом Уткиным в «Комсомольской правде» и полностью в «Красной нови» Александром Воронским. Тут мне вспоминается такой эпизод. Багрицкий уже как-то пробовал, еще, кажется, в 1923 году, поехать в Москву за славой и, казалось бы, безуспешно. Воронский опубликовал стихотворение провинциального поэта

в «Красной нови». Однажды — пересказываю Багрицкого, — когда он сидел в кабинете редактора, вошел Есенин. Воронский представил ему Багрицкого, сказал: «Вот, собираем литературные силы, товарищ приехал из Одессы, мы его напечатали» — и показал Есенину свежий номер журнала. Есенин прочел стихотворение, небрежно заметил: «Здесь нехорошо «земля рассолодела», нужно «рассолодела». Багрицкий возразил — мол, его ударение правильное. «Зачем спорить, — решил помирить поэтов Воронский, — заглянем в Даля». По словам Багрицкого, Даль подтвердил его правоту. «Что он понимает в русском языке, этот жид», — будто бы сказал Есенин о Дале.

Выслушав рассказ Багрицкого, я пошел в нашу Публичную библиотеку на Херсонской, взял четвертый том Даля — впервые взял в руки словарь. Прав оказался Есенин. «Разсолодеть», — утверждает обрусевший датчанин.

Как я мог убедиться, Багрицкий в своих литературных симпатиях или антипатиях никогда не исходил из соображений личного характера, но, может быть, после этого эпизода он невзлюбил поэзию Есенина? Он очень любил Клюева, но посмеивался над крестьянскими поэтами, называл их «Из альманаха «Анадысь».

Знакомство с Далем, совершившееся столь случайно и перешедшее в постоянное, излюбленное чтение, дало неожиданно сильный толчок уже зарождавшимся во мне намерениям. Хотя я говорил без одесского акцента, хотя мой собственный словарь, благодаря хорошему слуху и не только молитвенному, но и пытливому чтению русских классиков был не беден («У Семы идиотическое чувство русского языка», — позднее скажет обо мне Багрицкий), я понимал, что настоящую, живую, богатую и чистую русскую речь услышу не здесь, на пестром многонациональном юге, а в России. Я должен жить и учиться в России.

Не помню, когда Багрицкий навсегда переехал в Москву. Я окончил среднюю школу, стал усердно посещать литературные кружки и объединения — «Станок» при «Одесских известиях», «Молодую гвардию» при губернской комсомольской газете того же названия, Южно-Русское общество писателей, странно и глухо доживавшее свои последние дни, «Перевал», ничего общего не имеющий с московским. Но Багрицкого я не забывал, мысленно продолжал читать ему свои юношеские произведения, мысленно конструировал его мнение о них.

Он научил меня понимать прекрасное и распознавать уродливое. Его наставничество сводилось к следующему. У скульптора есть нечто существенное — глина, мрамор, у живописца — краски, а у поэта нет ничего материального — только слово, звук,

а ему, поэту, надо создавать живое — дерево, птицу, зверя, облако, человека, создавать из ничего, из слова. Между тем слово — это все. Вот почему, добавлял Багрицкий, мы должны поступать по совету Кольриджа: расставить наилучшие слова в наилучшем порядке. Теперь я понимаю, что Багрицкий упрощал дело, приравнивая к пониманию подростка, но само дело было хорошим, полезным. Тогда я не знал, что сравнение поэта со скульптором и живописцем Багрицкому подсказал Баратынский, позднее Брюсов.

Я много пишу о Багрицком не только потому, что с ним связаны годы моего отрочества и юности. Так же, как не случайно то, что его ценили знатоки и Государство, не случайно и то, что теперь от него отступили знатоки, а Государство толком не знает, как с ним быть. Во время борьбы с космополитизмом критик Тарасенков объявил «Думу про Опанаса», до этого блиставшую в «золотом фонде» советской поэзии, произведением сионистическим, нападают на Багрицкого и нынешние черносотенцы. Его характер я как-то попытался очертить в небольшой поэме «Литературное воспоминание». У меня впоследствии, в Москве, в Кунцеве были с ним жестокие споры, порою кончавшиеся, хотя и непродолжительными, разрывами. Я кричал (да, кричал) на него, когда он решил вступить в зловонный гадюшник РАППа, — я не хотел понять, что туда его толкали материальные трудности, надежда (сбывшаяся) получить постоянное жилье в Москве вместо снимаемой им половины избы в Кунцеве, где не было самых необходимых удобств, особенно необходимых человеку больному. Все дурное отошло, а хорошее живет во мне поныне. Две вещи я буду помнить всегда: то, что Багрицкий был поэт, и то, что он научил меня азбуке прекрасного. Главная черта этого блестящеталянтливого и безвольного человека — обожание поэзии. Именно — обожание. Мысль о том, что «поэзия есть Бог в святых мечтах земли», никогда не была для него крылатой фразой Камюэнса — Жуковского. Она была его вероисповеданием. Может быть, он потому и не стал первостепенным поэтом, что любил поэзию как Бога — робко и с трепетом грешника, часто впадавшего в государственное безбожие. А с Богом, видимо, надо попробовать бороться, как это сделал Иаков, чтобы победа борющегося стала победой Бога. Стихи Багрицкого вроде «твс», или «Смерти пионерки», или «Февраля» есть не борьба с Богом, а постыдная — тем более постыдная, что искренняя, — капитуляция перед дьяволом.

А какие чудесные строки, даже в последние его годы, рождались из-под его карандашного тупого огрызка, упрятого в толстые пальцы. Например, эти:

Весеннего мира челядь —
Ящерицы, жуки,
Они нашу землю делят
На крохотные куски.
Ах, мальчики на качелях,
Как вздрагивают суки!

Мне запомнилось, как этими стихами восхищался Михаил Кузмин, сидя у Багрицкого в Кунцеве на крестьянском столе рядом с аквариумом, снимая очки и расширяя в восторге большие — два черных блюда — креольские глаза и в то же время болтая ножками в каких-то (подумал я так) прионелевых полусапожках. Он уже мало был похож на известный сомовский портрет — суше стало лицо, на висках появилась седина, и только глаза остались сомовскими. Одна из последних, написанных незадолго до его смерти статей Кузмина была крайне хвалебным отзывом о поэзии Багрицкого...

Окончив Художественную профшколу, я не поступил сразу в высшую. Причин было несколько. Прежде всего, в Одессе к тому времени ликвидировали нашу гордость — Новороссийский университет, на его месте учредили Инархоз — Институт народного хозяйства, для меня отнюдь не привлекательный. Мало того. В институт принимали в первую очередь рабочих крупных фабрик и заводов, а также «незаможников» — сельскую бедноту, затем рабочих мелких предприятий, кустарных мастерских, затем детей лиц перечисленных категорий. У последних было весьма немного шансов попасть в высшее учебное заведение, еще меньше — у совслужащих, людей свободных профессий и их детей. Но самое главное — мне хотелось уехать в Москву, учиться по-русски, а наш Инархоз был украинизирован. Я любил и люблю украинский язык, но родной, единственный для меня — русский.

Я принадлежал к третьей категории граждан, так как мой отец работал кройщиком на небольшой швейной фабрике имени Леккерта, которая помещалась в одном из примечательных зданий — в старинном полукруглом доме на Греческой площади. Чтобы улучшить мое социальное положение в преддверии студенческой карьеры, дать мне возможность перейти во вторую категорию, стать членом профсоюза, отец договорился со скорняком Шварцманом, и тот принял меня в ученики. Этого Шварцмана, под фамилией Беленький, я вывел в своей неизданной повести «Записки жильца».

Скорняжное мастерство мне не удавалось. Шварцман для начала поручил мне вымочить шкурку каракуля и прибить к доске будущий воротник. Я поранил себе пальцы, гвоздики у меня ломались, шкурка, в особенности лапки, дырявилась. Шварцман в око-

лотке слыл богатым человеком, но одевался с нарочитой, вызывающей бедностью, зимой — в одну из предназначенных на продажу хорьковых шуб без верха, летом — в нечто засаленное и рваное, бывшее когда-то меховым жилетом. Делал он это не из скупости, он не был Плюшкиным, и не из страха перед фининспектором — в той декларации, которую он подавал ежегодно, он указывал сумму своих немалых доходов цифрой, близкой к истине, — он был полон древней тоски и наступательного безразличия к жизни, к ее радостям. Семья его обитала напротив мастерской, в многокомнатной квартире, где он только ночевал, обеда ему не приносили, он питался всухомятку, чаще всего кефиром с бубликом и выпивал целый самовар чаю с крохотным крепким кусочком, отколотым от сахарной головы. Глаза у него всегда были красные. Однажды, когда я ставил самовар в каморке за магазином, я услышал, как он всхлипывает. Говорили, что его семейная жизнь сложилась неудачно. Еще говорили, он выдумщик, соседи называли его «враль Шварцман». Убедившись, что я плохо приспособлен к скорняжной работе, он посмотрел на меня слезящимися красными глазами и сказал:

— Разве твое дело — каракуль? Или белка? Или выдра-котик? Твое дело читать мне газету, но с объяснениями.

Был тот знаменательный, нынешним поколениям непонятный год, когда в «Правде» регулярно печатался дискуссионный листок. Представители оппозиции, все, кроме Троцкого, свободно высказывались, чаще других — Бухарин, Рыков, Каменев, Зиновьев и что-то то кричал с места некто Мойсеенко. Так и запомнились жирным шрифтом слова: «Мойсеенко с места». А в «Крокодиле» была помещена карикатура на главу правительства: Рыков, растопырив огромное, больше всего лица, ухо, прислушивается на Сухаревском рынке к злобной клевете частных торговков. Афины, Аркадия, да и только!

И вот в мастерской Шварцмана в те летние дни, когда меховая коммерция замирает, стали собираться меховщики, чьи заведения помещались поблизости, между Покровской церковью и Рижельевской. Они слушали мое чтение, нервно, нетерпеливо требовали от меня комментариев, я их давал, как умел, искал доступную форму, чтобы все меня понимали. Честно говоря, самую суть они понимали лучше меня, препятствием для них была словесная оболочка. На вопрос моего отца, каковы мои успехи в скорняжном ремесле, Шварцман ответил: «Я мальчиком доволен». Отец ему не поверил — Шварцману мало кто верил, — но успокоился.

Во время чтения дискуссионных листов самые трудные — и самые умные — вопросы задавал мне мастер, непомерно тучный, старый, но еще чернокудрявый, носивший меховую фамилию

Корсак. Однажды, когда чтение закончилось, Корсак, тяжело пыхтя и отдуваясь, сказал:

— Надо закрывать дело и поступать в артель. Эти воры жить нам не дадут.

К удивлению соседей, он быстро, задешево распродал все шубы, шкурки, готовые воротники, горжетки, палантины, добровольно отдал помещение своего магазина (теперь там нотариальная контора) в распоряжение коммуноотдела и стал рядовым членом артели. Через год, когда наступил великий перелом и у других меховщиков отобрали все нажитое долгим, умелым трудом, а некоторых даже посадили и выслали далеко на север, соседи поняли, как толково изучил Корсак дискуссионный листок нашей партии с моими мальчишескими комментариями, как своевременно и удачно сделал правильный вывод.

Получилось так, что и мне пришлось сделать правильный вывод из одного события на идеологическом фронте. Я особенно старательно посещал литературный кружок при газете «Молодая гвардия», наименее интересный в городе. На то были причины. Связь с газетой давала мне возможность получать время от времени некоторый заработок. Иногда я подменял заболевшую корректоршу, иногда меня как корреспондента редакция посылала на село. Заработок мой, хотя и ничтожный, был ощутим в нашей бедной семье — отец работал на пять ртов. Состояние его ухудшалась, ему недолго оставалось жить.

Из моих кратких сельских командировок мне особенно запомнилась одна. Речь шла об убийстве селькора. Деревня была необычная: население ее составляли одни болгары. Во многих хатах, наряду с портретами родственников, висели портреты болгарского революционера Благоева и Тургенева — последнего чтили, как создателя образа Инсарова. Было нетрудно выяснить, что селькора убил односельчанин не по политическим мотивам, как трубили газеты, а из ревности. Мою заметку, где характер преступления был изложен в соответствии с действительностью, в газете не поместили, поместили другую, сочиненную сотрудником, который из редакции не выезжал, все выдумал так, как ему велели. А что касается болгар, то все они оказались кулаками. Они и вправду, как и соседние немецкие колонисты, жили зажиточней украинцев. У самого неудачливого были две-три коровы и лошадь, а кур и гусей — не счесть. В пору страды они нанимали батраков-украинцев. И вот братушек, поголовно всех, выслали. Это был двойной геноцид — классовый и расовый. Я был в той болгарской деревне в день депортации. Через много лет я написал стихотворение «Лунный свет» — о высылке крестьян. Твардовский, единственный

редактор, который иногда печатал тогда мои оригинальные стихотворения, забраковал «Лунный свет», сказав: «Не так и не вам об этом писать». Что не так — допустим. Но почему же не мне? «Вы же об этом не пишете», — кротко заметил я. Но могут ли спорить слова с силой? Оказывается, могут. В моей книге «Кочевой огонь», изданной в США, это стихотворение 1963 года напечатано.

Но в начале 1929 года неприятности у меня произошли с другим стихотворением. Называлось оно просто: «Бог». Только самонадеянный юнец способен был так назвать свое стихотворение. Я его потерял, но в 1980 году, когда, в связи с «Метрополем», вражеские голоса стали изредка упоминать мое имя, одна одесситка, посещавшая, как она мне написала, наш кружок и переселившаяся (может быть, насильственно) в Сибирь, прислала мне, на адрес Союза писателей, из которого я только что вышел, это стихотворение, случайно у нее сохранившееся на протяжении полувека. Оно оказалось совершенно беспомощным, и по мысли, и по исполнению (что одно и то же), рифмы неряшливо-усеченные, но одна строфа мне показалась сносной:

Вступаем в молельни, читаем молитвы, кадим,
Но кто объяснит, почему
Все просим и просим, а дать ничего не хотим
Творцу своему?

По дурости я прочел «Бога» на занятии молодогвардейского кружка. Это сейчас трудно себе представить: 1929-й, грозно-переломный год, кружок при комсомольской газете — и такое, с позволения сказать, произведение.

Был скандал. Меня вызвала к себе хорошенькая редакторша «Молодой гвардии» Феня Мальц — одна из тех, которые теперь называются «комсомольцами двадцатых». Я всегда сомневался в их искренности. Возможно, что я ошибаюсь. Феня топала ножками в балетках, грозила. На другой день ко мне в Овчинниковский пришел завотделом губкома комсомола по фамилии, как мне кажется, Селиванов. Он говорил со мною дружелюбно, интересовался моими планами, воспитывал:

— Ты учишься у хороших поэтов, у Безыменского. У него не только содержание богатое, но и форма исключительная. Например, вслушайся: «А я иду и думаю упорно о себестоимости советских товаров». Усек? Два раза «иду»: иду и думаю. Называется аллитерация. Учись, работай, заходи ко мне в губком — знаешь, на Греческой.

Заходить не пришлось. Селиванова вскоре арестовали как троцкиста.

Что же касается происшествия с моим стихотворением, то оно, к счастью, растаяло, растворилось в потоке дней. Но тогда началось мое смирение. Не сразу — я еще не сдавался несколько московских лет — а началось. И не то, совсем не то смирение, к которому нас, гордых, призывал Достоевский, а постыдное, рабское, не перед Богом смирение, а перед людьми, тоже рабами. Долго же оно длилось...

Непосредственным результатом происшествия было то, что меня лишили возможности подрабатывать в газете, а одна простая душа запомнила и записала беспомощные, но искренние строки, и половину столетия хранила их в Сибири. Спасибо ей. Именно такие, как она, а не «комсомолки двадцатых» — двигатели новой России. Не забытые Демьян Бедный или Безыменский, не более поздние фавориты Лужников, а Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Цветаева, поэты гениальной гражданственности, явились силовым полем русской поэзии советского периода, в них — дыхание и тепловая энергия нашей эпохи.

Можно пожалеть таких, как Бердичевский, веровавших в свою веру, — правильнее будет сказать, — в свое изуверство, как веровали хлысты, иступленно и жестоко. А те ровесники Бердичевского, которые не веровали ни во что, — именно они стали нашими господами, они выросли на доносах, на крови своих товарищей, их ремесло — предательство, палачество, грабежи и кражи.

Можно пожалеть и недалекого идеолога Селиванова, но кто мне ответит, почему обладающие даже самой крохотной властью считали себя вправе нагло, свирепо, самоуверенно и невежественно распоряжаться литературой. И ведь так поступали не только низовые работники, а все могучие самодержцы, особенно тогда, когда и они были сочинителями — и поэт Нерон при Петронии, и поэт-султан Хусейн Байкара при Навои, и поэт Сталин при Мандельштаме, и поэты Мао и Хо Ши Мин — все, начиная от эмиров и кончая борцами за мир.

Кажется, сырым мартом 1929 года Багрицкий приехал в Одессу, приехал победителем, знаменитостью. Бывший житель сарая на футбольном поле Джутовой фабрики был теперь одет романтически, как и полагается столичному поэту с громким именем. В узкой кожаной шапке с высокой тульей, в кожаном черном пальто, в неопикуемых крагах, он приехал, чтобы ошеломить Одессу, в которой еще недавно знал унижение, бедность. Мне запомнилась веселая горечь одной его фразы:

— Я встретил Маркуса, своего соседа по Базарной. Роскошный парень, король железнодорожных спекулянтов. Увидев меня,

он первым делом пощупал мое пальто: «Кожа — дешевка, Made in Марына Роцца». Он и не слышал, что я автор «Думы про Опанаса». Вот вам и слава.

Был устроен вечер Багрицкого в Доме печати, в длинном, узком зале на Ланжероновской. То ли в зале было холодно, то ли фарса ради Багрицкий стоял на подмостках в своем кожаном пальто. Он прочел всю «Думу» целиком, «Контрабандистов» и другие эффектные вещи, читал он превосходно, поэты, как правило, читают свои стихи лучше, чем актеры, а Багрицкий владел этим искусством с особенным блеском, успех был огромный, его нищая молодость, хотя и с запозданием, торжествовала.

Он провел в Одессе всего несколько дней. Уже никого в городе не было из числа его литературных сверстников. Он скучал. Я был у него в доме на Базарной. Мне кажется, что отношения его с матерью были отчужденными. Мы каждый день гуляли с ним вдвоем под мокрым солнцем марта. Однажды на Николаевском бульваре, у входа в бездействующий фуникулер я спросил его, одобряет ли он мое намерение уехать в Москву.

— Надо ехать, — сказал он твердо. — Вам будет нелегко, хазу в Москве теперь найдешь не быстро — это главная трудность, но придумаем что-нибудь, например, около меня в Кунцеве, это близко от города, сезонный билет стоит пустяки. Мне бы самому надо было поехать в Москву раньше, пока астма была послабее, а я помоложе, но меня напугал Олеша, говорил, что в стихах теперь требуется сквозной лирический сюжет, а что это значит? Я подумал, что никому я в Москве не нужен, пропаду в холоде и в голоде. Мне кажется, что вы в Москве найдете свое место. У вас есть артистическая жилка, и очень возможно, что вы поэт. Вряд ли получится из вас большой поэт, но небольшой получится. Поверьте мне, я в этом деле съел свору собак, редко ошибаюсь. Я предсказал Гехту, что он станет писателем, и вот, какой ни на есть, а писатель из него вышел, даже Бабель кое-что хвалит.

Провожало его в Москву несколько человек. Среди них мне был знаком только один газетчик. Никого не было из его близких. Мать на вокзал не пришла. Он уезжал в плацкартном вагоне, в руках у него был продолговатый баул, обитый потрепанной кожей.

А через несколько месяцев, в конце августа, мы всей семьей двинулись по Пушкинской улице к тому же вокзалу. Миновали здание редакции и дом, в котором я родился, и дом, в котором помещался мой хедер, и Афонское подворье — чудесную церковь с голубыми, как одесское небо, куполами. Она действует и сейчас, мы с Инной Лиснянской однажды посетили ее лет десять назад,

жена поставила три свечечки перед иконой Божьей Матери, мы вышли из полупустого храма, чувствуя в сердце свет, и я вспомнил, как совсем молодым проезжал мимо этой церкви на извозчике, отец молчал, мама смеялась и плакала.

Я сел в бесплацкартный вагон — билет в плацкартный был нам не по карману, — поставил чемодан на самую верхнюю полку, боковую, на которой мне предстояло пролежать две ночи. Когда молод, особенно чувствуешь жесткость полки, ничего не покрытой, с годами это проходит.

Где будет мое столичное пристанище? Перрон провожал меня своим южным голошением. Эти люди были мне незнакомы, но я их знал всегда, они родились рядом со мною и во мне, и живут и будут жить во мне. Сейчас пространство разлучит меня со здешним временем, с деревьями и зданиями на Пушкинской улице, а и те, и другие — нередко — одного роста.

Отец был задумчив, мама утирала слезы платочком, младшие сестренка и братик взбирались на подножку вагона и весело прыгали с нее. Пространство взвизгнуло, позвало свистком, поезд тронулся, я стоял у окна, а мои дорогие еще бежали по перрону, что-то кричали мне, но я их не слышал. А отцу уже тогда бежать было трудно.

Август, 1985

ПОЛУКРОВКА

Повесть

Поймите правильно, не то, что я ее боюсь или чувствую себя виноватым... Просто я не смогу при ней объясняться. Буду чувствовать себя скованным. Вот, например, когда у меня в квартире очередной раз лопнула труба и у нее, Пономаревой, опять потекли потолки, она прибежала с соседками и колотила к нам в дверь, хотя нас не было дома. А она уверяла, что я там был и боялся им открыть!

Я просто не нашелся, что ответить. Я вдруг понял, что если бы никуда не уходил в тот день, то, действительно, так бы и поступил! Я на это способен! И она это тоже поняла, видя мою растерянность, что придало ей уверенности... Я вообще часто забываю сказать самое нужное, когда это необходимо. Даже после нашего разговора я буду потом припоминать, что не сказал, и находить более точные доводы и формулировки.

Хотя я вам доверяю, мы с женой голосовали за вас со всей душой и ничуть об этом не жалеем... Поэтому будет лучше, если вы выслушаете нас с Пономаревой раздельно.

Тут есть еще один аспект. С некоторых пор мне все время кажется, что все только и ждут нашего отъезда. Ну вы знаете — куда и почему. И потому многие просто стали нас избегать. И я это понимаю. Какие дела могут быть с человеком, который не сегодня-завтра эмигрирует?

Вот вы, кстати, не подумали так, глядя на меня?

Простите, я волнуюсь, говорю не то, но вы меня поймете, как здравомыслящий, справедливый человек, и сами увидите: истин-

ная подоплека нашей ссоры с Пономаревой, пишущей на меня жалобы во все концы, — именно в этом! Я закурю, вы не возражаете?

Живем мы, то есть моя семья и Пономарева с сестрой, в самой что ни на есть хрущобе, где давно все прогнило, проржавело, трубы и батареи текут, потолки в протечках, штукатурка осыпается, а сантехники не просыхают...

Уже не определишь — кто кого затопляет! Все заливают всех, сверху донизу. И потому чувство справедливого негодования вполне компенсируется сознанием собственной, пусть невольной, вины.

Я даже подумал как-то: не в этом ли секрет устойчивости иерархических структур? Об этом немудрено задуматься, имея перед глазами такую наглядную модель, как наш дом. И, кстати, найду для Пономаревой оправдание. Вы уже догадались — она живет как раз подо мной, на первом этаже! Ниже — никого, понимаете? Ей не на ком отыгрываться! Она не может поступать с другими так, как поступают с ней!

Всегда унижение перед вышестоящими так или иначе уравнивается чувством превосходства над теми, кто ниже. И если этот зыбкий баланс нарушался, — происходили общественные катаклизмы, к чему всегда готовы разного рода люмпены, то есть проживающие на самом нижнем этаже... Никогда об этом не задумывались? Но это одна сторона дела! Жил бы на моем месте кто другой, — уверяю вас, у нее было бы меньше претензий.

А сочувствуя в этом смысле Пономаревой, я поневоле задумываюсь: не окажусь ли там, куда меня выпроваживают, на ее месте?

Не в том беда, что буду мести улицы, а жена мыть полы. Ниже — никого, вот в чем штука. И чувство, что кому-то еще хуже, не будет согревать в трудную минуту.

Я так и сказал ей: вам следует уезжать, а не мне! А она смертельно обиделась и — в суд!

Так и живем. Только летом, когда отключают отопление и горячую воду, наступает передышка. И тогда я взываю к совести всех этих РЭУ, ЖЭК, ДЭЗ... Кстати, аббревиатура, а? Прямо кличка Зверя из Бездны.

А там, в этих конторах, всегда новые лица. Как в прогорающем театре или процветающем борделе. С неделю чешутся, потом когонибудь пришлют, кое-как отремонтируют и только за дверь — как снова все течет, потому что ничего не меняется!

Пробовал говорить непосредственно с сантехниками — без толку! У них один ответ: ну ты, инженер х..., у самого рук нет? Тебя чему учили? Когда я отвечаю, что не закончил всего лишь филфак и истфак, они переглядываются, осторожно берут из моей

пачки «Примы» еще по одной на дорожку, а в дальнейшем при встрече почтительно здороваются еще издали... Но как халтурили, стервецы, так и халтурят! Так что сами видите. Перед вами человек с незаконченным высшим, безысходным прошлым и уже запятнанным будущим. Но — без каких бы то ни было на сей счет комплексов! Это я прошу отметить особо. Хотя, есть, наверно, логика в том, что я бросил два института, а две жены бросили меня...

Так вот Пономарева, когда в последний раз случилась протечка, сама к нам пришла и вполне миролюбиво предложила поменяться квартирами, поскольку — опять же! — все равно уезжаем. Какой смысл, поинтересовался я, те же Колтуновы над нами будут заливать вас еще больше — у них трое детей, к тому же вам с больными ногами выше первого этажа лучше не подниматься.

Но она настаивала. Улавливаете? Ей полегчает, если под ней кто-то будет так же мучиться с протекающими потолками!

Мы ведь не можем подняться, не опустив кого-то другого. Нет, я вовсе не осуждаю, я сам такой...

А на другой день она написала очередное воззвание к властям — угрожала, что не придет на выборы. Так что вас вполне могут не переизбрать... Помню наизусть: «Прошу оградить честного инвалида труда и пенсионерку Пономареву Е.П. от посягательств живущего над ней без определенных занятий гражданина Дербенева И.В. путем переселения его на ее место жительства, а ее на его».

Текст откуда знаю? А те же Колтуновы позвонили: петицию уже разносят по квартирам и собирают подписи.

Порядочные люди — сперва подписали, потом позвонили. Логика понятная: вам уезжать, а нам оставаться.

Только положил трубку — опять звонок. Уже в дверь. Девчонка с четвертого этажа протягивает упомянутую челобитную на пяти листах и с десятком подписей.

Она-то ошиблась дверью. А мне как быть? Вы бы что сделали на моем месте? А я взял и подписал! И теперь Пономарева везде говорит, что подписались все до единого жильца... Ну вы это еще услышите. С тех пор везде спрашивают — зачем подписали? Значит согласны? Тогда платите. Причем срочно, пока не уехали. Да это хохмы ради, отвечаю. От скуки.

И вот попал на прием к самому большому нашему начальнику в районе, Аникееву Борису Федоровичу. Фрукт, скажу я вам! Сначала со мной вместе посмеялся, потом говорит: вы же интеллигентный человек! А она — склочница. Охота вам связываться, нервы трепать, тем более перед отъездом. А сам смотрит ласково, проникновенно и голос понижает — по-свойски. Боюсь, вас не-

верно информировали, говорю. Я не семит, я — метис! И оттого живу и гадаю — какая очередь подойдет быстрее: в ОВИР или на капремонт дома. И потом знаете — ностальгия! Съездишь на картошку — неделя всего — и то ведь изведешься. Нет, я лучше ремонта дождусь.

Он пальцем погрозил: шутник вы, все смеетесь. А она уже в суд на вас подала. Как в суд? — холодею. А чего вы расстраиваетесь, говорит, может и хорошо, что — суд? Там ее на место живо поставят!

И не просите! Я лучше на тот стул сяду... Куда ни приду, везде усаживают, чтоб помягше. А то и плохо, что мягкое.

В одном санатории, говорят, вот так дед вечером уснул в таком кресле, пока телевизор смотрел, а проснулся — все спать ушли. До утра просидел, встать не мог. Я всем говорю — никто не верит: специально так делают! Мебель импортная, дорогая, а ее спишут, раз старики боятся — и про меж себя разделят.

А про Дербенева чего сказать? Я уж сколько писала — и в газеты, и на телевиденье... Да мне сам Аникеев, Борис Федорович, начальник, может знаете, заявление от наших жильцов прочитал и даже вскочил весь от возмущения!

Его судить, кричит, надо за такие дела! Таблетку выпил, а после мне дал запить. И по кабинету забегал. Это чтоб так издеваться над старым человеком! Но мы в обиду не дадим. Подавай, говорит, Евдокия Прохоровна, в суд и не сомневайся. Вот так. Там его на место живо поставят!

В старое время был бы ваш Дербенев партийный иль на должности, его б сразу по всей линии прижали. А то не пойми кто. Сто работ поменял — нигде не держат. В кооперативе вроде теперь служит... А может он из тех, спрашивает, кто с микрофонами народ смущает? Пес его знает, говорю. Фамилия-то русская. А что людей волнует, это точно! То уезжает, то опять передумал. И жена его. Ей слово — она десять! Пройдет, нос кверху, никогда первая не поздоровется. И на двадцать лет моложе! Вот вы, как мужчина и как наш депутат, скажите на милость, чего она за него вышла? Лучше не нашла? Да чтоб в Америку через него уехать, вот чего ей надо!

А насчет суда — прямо не знаю... Сроду ни с кем не судилась. И все у нас такие. Отца кулачили, да какой тогда суд! Еще племянники мои сидели. А вот сами — никогда.

Я племянников этих -- Шуры, сестры моей ребята — в Москву специально завала, ну, чтоб посоветоваться. Банку настойки свою им открыла, салца нарезала, огурчиков... Думала, чего путевое посоветуют, а они с дороги всю банку трехлитровую уго-

ворили и в один голос: не лезь, баб Дуня, ничего ты там не докажешь! Дохлый номер. А не то давай, говорят, мы те потолки победим, а ему рыло начистим? И весь разговор.

Да с вами только свяжись, говорю, вы-то сядете, а он мне после все потолки зальет. Опять чисть да скобли...

...Согласимся, что нас всех, помимо прочего, разделяет разная степень самоидентификации. И мы это чувствуем друг в друге. Отсюда разного рода неприятности, недоразумения, а также забавные истории.

Например, моя физиономия типичного полукровки — настоящая находка для тех, кто озабочен поиском супостата с противоположным составом крови.

Когда мы с Таней после свадьбы поехали в Сухуми, я на себе убедился, что наши нынешние национальные распри лишь внешнее проявление других, более серьезных и глубоких противоречий...

Я любил по утрам, когда жена еще спала, ходить в кофейню на набережной. В мою сторону там никто не поворачивался. Все были заняты делом. Но стоило прийти с женой... Все-таки моложе на двадцать лет, светлые длинные волосы, сияющие глаза, а рядом — я, тощий, седой очкарик...

Таня никак не могла понять, чего они от меня хотят, почему возмущаются, обращаясь ко мне на своем языке. И почему угрожающе жестикулируют, окружив наш столик. Мы разбирали только «геноцид» и что-то насчет притеснений... Так было раз или два, потом до нее дошло наконец то, что я почувствовал сразу: здешним грузинам я был нужен как ненавистный абхаз, посмеивший завладеть такой молодой девочкой, а тем — наоборот. Удерживало их от рукоприкладства, по-моему, то, что я сразу это разгадал и поэтому они мне стали малоинтересны. А как ударить по физиономии человека, которому ты успел наскучить?

Точно так же азербайджанцы принимают меня за армянина. А вот армяне за своего. Таковую роскошь, как супротивник, этот пострадавший народ позволить себе не может. Свои — нужнее.

И если первые, узнав об ошибке, разочаровываются, не скрывая при этом сомнений, то вторые от души сокрушаются. И доверительно рассказывают анекдот, словно это завет пращуров: берегите евреев, когда их вырежут, примутся за нас.

В том-то и дело. Если здесь со своим подозрительным профилем я всего лишь буду испытывать прессинг по всему полю величиной в одну шестую земной суши, то там, куда меня все

подталкивают, будет глубоко наплевать на мои проблемы. И еще неизвестно, что хуже...

Да и учить язык с моей ленью? Жена говорит: на конкурсе лодырей ты не возьмешь главный приз только потому, что тебе лень будет протянуть за ним руку...

Хорошо бы депутату удалось ее разговорить! Она нуждается в этом больше меня. Ведь ей нужно, чтоб ее хоть раз до конца выслушали. Быть может тогда начнет прислушиваться к себе, к тому, что говорит, будет что-то вспоминать, начнется процесс самоидентификации, благодаря чему хоть на время она вырвется с нижнего своего этажа.

...И не хочу про него ничего знать! Своих забот не оберешься... Уезжает, не уезжает — мне какая разница?

Ты человеком будь — уезжаешь или остаешься. А на суде этом — знаете, как себя вел? Не знаете, а заступаетесь. Да и суд-то, просто Господи... Суд называется. Пять минут поговорили, туда-сюда, не успела сказать толком, а они — на совещанье ушли. Не успела бабка сесть — по новой вставай. И опять Дербенев ваш ни в чем не виноватый!

Правильно мне говорили: эти везде выкрутятся. Кого хошь заговорят. Вот РЭУ нашему и присудили. И за ремонт, и за издержки какие-то... А он опять не виноват, да? А сколько нервов всем потрепал, это как? Что ни скажу — судья обрывает: не по делу ей все. Ну я ей тоже сказала... Молодая еще мне рот затыкать! Вы хоть меня не перебиваете, а так дождешься от кого? Только гавканье и слышу... Все им не по делу!.. А как вел себя, когда на суд идти? Уж выходить пора, а он из дому не вылезает! Мы с Шурой одетые на кухне в окно глядим, а он нейдет! Чего нам зря по льду ноги бить? У меня вон полиартрит который год... А он, может, возьмет и не придет! Справку из поликлиники притащит и опять не виноват.

И ведь до последней минуты дотянул! Из подъезда выскочил и еще на мои окна оглянулся.

Хорошо наш семьдесят третий подошел, он вообще редко ходит, а тут подгадал. Ну, мы проследили, чтоб он сел, а после сами влезли.

Ну вот, у суда сошли, за ним идем, а он оглядывается с ухмылочкой своей и говорит: да не бойтесь, не сбегу! И еще руки за спину заложил будто арестант какой, а мы вроде охрана ему.

Мы с Шурой от возмущенья под ноги не поглядели и на лед хлопнулись! Я сама встать не могу, Шура поднялась кое-как, меня потянула и свалилась по новой. И все смотрят. Интересно-то как!

А Дербенев подходит и г. ку мне тянет. Я ж, говорит, для вас самый близкий на данный момент в этой окрестности человек. Да-

ла ему руку, а от кого тут дождешься? Народ-то теперь какой — хоть сдохни, никто не почешется. А главное, суд вот-вот начнется, а я сроду опаздывать не привыкла.

...Так она вам про суд успела рассказать? Интересно... Тогда я тоже расскажу. Свою версию. Хотя она будет не в мою пользу.

Только нам открыли судебный зал, гляжу моя истица с сестрицей, оттолкнув меня, кинулись к скамье подсудимых! Секретарь суда увидела, глазами захлопала, вы чего, говорит, бабулечки, туда сели? А те не поняли, закивали, мол, после полы подотрем, а пока тут посидим, тут поудобнее, миленькая, ты уж не гони...

Сижу, смотрю, ни жив ни мертв. Это что ж я делаю? С кем сужусь? Им жить-то осталось...

Наверняка вы тоже бы так подумали. А я еще вспомнил, как убивали мою мать!.. Хотя убийством то, что с ней случилось, называть не принято. Ведь известно: если один человек убивает тысячи, он — национальный герой. А если тысячи убивают одного? Это называется — естественная смерть. Виновных нет, если их слишком много, понимаете?

Мою мать убивали, как на конвейере, — у каждого была своя операция. Сначала какой-то негодяй больно ударил локтем в грудь при посадке в переполненный автобус. Через две недели на месте синяка образовалось затвердение. Хирург вырезал, да не до конца, потом пришлось вырезать лимфоузлы под мышкой... А вторую операцию мать перенесла особенно тяжело, и в реанимации не уследили за мощным скачком давления, в результате — инсульт.

Вы, пожалуйста, не думайте — я все знаю про нехватку медсестер, которым платят гроши, а они просто разрываются!

Я о другом. Я заметил, что число невиновных в том, что с ней случилось, растет в геометрической прогрессии. Начиная с тех, кто запланировал мало автобусов, но много танков.

Ведь наша неуязвимость в том, что ответственность у нас размазана на всех! А виновные, похоже, давно кончились — после массовых репрессий тридцатых-сороковых годов. Только невиновные остались. И, кстати, не потому ли так мучился Достоевский со своим Раскольниковым, что его роман в какой-то мере есть покаяние самого автора, у которого на совести была какая-нибудь старушка? И что делать, как быть тогда обыкновенным грешникам, не осененным Божьим даром?

Вообще, мне все чаще кажется, существует некий императив, способствующий своевременной смене поколений, этому своего

рода обмена веществ в общественном организме. И если это допустить, то все встает на свои места! А состарившийся индивид становится, уже независимо от национальности, инородным телом! И тогда — ату его! Он же всем мешает, от него одни неудобства, он за все цепляется, как незаживающая болячка... Я знаю, чему вы улыбаетесь! Мол, ищу оправдание, все валю на этот злополучный императив, толкающий меня на сутяжничество с несчастной, больной старухой... Вы это хотели сказать? А вы посмотрите, сколько происходит у всех на глазах замедленных, неслышных убийств стариков! Особенно когда в обществе возникает потребность быстрых перемен. В древности, когда в жертву приносили, напротив, самых молодых, по крайней мере, не лицемерили.

Прошу прощения, со мной это бывает, вдруг накатывает обличительный пафос, уместный скорее на митинге или на том же суде...

Там я сначала успел собраться, снял ненужную рефлексию, ввел установку на непреклонность... И тут входят судья с заседателями — сплошь женский состав! То есть малина при других обстоятельствах.

И только мы сели, я сразу напоролся на взгляд заседательницы справа — прямо мороз по коже... Конечно, я понимаю, с моей физиономией судиться со старухой коренной национальности... То есть едва начали, и уже проигрываем ноль один. И знакомое ощущение — опять играю на чужом поле, чужим мячом и по незнакомым правилам. Хотя именно на этом поле — среди васильков и колосьев — меня когда-то зачали...

А взгляд у этой заседательницы не просто ненавидящий, это бы еще куда ни шло! А такой, знаете, тоскующий, я бы сказал, с поволокой... Так что поневоле пришлось оглядеть ее стати и констатировать: у тетеньки ни кожи, ни рожи, а туда же! Антисемитизм, помноженный на сексуальную озабоченность, — взрывчатая смесь, можете мне поверить на слово.

Другие? Нет, та, что слева от судьи смотрела вполне нормально, то бишь, с безгловым любопытством.

Словом, еще не ноль два, но от судьи уже требуют назначить пенальти. А как раз судью, думаю, я вам так просто не отдам! Возможно, вы ее даже знаете. Я фамилию не помню... Молодая и красивая женщина. Только очень уж усталая! Ни на кого не смотрит, листает дело... Удивительно, чем больше устает хороший, умный человек, тем привлекательней его лицо! Заметили? А у негодяев, наоборот, делается еще отвратительнее...

По-видимому, усталость ослабляет лицевые мышцы и таким образом снимается маска приспособления к изматывающей действительности. Поначалу, глядя на нее, я даже забыл, зачем пришел! Смотрел и думал: разве ей здесь место? Сидеть целыми

днями в сырых обшарпанных стенах, кутаться в платок и пропускать через свою чистую душу все мерзости... да так, чтоб самой не запачкаться, не озлобиться, не очерстветь.

Для нее было вовсе не важно — уезжает ответчик либо остается, какое у него прошлое, какая жена, что он и когда сказал истине и как при этом посмотрел... Пономарева просто синела и хрипела от возмущения! А судью только интересовало — что и как записано в нормативных документах. А там, к моему удивлению, все только в мою пользу! О чем я даже не мог мечтать, ибо до сих пор бывало только наоборот...

Словом, я мог вообще не приходиться! Все закончилось настолько быстро, что даже стало обидно, — ведь такую речь заготовил о нашей Системе, стравливающей своих несчастных пасынков...

Когда суд присудил оплатить ремонт нашей конторе, Пономарева стала возмущаться вместе с ее представительницей.

И я ее понимаю. В этом отличие торжества справедливости от торжества победы! А ей нужна была только победа! Над тем, кто над ней! То есть уже не в ремонте дело, понимаете?

Вот если б я встал перед ней на колени и просил при всех прощения, — это настолько же продлило бы ее жизнь, насколько сократило мою...

И потому я не мог так просто уйти. Хотя и следовало. Я сунул ей деньги, приготовленные на случай, если на меня повесят штраф.

А она — швырнула их мне в лицо... Вообще, все дальнейшие подробности — лучше у нее. Она расскажет, я не сомневаюсь... Ведь после этого суда она и обратилась к вам.

...Это он вам так сказал? Ну есть совесть у человека? Да что я слепая!

Вон Плоткин Исак Борисыч всех соседей на проводы зазвал! Вся ночь провожали, прямо до слез, что такой человек уезжает!

Кому чего продал, кому так отдал, по-соседски, а Панкратовой Марье Васильевне из второго подъезда до сих пор таблетки от астмы шлет. Только ими спасается. А этот, другой, Жолковский Михал Семеныч, вроде как Дербенев ваш. Тоже божился — никуда не уеду, не уеду ни в коем случае! Ходил, руками размахивал.

Сам на третьем этаже жил, его Селютины с пятого, у них двойня, как человека просили поменяться, так он — наотрез! Мол, никуда не уезжает. А сам втихомолку все сделал, все оформил, только его и видели. Все бросил — вещи, квартиру, все! Такси, говорят, ночью вызвал, чтоб не видал никто.

А люди — все видят! Ну и чего? Года не прошло — назад заявился. Здравсьте вам! Плохо ему там, а у нас как ни хаят, все равно лучше!

А квартира-то — все, занята уже! Участкового нашего с семьей заселили.

У сестры, говорят, поселился, все паспорта ждал. И повесился там, не дождавшись. А на другой день, говорят, ему разрешенье пришло. Вот так. Этот Исак Борисыч, дай Бог здоровья, небось и там устроился по-людски. Человек он везде человек, где б ни жил...

А я, значит, на квартиру его польстилась? Да видели бы вы ее! Неряшество одно, а не квартира. Ну и что, что этаж? Туда, чтоб въехать, знаете, какой ремонт, сколько сил потратить надо, а где взять их? И где что теперь достанешь? Вы пройдите, сами поглядите — его и мою! Ведь моя — игрушечка, по сравнению с ихней, вам каждый скажет... Еще интеллигентов из себя строят...

А мне квартира эта, знаете, как досталась?

... Да о каком отъезде речь, если я отношу себя к невольным убийцам собственных родителей! Да-да, я знаю, что говорю...

Даже наш бывший сосед, ныне покойный, Жолковский Михаил Семенович, немного знавший мою мать, сказал после возвращения из Земли Обетованной: зря вы, Игорь, не послушались вашу матушку, в то время, как ваш папа колебался. Надо было уезжать, раз пришел вызов. Там бы их спасли. Ах, какая там медицина, чтоб вы знали! А как вы теперь поедете без них! Вы же такой — только истерзаете себя! Если, конечно, не ждали их смерти, чтобы уехать безо всякой обузы...

Действительно, был у нас вызов от престарелой маминной родственницы. Отец с матерью еще были живы-здоровы, и мать меня умоляла, будто знала, что их ждет, буквально вымаливала себе и отцу спасение, а я — ни в какую!

Я еще на что-то надеялся! Я, видите ли, еще не использовал свой шанс, не взял реванш за все свои неудачи. Типичный пример неадекватной самоидентификации, который обошелся всем нам очень дорого!..

Я спросил Михаила Семеновича: сами-то чего сбежали, раз там хорошо и такая медицина?

На что он вздохнул: мою болезнь, чтоб вы знали, в университетах не проходят. Я не стал дальше спрашивать, а на похоронах от родственников узнал кое-какие подробности его биографии.

Похоже, у него была мания не то чтоб преследования — скорее бегства. Началось во время войны, когда он подростком удачно сбежал из могилевского гетто. Потом сбежал из наших лагерей. Попадался, но сбежал все равно, как заведенный.

Когда он получил от властей полную реабилитацию, все думали — остановился. Но не тут-то было! Теперь он сбегал от жен и алиментов, от кредиторов и должников, из скучных городов и от плохого климата.

Похоже, в его ушах всегда стоял топот погони.

Уже имея на руках документы на выезд и билет на самолет, он по-прежнему пребывал в режиме побега, хотя уже никто его не держал.

В ночь последнего бегства (в «сговоре» с ОВИРОм) он позволил мне и скрипучим голосом попросил, чтобы я вызвал для него такси, но на свой адрес. Прямо сейчас, потом он все объяснит. Спросонья я обругал его, он в ответ стал страшно извиняться и положил трубку. Такси я все-таки вызвал, но вместо одной машины к дому в пять утра подкатили четыре.

Оказывается, он решил продублировать и попросил о том же еще троих...

Это видел чуть не весь наш дом, заинтригованный ночными звонками, — был конец апреля и по утрам уже достаточно светло.

Михаил Семенович оплатил все вызовы, сел почему-то в последнюю машину, предварительно утерев под носом вечную каплю — как свою особую примету.

И пропал на целый год, если не больше.

Можно представить, как он там маялся. В стране, где негде повернуться, словно в самолетном клозете, бежать было решительно некуда. Разве что к арабам. К тому же его никто не стерег и никого не коробили его гулаговские замашки.

И он решил бежать обратно, туда, где с этим всегда было лучше, чем на остальных пяти шестых земной суши. Возможно, он сделал это уже по инерции, спасаясь от одиночества либо не находя себе места.

Скопив на туристскую путевку, он приехал с группой в Москву и в первую же ночь сбежал из гостиницы к престарелой глухой сестре, где прятался какое-то время. Он подал на восстановление гражданства и стал ждать. Но его опять подвело нетерпение.

И он сбежал в последний раз. Из жизни. Использовал естественное право каждого человека — ультима рацию, последний довод, последний патрон для себя, который есть у каждого.

Так вот, незадолго до смерти Михаил Семенович сказал мне: для эмиграции нужны чрезвычайные обстоятельства. Когда уж со-

всем неумоготу. А в этой стране, смертельно уставшей от своих то ли бандитствующих правителей, то ли правящих бандитов, крайние обстоятельства никогда не переводились, и потому они никогда уже не будут чрезвычайными. Так сказал он, избегавший нашу державу вдоль и поперек.

А как же Изя Плоткин, спросил я, с его орденами и почетными грамотами? Изя — человек, помешанный на долге, ответил старик. Стране, где он имел честь родиться, он отдал все, что мог. Теперь спешит что-то сделать для родины прашуров. Хотя бы вывезти туда внуков, раз там опять не хватает евреев. Но он очень сомневался до последней минуты... Скажи, уговаривал меня Изя на своем разорительном банкете, когда мы с ним крепко выпили: я должен им дать хорошее образование? А кто спорит, ответил я, раз должен, так дай!

Таков был Михаил Семенович Жолковский, как я его запомнил... Знаете, вы меня внимательно сейчас слушали, а я видел по глазам: чем больше привожу доводов, тем для вас они сомнительнее. И вы правы. Не то чтобы я еще не решил, просто до сих пор себя уговариваю.

А главное, меня постоянно занимает вопрос: что было труднее — выехать нам в сорок пятом из Нижнего Тагила, куда мы попали во время войны, или выехать из Союза в начале восьмидесятых?

После смерти родителей я перебирал их бумаги и увидел там прошение на имя Сталина — отец молил о позволении выехать с семьей из промозглого Нижнего Тагила, чтобы спасти меня, пятилетнего сына, погибавшего от множества болезней с обостряющимися осложнениями. К прошению прилагалась медицинская справка, заверенная нотариусом, где после длинного перечня моих хворей, была приписка: нуждается в переезде в южную полосу и возможно скорее.

Было трудно разобрать написанное, из-за множества энергичных, наискосок, с чернильными брызгами начальственных резолюций: «Возражаю», «Отказать!», «Кто будет выполнять программу?», «В цехе прорыв, срывается годовой план, нельзя отпускать единственного грамотного специалиста из БТК!».

Еще я нашел там же пропуск на выезд из Нижнего Тагила семье Дербенева из трех человек до такой-то станции следования...

И дата — декабрь сорок пятого. Как, какой ценой отцу удалось уговорить, добиться, я никогда уже не узнаю.

Интересно, что еще раньше, в сорок третьем, когда отец работал на танковом заводе, мою жизнь спасло то, что отца наградили двойным пайком американской сгущенки. И мать принесла ее в больницу, где мы, десяток мальчишек в инфекционной палате, сгорали от дифтерита, скарлатины и просто от высо-

кой температуры... Помню, как дрожала ее рука, когда она кормила меня этой амброзией, и не калории или там белки и углеводы, а — наслаждение, это высшее проявление жизни, вызвало во мне непереносимое желание выжить, чтобы снова и снова ощущать это блаженство... Настоящий пир богов при свете синей лампы — «чудодейственного» средства, вымоленного матерью в соседнем госпитале под хрип и стоны соседей.

Утром меня разбудил ее плач. Всю ночь она согревала меня своим телом, отчего я впервые уснул легко и быстро, а сейчас заглядывала в мой ночной горшок и всхлипывала. Врач стоял рядом и уверял: моя моча имеет цвет красного стрептоцида, а не крови.

Этой отравой нас пичкали с утра до вечера, убивая наши микробы и нас с ними вместе, и проблема была в одном — кто загнетса первым. Микробам везло больше.

Я как в общежитие после детдома попала, не чаяла и выбраться! Какая там квартира... Хоть бы комнатку. Другие-то всю жизнь так прожили, а я кто такая, чтоб еще квартиру мне?

Приняли в литейку формовщицей, платили-то ничего, только уставала я с непривычки, ой уставала! И одне бабы! А мужики — иль инвалиды, иль на должностях.

Вот где я потаскала, так потаскала! Пылища, жаррища, а норму им дай. Руки-ноги к концу смены прямо отваливаются...

Мастером Кондратий был, хохол. Сидел наверху, как собака на бугре, да еще покрикивал. Сам контуженый, башка трясется, и глаз стеклянный. Вот этого глаза его я хуже всего боялась.

Переодеваюсь я раз после смены одна, припозднилась чего-то, а он меня сзади и прихватил. И держит. Сам молчит, сопит только, как этот все равно... А в раздевалке — никого. Ладно, думаю, поглядим, чего дальше. А что скажешь-то, месяц еще никому не закрыл, вот и пользуется! И еще, сволочь такая, за ухо укусил. Ну уж тут я не стерпела. Больно же! Как дала ему, и сама удивилась: гдей-то он? Только что тут был. И слышу стонет вроде в темноте. Мне наши бабы, как из больницы от него пришли, говорят: жалуются на тебя. Ты б, Дуня, полегше, что ли. И так на всех один.

И Кондратий, гляжу, с бюллетеня как выписался, стороной обходит. Издаля только глядит да дымом кашляет.

Меня смех разбирает, глаза его уже не боюсь, даже жалко стало, черта кривого! Но виду не подаю. Вот так все десять лет не подавала, пока он от нас по инвалидности не ушел. Уж думать про него забыли, а тут вдруг приходит на участок и говорит, да при всех: иди за меня, Дуня. Помру ведь скоро, а распишемся, так тебе мой дом достанется.

И справку показывает из поликлиники — рак у него. Я и то гляжу: кожа да кости, а сам желтый весь.

Да чего мне твоя справка, говорю? Может, ты заразный? Как я тебя до себя допущу? А помрешь, родичи халупу твою отсудят. И куда я? Девки-то мои услыхали и ну орать. Каки-таки родичи? Один он! У самой не так, что ль? Тебе чего бояться? Будто не знаешь, чего на пенсию ушел. Как маячить перестало у кобелины, так заявление и написал. Потерпишь чуток, а там сам помрет. Шутка ли — дом целый!

А он стоит и плачет. Черт непутевый... Ну чего делать? Взяла и пошла к нему. Одно название — дом: развалюха какая-то.

Месяц не прожили, расписавшись, гляжу — залетела девка! А самой-то уж под сорок. А ему и вовсе... И тут он, сволочь такая, еще мне гостинец подносит. Сначала, как обещал, пить бросил, а раз приходит под ночь, еле языком ворочает. И опять справки мне какие-то с печатями сует. Выходит, говорит, кругом я тебя обманул, Евдокия. Был рак, да весь вышел. Рассосался от горячей нашей любви. Как это рассосался, говорю, а ты мне что обещал?

Доктора, отвечает, сами удивляются. Уже студентам меня показывают. За стакан спирта. И еще обниматься полез, паразит! Ну уж тут я ему дала... Так дала, что он аж в Пермь сбежал. Думал, спрячется от меня. И татарку себе там завел. Я их, на седьмом месяце уже была, вместе застукала. А Розка, татарка эта, черная как черт! — свой живот предъявляет. Сама на втором месяце. И когда только успевает, пьянь немая!

После выпили мы с ней красненького, я и говорю: ну чего с ним будем делать, как проспится? Попролам разрубить? Иль ты, говорю, в Москву прописаться хочешь? Так и договорились. Ей прописка, мне — алименты.

И прожили все вместе в его хибаре лет пять. А стали наши дома сносить — дали нам по квартире. Пил, говорят, вещи ее пропил, а она лупила его чем попадя... К Андрюшке своему, как родился, я его не допускала. Еще чего.

А он ходил тут и в окна заглядывал. Сына высматривал. Ведь на первом этаже живем. Сама, дура деревенская, напросилась. Думала под окном картошечки посажу, цыпляток разведу... Вы б сказали ему, Дербеневу, то есть. Ну если надумает насчет обмена. Хоть в окна не будут заглядывать.

После смерти матери меня постоянно преследует мысль: ведь не спаси она меня в нижнетагильской больнице, ей не пришлось бы спрашивать моего согласия на отъезд.

И с ними не случилось бы несчастья...

От этого можно свихнуться!

Когда мы с отцом приехали к ней в больницу, она лежала в коридоре, в духоте, тепло одетая, поперек кровати, вниз головой. Она только мычала и хрипела, не в силах пошевелиться...

Сколько она так пролежала?

Помню, как тряслись у отца руки, когда мы ее переворачивали, раздевали и укладывали.

Подбежала дежурная сестра, ойкнула, снова убежала, потом вернулась с врачом. Он улыбался заискивающе и виновато, по опыту зная, что такая улыбка лучшее средство от мордобоя... Мы не сказали ни слова — отец прижал палец к губам, а я сам знал: нам уходить, а ей тут оставаться.

И сразу нашлось место в палате, вокруг все задвигалось, зашевелилось, засуетилось... Надо знать нашу медицину: раз у этой конкретной старухи нашелся кто-то близкий — придется с ней возиться...

Я бросился разыскивать мамину родственницу, приславшую нам вызов на выезд, к тому времени просроченный, но она уже умерла.

И путь на Землю Обетованную для нас снова закрылся до следующего послабления режима содержания — лет на десять...

Мы с отцом дежурили в больнице по ночам, и прошло два месяца, прежде чем я заметил, — он стал заговариваться.

Там было отчего свихнуться, можете поверить. Особенно в ночные часы, когда молоденькие медсестры читают на посту толстые журналы, заткнув уши, чтобы не видеть, не слышать охов и стонов из смрадной тьмы палат.

Оказывается, отец помогал старикам — тем, кого никто не навещал... Поил, переворачивал, укрывал, водил в туалет. Хотя был не моложе большинства этих несчастных.

Те, кто это видел, потом мне рассказывали: больные стали дожидаться его прихода, и весть об этом передавалась из палаты в палату. Потом с этажа на этаж... Мне это нетрудно представить. Стоит помочь одному — сразу выясняется, что помощь требуется другим.

И так всю ночь.

Потом я проклинал себя: знал же эту его струну — готовность помочь всякому, до самоотречения!

Хотя он был скорее правозерным атеистом, нежели верующим христианином.

Наконец, мать отправили домой — умирать.

А отец так и не вышел из этого состояния. Кроме редких, отдельных просветлений, когда до него вдруг доходило, что на него смотрят как на невменяемого.

В мое отсутствие он продолжал дома делать то, что делал в больнице — насильно кормил и поил мать, переворачивал, не-

смотря на ее сопротивление, тащил в туалет, либо в жару укутывал одеялами.

Мать перестала звать отца на помощь, плакала, потом стала увещевать, успокаивать, старалась быть с ним ласковой, взывала к рассудку... Тщетно.

До последнего дня она жалела его, хотя жалеть следовало ее.

Счастье отца, что он ничего не понимал. Она понимала — все.

Бог наказал ее — не лишив разума.

Все требовали, чтобы я сдал отца в психолечебницу. Последней о том же сказала мать — когда стала бояться его. Всю жизнь любивший ее, свою единственную женщину, он теперь бросался на нее с кулаками, не узнавая.

А я медлил, тянул, сознавая близость развязки. Казалось, что отдать его туда, все равно, что закопать еще живого в землю.

Но однажды, в мое отсутствие, он включил на кухне все газовые конфорки, и не открывал никому дверь, так что ее пришлось ломать.

Увидев крепких парней в халатах, он подобрался и, чувствуя опасность, стал говорить вполне разумные вещи.

Это был его последний прорыв в реальность. Потом он кусался, вырывался, звал меня на помощь... И я помогал, но не ему.

Отец перестал сопротивляться, только растерянно смотрел на меня, а его глаза снова наливались светлым безумием...

В больнице он умер через несколько дней.

...А чего он совал деньги эти? Не тебе присудили — и не лезь! В сумку, главное, сует, а сам довольный — дальше некуда. Ох, я разозлилась... И деньги в него швырнула, чтоб знал! Да вы его больше слушайте! Кого хошь заговорит!.. Раньше-то как потолки зальет, всегда прибегал извиняться и деньги платил — не прекословил. Чего ж платил, коли не твоя вина?.. Да потому что больше тридцатки не начисляли. А как подорожало все — вишь какой принципиальный сделался... Совести в нем как раз на эту тридцатку — вот что!.. Со старухами только судиться!.. Мужик называется...

У меня пенсия одна. Вот и живи... И Андрюшке помоги, чтоб жена его вконец не загрызла... Взял ее после армии — это кому сказать! — на десять лет старше и с двумя близнецами. И она еще в претензии! Детей от него быть не может! Да куда тебе еще детей, говорю, этих-то подыми, на ноги поставь. А то — пожалела она его. Вроде подобрала. Так что — теперь поедом есть надо? Я его от пьяницы родила, я! Меня и грызи.

Все от меня натерпелось, чего и говорить... Ночи не сплю, все думаю: что ж я со своим Андрюшкой сделала?

Ведь до армии рос — все только удивлялись. Умненький и вообще — загляденье. Кондратий придет, бывало, как Розки нет, так только спасибо от него слышала. Какой ухоженный да хороший. А я подарочек-то возьму для Андрюшки, а самого выпроваживаю, ступай, ступай, а то косоглазая твоя прибежит. Она те даст... А он боялся ее!

Так своими руками, можно сказать, отдала по радиотехнике этой в училище. Он в шофера просился, все машины знал, даже водить выучился где-то. А я ни в какую. Шофера, говорю, народ балованный. Грязь и пьянь одна. Сопьешься с ними, еще в аварию попадешь... А у радиотехников этих — как хорошо. Специально его в училище привела, все показала. Чистенько, музыка играет, все в халатах белых... Кто ж знал, что такое получится?

В армию ушел, сперва письма чуть не каждый день писал, а после ни одного, как отрезало!

Я про дедовщину эту наслышалась, все бросила и к нему поехала да прямо к командиру! Он Андрюшку вызвал. Гляжу: батюшки! Бледный весь, отошал, в чем душа держится, и волос половину потерял. А мой был волос, густой. Одни остались, я и спрашиваю: бьют тебя, что ли? Вон во всех газетах про то пишут. А он: облучились, мол, тут все на станции — кто на дежурствах был. И показал, как на гребешке волосы — прямо пучками. Страсть такая — лучше не видеть. Один, говорит, вообще повесился, как голова вовсе оголилась. А ему до дембеля всего ничего оставалось. Дома невеста ждала, все фотку ее разглядывал, да плакал. Ты только командиру нашему ничего не говори. Мне же хуже будет. Всего-то три месяца осталось.

Вернулась, а сама ночами не сплю, думаю: меня-то Господь за самоуправство наказал, а мальчишку за что?

Он демобилизовался вовсе уж лысый, тут Ирка и подцепила его, по пьянке. Сама что ль подпоила? Он у меня до армии в рот не брал!

А теперь рад, что хоть такая на него посмотрела. А эта воспользовалась. И еще попрекает! Мол, нет в нем мужской силы. Пожалела она, вишь, его. А сама, соседи рассказывали, с мужиками путается, по ночам только заявляется да пьяная. И слова ей не скажи. И еще ему заявила: будет твоя мамуля тут выступать — ее на порог не пушу. И тебя выгодно.

За что ему такое? Он, бедный, с чужими детьми нянчится, они уж привыкли, защищают от мамки-то... И еще ей денег мало. Не может, говорит, бабе приятное сделать, так пусть деньгами возместит. Он и калымит теперь по ночам, шоферит...

Когда я вернулся домой после нашей последней беседы, дочка уже спала. Я внимательно на нее посмотрел и еще раз убедился:

мой портрет. Сильная кровь, говорят в таких случаях. И я с тревогой жду часа, когда моя дочка узнает, что узнал я, едва мне исполнилось девять лет: мои родители принадлежат к разным, не поделившим Бога нациям. Богоносной и богоизбранной.

Причем узнал от своих одноклассников. Они давно простили мне мое инородство, даже раньше, чем я простил их. И мы до сих пор встречаемся раз в год всем классом, предаваясь воспоминаниям. Вспоминаем, правда, не все. Зато — всех.

В том числе отсутствующих. Кто женился на богоизбранных девушках и благополучно эмигрировал на Землю Обетованную. Изредка они присылают фотографии, где сняты всем семейством на фоне своих фазенд и бунгало — донельзя всем довольные.

Впрочем, другими я их не помню. В моей памяти они запечатлелись в тот момент, когда всем классом, во главе с Верочкой Озеровой, председателем нашего отряда, набросились на меня после уроков и стали избивать.

За что? А вы представьте себе пионерский сбор, в повестке которого один вопрос: поведение Игоря Дербенева, этого юного космополита, противопоставившего себя коллективу лучшего отряда школы.

Я выкрикнул во время урока, что столица США вовсе не Нью-Йорк, а Вашингтон. Я это знал наверняка, мне отец говорил, показывая на карте.

Марья Осиповна, наша учительница, так и осталась с открытым ртом, а сзади меня стали пихать, что-то шипеть, но я стоял на своем.

Потом разборку, под видом пионерского сбора, проводил сам директор школы Ливеровский Борис Залманович, муж Марьи Осиповны.

Тип, скажу я вам. Таких вы наверняка видели в фильмах пятидесятых годов: наголо обритая голова, неизменный френч. И ростом как раз по плечо своей горластой и грудастой супруге. И еще помню эти печальные, темные мешки под глазами. Мне почему-то казалось, что в эти мешки стекают и там скапливаются все его огорчения и неприятности. Особенно когда приезжали из РО-НО или Марья Осиповна при всех громко ему выговаривала...

Сначала он коротко осветил международное положение, в коем оказалась наша страна из-за происков империалистов и их скрытых пособников. Добавил, что нам следует их без устали разоблачать. А сказанное Марьей Осиповной — свою супругу он величал всегда и везде только так — следует понимать в переносном смысле. А это, к сожалению, не до всех доходит. Ведь где находится Уолл-стрит? — спросил он и мешочки под глазами немного набухли. В Нью-Йорке! — хором сказали мы, а я чуть не

громче всех. Уж это мы знали. В коридоре на нашем этаже висел тогда плакат — бравый советский рабочий язвительно смотрит на лысого пузатого старикашку с выпученными глазами. И надпись: «Волго-Дон построили, Уолл-стрит расстроили!». Директор многозначительно взглянул на Марию Осиповну — вот, мол, как надо — учись! Она — на меня, будто отрикошетив взгляд своего мужа и неопосредственного начальника.

— Так ты согласен, Дербенев?

— А чего, — пожал я плечами. — Вы ж сказали, что Белый дом в Нью-Йорке. А он в Вашингтоне.

За те секунды, что стояла тишина, полированная лысина директора стала матовой от пота.

— Я это не говорила! — отдельно произнесла Мария Осиповна. — Правда, ребята? — тут ее голос немного дрогнул, свидетельствуя о том, как нелегко давалось ей внешнее спокойствие.

— Да, я сама слышала, что не говорили! — подняла руку и одновременно встала Верочка Озерова, наша пионерская начальница, дочка главного инженера завода.

— Говорила... не говорила... — глухо забубнили за моей спиной, но в конце концов стало превалировать другое: — Строит из себя!

И это решило исход судилища.

— Ну вот, сами и разобрались! — удовлетворенно кивнул директор.

И с тем ушел, буквально выбежал из класса. Мы знали куда. У него были застужены почки, и он постоянно бегал в свой персональный туалет.

Я возвращался домой, весь в слезах и соплях, не разбирая дороги, когда услышал позади чавканье множества ног по грязи и пыхтенье...

Обернулся и замер. На цыпочках, чтобы напасть врасплох, меня догонял наш дружный третий «г», и морозящее небо над моей головой заслоняли тугие портфели и ранцы, набитые учебниками и чернильницами-непроливайками. Я закрыл голову руками, зажмурился и сел в грязь. Погом, много лет спустя, читая Светония, я поразился схожести реакции Цезаря, когда на него набросилась толпа убийц.

Если помните, он просто накрыл голову плащом. Совсем по-детски. Параллель рискованная, я понимаю, но думаю, что его ужаснули лица тех, кого он знал много лет, — они стали неузнаваемыми в силу схожести.

Звериный страх и отчаяние решимости стерли, снивелировали индивидуальные черты и различия, благодаря чему выдающиеся люди слились в однородную свору. Вот так и покрасневшие от холода и бега лица моих одноклассников вдруг стали малознакомы-

ми в силу сходства, одинакового выражения, но не страх, а упоение численным превосходством и гарантированной безнаказанностью сделало их такими.

Нет ничего страшнее, когда на тебя набрасывается вот такая одноликая толпа. И если подобное произойдет еще раз, — пусть мое сердце разорвется сразу.

Я пролежал в горячке с высокой температурой около месяца. Когда стал выздоравливать, ко мне пришли по поручению совета отряда двое наших отличников, чтобы позаниматься со мной по программе. Отстав, я ухудшил бы показатели нашего класса, с успехом борющегося за первое место.

Помню, как отец вспылил и вытолкал их взащей, а у матери началась истерика. У меня же к вечеру снова поднялась температура.

Думаю, именно с этого дня богоносное начало стало во мне брать верх над богоизбранным.

Выражалось это в том, что я стал избегать появляться с матерью на людях. Старался везде ходить с отцом, уповая на его сугубо славянскую внешность. Но это не помогало... И как-то придя домой весь в слезах, я спросил у отца: зачем ты на ней женился? Русских не было? И он ударил меня по щеке.

Во времена его юности почему-то было принято жениться на еврейках. Полагаю, что этот выбор Саваофа тогда делался ради имиджа, как теперь для выезда. По-видимому, эта мода была спущена в массы с партийного Олимпа. Хотя, если взглянуть на снимки их молодости, на мать — залюбуешься! Она явно выделялась среди подруг броской красотой.

Тогда ведь обожали коллективные снимки. Странное впечатление производят они сегодня. Кисловодск, Ялта, Сочи. Улыбки, довольные лица, спортивные фигуры. На отца — засмотришься! Открытое мальчишеское лицо. Плюс, кстати говоря, пролетарское происхождение, в отличие от матери.

Мой дед, ее отец, о котором она рассказала только незадолго до смерти, имел до революции свое дело в Петрикове на Припяти — строил речные баржи. Мать говорила, что когда дед брался за один конец кия, за другой брались пятеро. Он был очень сильным человеком. И очень набожным. И проклял дочь, узнав, что та вышла замуж за русского. И похоже это проклятье до сих пор тяготеет надо мной.

В то же время отцова родня — крестьяне Могилевской губернии — приняли мать, как родную, за что она всегда была им признательна.

Отправив дочь вслед за сыновьями учиться в Москву, мой петриковский дед рванул с бабушкой зимней ночью через польскую границу. Как у бывшего «эксплуататора» у него были неизбежные осложнения с новой властью. Умер он недавно, в девяносто лет, в Нью-Йорке, оставив после себя миллионное состояние, пожертвованное целиком на синагогу.

Видевшие деда говорили, что я — его портрет.

Так вот уже после войны черт его дернул прислать из-за океана в восточку: мол, жив-здоров. И все. Конечно, дед понятия не имел, что его дети уже записали в пунктах анкет, где спрашивается о родственниках за границей: мол, нет и не предвидится.

Особенно это досадило зятю — честному партийцу и перспективному специалисту, заполнившему подобных анкет уже не один десяток... Я бы на месте отца был категоричен: утопился так утопился, дорогой тестюшка. Что мне теперь из-за вас — покаянное письмо писать товарищу Сталину?

Отец так бы и поступил. Но сбежались братья матери и отговорили. Ведь неминуемо возникал законный вопрос: кем товарищ Дербенев был введен в преступное заблуждение и с какой целью? Оставалась, конечно, альтернатива: продолжать врать партии и правительству — вдруг не узнают. Хотя в сознании отца до конца его дней стояло: вдруг узнали!?

Отец выбрал третье: плюнул на карьеру и лег на дно — нашел себе ремонтный заводик на барчной окраине Москвы, где анкеты заполнялись без излишних подробностей, и проработал там, под страхом разоблачения, до самой пенсии...

Словом, народилась перед войной масса полукровок, подобно вашему покорному. И все — в мать. И в послевоенные годы стало нарастать — под пытливыми взглядами инспекторов отдела кадров, а также соседей — стремление либо идентифицироваться с богоносной нацией, путем изменения фамилий или формы носа, либо — бежать!

Да все мы, скажу я вам, получего-то! Всем повезло застрять в промежутке между Западом и Востоком — в пространстве и между очередными катаклизмами — революциями или съездами — во времени! И потому мы все не то полугении, не то полуидиоты, и «нет надежды, что будет полным наконец!». Помните классику? Или по-другому: «полузнаем, полуверим, полулюбим, полуврем, до конца мы лицемерим, и до дна мы только пьем!».

Это уже из интеллигентских посидилок на кухоньках конца семидесятых — под гитару и водочку.

А все потому что на протяжении всей своей бедовой истории уж сколько так было: левой ножкой рраз! — через очередной

рубикон, из Азии в Европу, ан нет, правая, как всегда увязла. И уж какое столетие вот так, в раскоряку! Или камень всегда у нас на распутье: направо пойдешь — одна напасть, влево — другая... Ну да, сегодня это звучит более современно: шаг вправо, шаг влево — побег!

... Хотя, справедливости ради, тот же Цезарь через Рубикон шагнул и левой, и правой, а потом признался: в ночь перед переправой приснилось, будто совершает кровосмешение с собственной матерью.

Ну мы-то особе, у нас свой путь, все мальчики кровавые в глазах.

...Андрюшка позвонил за день, как в суд идти, и говорит: может, мне с тобой? Разволнуешься, скажешь чего не так. Мол, насчет отгула уже договорился. Еще чего, говорю, только и отпрашиваешься. На той неделе в деревню за картошкой ездил, крестную на вокзал отвозил. Сама как-нибудь. Вечером они с Ирккой пришли. Да ребятишек привели. Те ко мне на руки — баба Дуня, баба Дуня... Мать-то Иркина — тоже незнамо где, на Алтае, что ли. Бросила их, когда отец помер.

Ну посидели, винца выпили, она и говорит: а кто он, Дербенев этот? Может, пусть мужики наши с ним до суда поговорят? Сиди уж, говорю. Лучше скажи, когда ребят последний раз купала? Вон опять сып какой-то. Специально тебе чистотел доставала, хоть бы раз вымыла... Так она вспыхнула прямо вся! Не трожь, как говорится...

Она вообще-то дурная, а понимает. Раз ее бывший заявился к ним, а Андрюшка мой ребят купает, и тот орать сразу: чего моих детей тут моешь? Ирка из туалета выскочила и в морду вцепилась. «Нет тут твоих!» — орет.

Или характер у меня такой?

Мне вон Кондратий-покойник раз приснился, и то во сне его обругала. Он говорит: Розка, как обмыла, в трусах в гроб положила. А надо бы в кальсонах. А я на него: ей-то, нехристю, откуда знать? Сказать не мог? Ты, говорит, не ругайся, а отнеси мои кальсоны Пашке Расторгуеву, однополчанину, по такому-то адресу. Он и передаст. Я ночь не спала. Кто такой этот Пашка, знать не знаю! А адрес запомнила. Проснулась утром сама не своя. Что делать-то? Ну пока прособиралась, кальсоны эти купила, по адресу отнесла, а там жена плачет, и родственников на похороны обзванивает. Вот и думай после этого. Им рассказала, а Ирка разве пропустит? Как съезжаться, говорит, если мы не уживемся? А Шура ей: да как же не съезжаться-то? Мне уезжать скоро, а с Дуней кто будет? А куда спешить? — Ирка отвечает. Квартира и так не пропадет. Андрей-то прописанный.

Прогнала я их. А после ночь не спала, только про то и думала. Может она Андрюшку и терпит из-за квартиры этой? Правильно я говорю? А так, помру, кому он будет нужен?..

А что тут Дербенев на меня сказал... Да Бог с ним, в самом-то деле. Не судите, как сказано, и не судимы будете.

Итак, тема исчерпана, дорогой депутат! Во всяком случае для вас. Это я понял, когда был на приеме в последний раз. А столько еще надо бы сказать! Конечно, я опять сорвался, ударился в философские разглагольствования... И узнал о себе самое важное: до каких пределов могу опуститься. А время от времени это полезно. Наверно с этого начинается отслеживание себя и восстанавливается обратная связь с прошлым.

Даже хотел рассказать вам, как это произошло со мной впервые. Но удержался. Я и так чересчур разоткровенничался, а это не для посторонних ушей... А дело было в том же Петрикове, куда мать возила меня каждое лето, совместив свой отпуск с моими каникулами.

И всегда была против, чтобы отец был там с нами. Теперь я понимаю: она хотела преодолеть мою возникшую отчужденность к ней и ее родственникам.

Сейчас там уже никого не осталось. Одни уехали, другие умерли... Я постоянно сбегал от них на Припять, или играл с ребятами в футбол, но мать меня отлавливала и тащила в очередные гости.

Не могу сказать о моих родственниках ничего худого.

Очень добрые и терпеливые люди. Они все видели и понимали, но не знали, как помочь моей бедной матери. И все делали неловко и невпопад.

И был там один невеселый человек, все звали его Ефим, или Фима, как потом оказалось — друг детства. Помню, когда я его увидел, меня поразил огромный кадык на худой жилистой шее. Своими темными, навывкате, глазами, обведенными бурыми тенями, он весь вечер смотрел только на мою маму. Мне это страшно не понравилось и тогда я стал громко говорить, что хочу домой. Мне почему-то очень хотелось испортить ей настроение, напомнить о себе, оборвать эти переглядки с противным Ефимом, которого я успел возненавидеть. Дело дошло до скандала.

Больно стиснув мою руку, она выволокла меня на улицу. Была теплая ночь, ни души, ни огонька, только светили звезды и вдалеке лаяли собаки. От боли я расплакался и потребовал, чтобы мы завтра же уехали. А то все скажу папе. И тут она ударила меня. Это была не пощечина, а настоящий удар по лицу. Все, что накопилось в ней, было вложено в этот удар.

Я свалился на землю, а она стала в бешенстве пинать меня, выкрикивая на идиш какие-то слова — прекрасно зная, что я не понимаю их значения.

Потом с ней случилась истерика. Она бросилась меня поднимать, прижала к себе, целовала мое разбитое лицо и просила прощения.

Она бормотала что-то, путая слова, и от нее неприятно пахло вином и пудрой.

Утром мы уехали в Москву. Буквально сбежали. И больше она меня туда не возила.

При встрече отец спросил меня о синяке, украшавшем мой глаз. Я заметил, как побледнела мать, и сказал, что подрался. Он не стал расспрашивать. Подрался и подрался. В моем возрасте это нормально. Значит не пропаду... Но фаршированную рыбу я с тех пор не могу видеть. А девушки для меня всегда начинались только со вздернутого носика.

И с этим ничего не поделаешь.

Естественно спросить: почему враждебность одного начала к другому возможно было вбить силой, но нельзя выбить, как клин выбивают клином?

Есть у меня дилетантское соображение на этот счет, вовсе не претендующее на неопровержимость. Если абстрагироваться, то можно наверно сказать: в обоих началах — богоносном и богоизбранном — соединились Восток и Запад. И в этом смысле они те же полукровки. Если это принять, то многое можно объяснить. Например, почему вражда между ними часто напоминает распри между близкими людьми — с ревностью и злопамятством. Но только не с равнодушием друг к другу! А отличие их в том, что богоизбранная нация прошла куда больший путь самопознания и потому более самостоятельна, и мудрость непротизления злу, дабы не умножать его, — у нее в генах.

Другое дело богоносный народ, совсем молодой, истинно великий и не менее талантливый. Ему не хватило времени для той же степени самоидентификации, и потому он столь противоречив в своих проявлениях, отчего неокрепший шов, соединяющий оба столь трудно соединимых начала — Восток и Запад, часто разрывается, кровоточит, долго не заживая.

Вопреки Киплингу, Восток и Запад образовали в богоизбранном народе нерасторжимое единство, благодаря чему стало возможно рождение христианства из иудейства — уже не восточной и не западной, а всечеловеческой религии. Так мне кажется. Не отсюда ли это взаимное притяжение-отталкивание, интерес и любопытство, ненависть-любовь, как у противоположностей, которые сходятся?

Разная степень самоидентификации — вот почему они до сих пор плохо совместимы на одной земле и в одном человеке...

Мне и сейчас кажется, что во мне продолжают жить отец и мать, эти две родные души, так и несумевшие слиться воедино, и я до конца своих дней буду испытывать в себе эту их неслиянность. И они умрут со мной вместе.

Впрочем, бывали, все-таки, минуты, когда я переставал ее испытывать. Точнее, раз в году, когда на мой день рождения собирались братья матери и отца, отложив все свои дела, заботы и болезни.

Похоже, я был звеном, скреплявшим эти два больших, симпатизирующих друг другу рода. Как правило, они дарили мне красивые книжки, чаще Пушкина и Гоголя, или шахматы и настольный бильярд.

Дяди уважительно пожимали мне руку, тетки тискали и зацеловывали... Братья отца, дядя Ваня и дядя Кирилл, с удовольствием уминали фаршированную рыбу, не переставая нахваливать кулинарные способности матери, раскрасневшейся от принудительного жара и комплиментов. И, глядя на них, я ел вместе с ними то, что еще вчера не мог видеть. Даже жареный лук... Потом, как следует выпив, братья матери, дядя Марк и дядя Арон, хором затягивали любимую песню отца «Когда я на почте служил ямищиком», а он при этом старательно воздерживался — был абсолютно лишен слуха. Но, не выдержав, начинал подтягивать, и все, ожидавшие этого момента, обмирали со смеху. И он смеялся вместе со всеми... Утром, проснувшись, я спрашивал, где они, почему ушли, когда придут снова. И начинал отсчитывать дни, оставшиеся до следующего дня рождения, гадая, что подарят на этот раз.

Их никого не осталось в живых. Последним, в Израиле умер дядя Арон. Конечно, я должен был о нем рассказать! Как и о последних днях моей матери.

За несколько месяцев до кончины у нее было уже полное недержание — все делала под себя. Казалось, от ужасных запахов можно было сойти с ума, мне мерещилось, что все от меня шарахаются, и я поливал себя одеколонами и дезодорантами, и вливал в себя спиртное, чтобы забыться... Я еще не осознавал: пока из нее выходят фекалии, не уходит жизнь.

И когда я особенно напивался, так что едва приползал домой, мать звонила дяде Арону, нашему единственному родственнику, и он приезжал — всегда безотказный, аккуратный, с палочкой. Было ему уже за восемьдесят плюс слабое сердце, а ездить приходилось почти два часа в один конец, с пересадками и в любую погоду.

А на руках был вызов от дочерей, ему и тете Соне, но он отказался уезжать, пока младшая сестра нуждалась в его помощи и поддержке.

Он тайком глотал нитроглицерин, был с ней неизменно ласков, и мать, утомленная моей усталостью и грубостью, начинала по-детски капризничать, становилась требовательной...

Она хотела говорить с ним только на идиш, но, испытывая неловкость в моем присутствии, он нервничал и старался отвечать по-русски.

Быть может, это судьба многих из нас, полукровок — для богоносных я всегда буду богоизбранным, и наоборот...

Летом, в жару, в переполненном транспорте, он терял сознание и подолгу отсиживался где-нибудь в тени, ожидая, когда отпустит сердце.

Тетя Соня звонила нам, или мы ей: когда выехал, остался ли нитроглицерин... Я каждый раз клял себя, зарекался не вызывать, выговаривал матери, начиная подозревать, что она звонит ему тайком от меня, а он не смеет ей отказать, и запрещал ей беспокоить его.

Но тогда приезжал он сам, упрекая, почему не звоним, почему не зовем, а мамыны глаза светились радостью.

Не было у нее в конце жизни ближе человека, чем брат. И в агонии она звала не мужа, не единственного сына, а брата, как должно быть звала в детстве: Арелз, Арелз...

После ее похорон дядя и тетя уехали, наконец, к дочерям. Думаю, он сознавал роль самого последнего в их некогда большой семье: ему закрывать дверь за всеми.

Помню, когда началась агония, он нашептывал ей какие-то ласковые слова, и в ответ она улыбалась сквозь боль и просила меня приблизиться. А меня при этом душил стыд — как все-таки мало я подарил ей счастливых минут!

Например, она очень любила МХАТ и всегда просила, чтобы я сходил туда с ней. Но это случилось только однажды, когда я закончил школу. Помню, она шла рядом, осторожно держа меня под руку, робко радуясь и гордясь...

А как она обрадовалась, когда я вернулся из армии! Переспрашивала: неужели правда, я не шучу — не в отпуск, не проездом, как уже бывало? А поверив, что насовсем, — вдруг запрыгала, закружилась, хлопая в ладоши.

Вспомнив это, я вдруг представил ее такой, какой помнил ее дядя Арон, — младшей сестренкой, общей любимицей братьев.

А было ей, когда я демобилизовался, — сколько мне сейчас.

А умерла она... да, как раз в возрасте истицы Пономаревой.

МОЛИТВА

(из книги «Мама и папа»)

Как же нам хочется остаться одним! Как ждем того часа, когда они уйдут и можно будет пригласить гостей! Как ждем того дня, когда без них можно будет делать что угодно... «Свободная хата», «мutter с фатером отвалили», «предки слиняли», «мамы с папой дома нет»... Проходят годы, и ничего не остается в памяти от той долгожданной свободы. Ничего, кроме запаха пыли, подгнивших продуктов в помойном ведре, черных подтеков на паркете, окурков под диваном, осколков маминой любимой тарелки, пробоев в книжном шкафу и винных пятен на зеленом сукне письменного стола... Вот и все, что удержала память от тех долгожданных вечеров, когда мамы с папой не было дома...

А запомнилось совсем другое — то, что было на самом деле ДОМОМ, нашим общим домом, который вижу, слышу, чувствую по сей день.

Вещи можно сохранить, звуки — воспроизвести, но нельзя перенести в будущее запахи дома. Их возвращают и лишь ненадолго удерживают (как тепло у зимнего костра) щедрые на быстрый огонь, набегающие и тут же куда-то ускользящие ассоциации. Кто-то жарит на лестничной клетке рыбу — запах въедливый, противный, жильцы отмахиваются от него, как от докучливых комаров. Но однажды останавливаешься и «слышишь» благоговения бабушкиной фаршированной рыбы, терпкие — лаврового листа, хмельные до головокружения — хрена.

У запахов дома свой нрав, свой характер — они бывают добрыми и злыми, ласковыми и раздражающими. Добрые приносили стабильность, покой. Они не преследуют, они сосуще-

ствуют со мной, как верные друзья, которых можно месяцами не видеть, но при этом знать, что они есть.

Когда для удобства и простоты я покрыла пол лаком и в дом вошел его ядовитый, злой запах, я вдруг почувствовала на губах вкус мастики, свежее, как в морозный январский день, дыхание воска. У мамы был культ пола. Он сверкал как зеркало, по нему можно было скользить как по свежему льду катка на Чистых прудах. Поставив ноги на суконки, мы с папой выделявали на полу немыслимые пируэты, кружились в вальсе, пролетали в танго из одного конца комнаты в другой... И каждый, кто приходил в дом, считал себя обязанным проскользить на маминных суконках — отдать дань необременительному культу. Запах мастики — это преддверие воскресенья, канун Нового года, начало весны... Запах мастики — это запах разодетой, как невеста, елки, громадного, на полстола, кренделя — благоухая ванилью и корицей, он первым поздравлял меня в детстве с днем рождения.

Но запах мастики был и в тот день (Восьмое марта, праздник!), когда ОНИ пришли. Он стал вдруг въедливым и неприятным, точно вобрал в себя запах их галош, их пота, их папирос. Сколько потом ни натирали пол, сколько ни пытались вернуть дому его былую сквозную свежесть, миазмы той нескончаемой ночи не выветривались, окутывая болотной тоской, как бывает в душные пасмурные предосенние дни, когда кажется, что воздух остановился и дышать нечем.

И так же надолго застрял в доме всегда утренний, бодрящий, а с того дня тошнотный, приторный запах кофе. Никогда не изменяющая своему правилу угощать каждого, кто входит в дом, бабушка осмелилась угостить и этих «гостей». Она наивно полагала, что любой человек, если его накормить, становится добрей. Незаметно исчезнув из комнаты, хотя приказано было всем оставаться на своих местах, бабушка вдруг появилась с подносом, на котором были разложены бутерброды... лесенкой, и на каждом в венчике зелени — аккуратные ломтики колбасы, сыра, а рядом в красных с белым горошком чашках дымился пахучий, дразнящий кофе, какой умела делать только бабушка.

«Мы на работе... не положено», — сухо отозвался на ее просьбу перекусить, по-видимому, главный у них и, облизнув сухие губы (ведь всю ночь «работали»), отвернулся. Кофе так и простоял весь день на столе, мучая сладким, каким-то вокзальным запахом, и немало дней прошло, прежде чем он вернул свой — утренний, домашний.

Дух ДОМА... Это аромат кофе и чая, корицы и ванили, поджаренного хлеба, кипящего подсолнечного масла, в котором розовела, но никогда не подгорала нарезанная «лапшичкой» картошка. Эта еле уловимая волна, как ветерок в приоткрытую

зимнюю форточку, пудры «Красный мак» и неожиданный вихрь, распахнувший двери гостям, — запах маминых любимых духов «Красная Москва»...

...До отхода поезда «Москва—Ташкент» оставались считанные минуты. Мы стояли около вагона, высматривая из толпы, которая покрывала перрон черной густой массой, нашего Пипина Длинного (так я его называла в противовес Пипину историческому, но Короткому). Мама, испугавшись, что меня, еще совсем маленькую, сомнет, раздавит атакующая толпа, схватила, подняла на руки, и... тут я его увидела. Поверить в это было невозможно, но он бежал к нам (если это пробивание сквозь густой поток можно было назвать бегом), держа высоко над головой инопланетный на этом перроне, в этой стонущей, кричащей, ревом ревушей толпе букетик цветов. Каких — не помню, но то были ЦВЕТЫ. Как будто он провожал нас на лето в Киев (там уже давно были немцы, и мы не знали, жива ли киевская бабушка, удалось ли ей эвакуироваться). Поезд качнуло, и, как бы выведенные этим толчком из оцепенения, люди с новой силой заголосили, завыли, и вместе со всеми истошно закричала я: «Папа!». Он подбежал в тот момент, когда чьи-то руки затащили нас на площадку. Он вскочил на подножку, и я увидела, что он плачет. Я тогда впервые узнала, что папа умеет плакать, а второй раз увидела его слезы, когда уже не мы уезжали, а его уводили от нас.

Поезд, точно сдвинутый стоном тех, кто провожал, сотрясаемый криком тех, кто уезжал, не поехал, а поплыл, оставляя на берегу любимый город и самого любимого на земле человека. Бежать за поездом, как обычно — наперегонки с поездом, папа не мог. Толпа захватила его, оттеснила, надолго отбросив от нас, от прежней жизни, от пахучего мирного дома. В руках мамы остался растерзанный букетик и маленький пакет в фирменной бумаге Мосторга на Петровке. Когда наконец мы устроились на боковой скамейке рядом с двумя зареванными мальчишками и толстой, обернутой в две шубы женщиной, — только тогда мама вспомнила о пакете. Смущенно оглянувшись по сторонам, как будто боясь, что содержимое пакета может обидеть соседей, мама, отвернувшись, надорвала бумагу... В пакете оказалась красная коробочка, выглядывшая вызывающе своей мирностью, своей душистой непричастностью ни к этому зловонному вагону, ни тем более к тем событиям, которые назывались в сводках «Немцы под Москвой» и которые гнали нас неизвестно куда, и, кто знает, может быть, навсегда. Но словно всем бедам вопреки в коробке золотился флакон любимых маминых духов «Красная Москва».

А когда через два года мы вернулись домой, нас встретил резкий парикмахерский дух одеколona «Шипр», полоснувший чужим, враждебным миром. В нашей квартире, в бывшей нашей

комнате, где когда-то сверкала, упираясь в потолок, елка, где за длинным, раздвижным на три доски дубовым столом по праздникам садилось не меньше тридцати человек, где на блестящем паркете папа учил меня танцевать вальс-бостон... В нашей комнате, которая помнила столько смеха, шуток, гостей, театров, маскарадов... В нашей комнате, где на стенах висели портреты бабушек и дедушек, а в книжном шкафу, еще не тронутые мною, стояли те книги, которые мне предстояло прочесть, и те, которые читали с детства... В нашей комнате, где после скарлатины, закутанная в платок, съжившись в комочек на диване, я слушала папину любимую песню про черного бэби и не могла представить себе, что, если верить песне, отец и мать могут оказаться в чужом краю... В нашей комнате поселился толстый, с гнилыми зубами человек, который доказал мне, что — могут.

Этот человек никогда не мылся. Какой-то шутник, наверно, в отместку за «добрые» дела, убедил его, что вода «высушивает» легкие. Его образования хватило как раз на то, чтобы в это поверить. Он был герой прошлого, как выяснилось в будущем, — фиктивный. А в настоящем — управдом. Пока папа делал для фронта «катуши», а мама таскала на заводе опилки, он, воспользовавшись нашей задолженностью за квартиру (не до того было), самовольно вселился в комнату, которая ему, всеильному управдому, имела несчастье понравиться. Нам же милостиво оставил вторую, поменьше, шестнадцать метров. Борьба за возвращение нашей бывшей комнаты стоила папе семи лет жизни вне дома. Своей упорной тяжбой за правду отец утомил «героя». Сочинив очередной донос, с помощью которых он, по-видимому, не впервые освобождался от неугодных ему людей, управдом избавился и от докучливого соседа. Тогда, конечно, мы этого не знали, как не знали, что папа прямо из Москвы только ему ведомым путем собирался перейти границу... государства Израиль, чтобы стать там... министром иностранных дел. Папа посоветовал следователю для большего правоподобия сделать его, по крайней мере, министром тяжелой промышленности. Впрочем, согласно приговору, еще до перехода границы папа вместе с другими членами некой антисоветской сионистской организации, которую возглавляли якобы Эренбург и Михоэлс, «намеревался нанести удар в спину Советской власти и лично товарищу Сталину».

Поверить в эту абракадабру невозможно, но именно она и легла в основу «состава преступления» и отправила папу в Тайшетские особого режима лагеря.

Семь лет (а в общей сложности — двенадцать) мы дышали «Шипром». Ели суп, котлеты, компот, надушенные одеколоном. Он sprysнул нас зеленой жижей, как опрыскивают клопов и

тараканов, но мы были живы, задушить нас ему не удалось. Отец вернулся ровно через неделю после того, как бывшего управдома отвезли в больницу. Ко всему привыкших санитаров покачивало, когда они выносили «героя» из его (нашей) комнаты. «Он им мылся, что ли?» — пошутил один из них, не ведая, что в этой шутке была не доля, а вся правда.

На дверях комнаты повис тяжелый замок, который очень быстро был снят, и вместе с извинениями за «ошибку» мы получили обратно нашу комнату, где некогда, когда-то... А теперь стоял ног сшибающий, глаз режущий парикмахерский дух. С тех пор, когда я слышу этот запах, или не этот, но отдаленно напоминающий его, я вижу перед собой кривоногого осанистого человека в защитного цвета, без единой морщинки френче, с черными, по-кавалерийски закрученными усами, которые не прикрывали, а почему-то обнажали его гнилые зубы... Вижу его неслышную, кошачью походку, его желтые, в крапинку руки, его серую папаху и маленькую тубетеечку, в которой он ходил дома. Вижу нашего ласкового («как здоровьице, какие отметочки, почему мамулечка в плохом настроиньице?..»), музыкального («Ой, Галина, ой, дивчина» — и это каждый вечер), услужливого («чайк кипит, выкипает, всю плитку заливает, я его вылил...»), нашего всеми ненавидимого управляющего домом, который для сохранения здоровья полнил себя «Шипром» и задохнулся в нем.

Судьба жестоко отомстила ему — он не умер, как установили врачи, а лишь заснул летаргическим сном. Проснулся «герой» в... морге, среди гробов и трупов, отчего лишился рассудка, но продолжал жить и мучиться. Его тихая блаженная племянница рассказала нам, что дядя по ночам забивался под кровать, все прятался от каких-то преследующих его врагов... В этой фантастической истории нет ни слова выдумки — если бы я писала повесть, то, не исключено, придумала бы что-нибудь поувлекательнее. Но я пишу про свой дом, который через некоторое время снова стал нашим, хотя иногда казалось, что из какой-то щели вдруг повеет тошнотворным запахом «Шипра», — но это, наверно, только казалось. В нашей комнате началась прежняя жизнь — так уж устроен человек, и слава Богу, что так.

Поезд должен был прийти рано — что-то около девяти утра. Когда объявили, что он опаздывает на час, я вздохнула с облегчением. Мама волновалась, нервничала: «Ну как же так... Семь лет ждали, а теперь еще целый час». Я пробурчала, что вот именно — семь лет, какую роль может играть какой-то час... Но когда через час стало известно, что поезд «Тайшет — Москва» прибывает с опозданием на три часа, и мама, не выдержав напряжения,

расплакалась, я... обрадовалась, что еще целых три часа отделяют меня от того момента, которого я больше всего ждала и больше всего боялась. Нет ничего хуже долгого ожидания, равно как провожания, но на сей раз я была благодарна тогдашним «подаркам» на железной дороге. Никогда и никому не рассказывала я о своем позоре, а сейчас, в этой книге, считаю долгом рассказать.

Мама что-то заметила, но, видно, решила, что я стараюсь, держу себя в руках, показываю, так сказать, положительный пример. Она даже смутилась своих слез и виновато посмотрела на меня, не догадываясь, что это я виновата перед ней. Мама думала — я сильная, а на самом деле — слабая, трусливая, потому что... боялась. Боялась, что увижу другого папу, а ДРУГОГО я не хотела. Я сознавала свою жалость и ничтожность, но не находила в себе мужества встретить ЛЮБОГО. Изжитого жизнью, забитого, затравленного, потерявшего свой былой облик — пусть! Мне не страшно, я приму его, каким бы он ни стал, я крикну «Папа!», даже если этот человек будет... другим человеком. Но нет — я не хотела ДРУГОГО, я малодушно хотела только прежнего. Сохранного во всем — и в том, как появится на площадке вагона и как приветственно помашет рукой, и как весело подмигнет, и как кинет нам на руки какой-то пакет, в котором будет что-то такое, чего еще никогда ни у кого... Я прекрасно понимала, что этого не может быть, ибо этого быть не может. Но в глубине души, сама того не сознавая, я УЖЕ стеснялась этого наверняка другого человека. Потому и обрадовалась отсрочке долгожданной встречи, а когда сообщили, что поезд прибывает на платформу и встречающие могут... Я не могла пошевелиться. Быть может, что-то подобное происходило и с мамой, потому что, когда поезд подошел к перрону и все кинулись к вагонам, мы стояли как приклеенные, не в силах отодрать подошвы от расплавленного под летним солнцем вокзального асфальта. На какую-то секунду показалось, что его вообще нет в поезде — ведь всегда первым выбежал, — или, Бог мой, неужели он так изменился, что мы его не узнаем?! Стоит рядом, смотрит на нас, а мы не видим?! Уже все вышли, и перрон почти опустел, когда он появился на площадке, — высокий, прямой, в сером бумажном костюме, какие носили тогда трактористы-механизаторы, в тщательно завязанном ярком, попугайском галстуке (за песню «Спят курганы темные...» подарил от широты души какой-то уголовник), в широкополой шляпе (заработанной постановкой тематического концерта «Тот, кто с песней по жизни шагает...»), с деревянным чемоданчиком в руке — подарок хирурга Ивана Монюха, который дважды спас его от смерти. Все эти подробности мы, конечно, узнали потом. А тогда увидели не ДРУГОГО, а прежнего — похудевшего, по-

старевшего, но все такого же родного до каждой морщинки у глаз, которые в эту минуту сквозь слезы улыбались нам, — нашего длинного ПИПИНА. Он говорил потом, что год готовился к этой встрече, в которой не забыл ни про галстук, ни про улыбку, ни про свой — для нас — «президентский» жест. Он мечтал, чтобы с самого начала все было, как всегда, чтобы этих лет как не было — не хотел перекладывать на нас их неподъемный груз, мучить наглядностью своей памяти. Он не позволил новой жизни сжаться под прессом его воспоминаний. Нет, он ничего не забыл, но считал, что это ЕГО сон, который до конца жизни мучил по ночам кошмарами, но нельзя, говорил он, заставлять других смотреть чужие сны, им хватает своих. Он все откладывал тот день, когда подробно расскажет... Мы не торопили и тоже откладывали. Жизнь брала свое и отдавала свое — мы так и не успели с ним поговорить...

* * *

Мы шли с папой по улице Горького в прекрасном настроении. Было самое начало апреля сорок первого — тепло, сухо, и наши ноги весело топали по блестящему асфальту без ненавистных для обоих галош, которые мама первый раз в этом году разрешила снять. Тот, кто не носил галши, не знает, что за радость сбросить их пудовую тяжесть и шагать по чистому теплому асфальту, поскрипывая новенькими туфлями на коже, которые и сами невесомы, и тебя превращают в пушинку. А если ко всему вместо толстой вязаной шапки с ушками — маленькая, сдвинутая на затылок беретка, а пальто расстегнуто, и руки, что уж вовсе непостижимо, без варежек на тесемочке, то это — счастье! Счастье освобождения от зимних пут, от удушья теплой одежды — оглушающих ушанок, надвинутых на глаза козырьков и длинных шарфов, веревками стягивающих горло и пластырем — рот, чтобы ртом не дышать, а только носом, а еще лучше вообще не дышать. Кто этого не помнит в свои пять-шесть лет, пусть тогда вспомнит, как в тридцатиградусную жару, в плацкартном или общем вагоне впервые ехал отдыхать на юг, а потом три часа добирался до желанного места в переполненном автобусе, в котором потные женщины везли продавать на базар живую птицу, а подвыпившие курортники дышали недельным перегаром... Но вот вы выскакиваете из автобуса и, бросив вещи на берегу, кидаетесь в море. Примерно то же самое испытываешь в детстве в первый весенний день, когда, сбросив надоевшую, закандалившую тебя за зиму тяжелую одежду, идешь с молодым веселым папой по улице Горького, и твоя рука в его, без перчатки, руке, и твоя нога — к

его ноге, и все солнце для тебя, и даже эскимо можно съесть открыто, прямо на улице, на зависть тем, у кого гланды, а у тебя их вырезали. Вот в такой счастливый, ну просто замечательный весенний день нам повстречался ничем не примечательный парень лет, наверно, тринадцати. Оглядев меня, он быстро, как считалочку, проговорил: «Бей жидов, спасай Россию!». Я не знала, что такое «жиды». Однако настроение враз было испорчено, драгоценное эскимо как-то незаметно выпало из руки и, проскользив по светлему пальто, шмякнулось на асфальт. «Дур-р-рак какой-то», — чуть не расплакалась я, переживая больше потерю эскимо, чем непонятное, но почему-то все равно обидное, все равно оскорбительное слово «жид».

Папа побледнел и, не говоря ни слова, крепко сжимая мою руку, хотя я и не собиралась вырываться, а произвольно сама теснее прижалась к нему, быстро пошел в подворотню, в которой скрылся парень. Тот притаился за углом, а когда увидел нас, от неожиданности не успел убежать. Теперь папа держал за руки нас обоих, не больно, но тот все равно заканючил: «Дяденька, отпустите, я больше не буду», — и стал быстро оглядываться: то ли в надежде на помощь, то ли в страхе, что кто-то увидит его позор. Папа медленно, четко, со своей идеальной дикцией стал говорить мальчишке, что он, наверно, самый храбрый в этом дворе, так что непонятно, зачем такому смельчаку прятаться. «Но может быть, — искренне удивился папа, — ты и сам не понимаешь, что сказал, если ты... прости, — неподдельно смутился папа, — я не спросил, как тебя зовут». — «Андрей», — почему-то отвернувшись, буркнул парень. «Так вот, Андрей, — продолжал папа, а тот, перестав канючить, слушал его так, как будто ему рассказывали сказку. — Чтобы стать сильным, вовсе не обязательно кого-то бить, тем более маленькую девочку, которая никогда не сможет тебе ответить, так что, согласись, не велик подвиг... Что касается страны, в которой мы с тобой живем, то она тоже достаточно сильная, чтобы избавить себя от необходимости бороться с девочками, равно как и с мальчиками. Ну, а теперь, — спокойно продолжал папа, — о жидях. Жид — это по-польски, а по-русски — еврей. Ты, наверно, знаешь, что на свете живет много народов — русские, грузины, украинцы, французы, — и каждый по-своему замечательный. Есть на свете и такой народ — евреи, очень древний и вполне достойный. И никто никому не враг. Вот так», — задумчиво заключил папа и с непонятной мне тогда грустью посмотрел на мальчишку.

Я сама рот открыла — слушала, мне об этом раньше никогда не говорили. Я знала, что я еврейка, и что это так же нормально, как быть «армяном» (так я говорила в детстве). Я и подумать не

могла, что из-за того, что я еврейка, кому-то придет в голову мысль меня бить. Война еще не началась, про уничтожение Гитлером евреев при мне не говорили, фильм «Семья Оппенгейм» я не видела, маленькой была.

После не раз, в разной форме и не всегда так мирно, так безопасно, мне приходилось слышать нечто подобное тому, о чем кричал мальчишка. Но как бы ни было больно от противоестественной, заключенной в этих словах обиды, я старалась пожалеть обидчика, хотя иногда жалеть было не под силу. Внушить себе, что он не виноват, ну не повезло бедняге, не объяснили ему вовремя простых истин, которые объяснил нам в тот весенний день отец. А если бы в детстве рассказали...

«Ну... а как насчет мороженого?» — неожиданно спросил папа. «Это можно», — весело ответил парень. Мы вместе вышли на улицу и зашагали по теплому асфальту за эскимо.

Один пожилой человек сказал мне (до этого он видел меня всего два дня, а раньше никогда не знал), что я счастливый человек. Я рассмеялась — какое уж тут счастье.

«Вы счастливый человек, — настаивал старик, — потому что родители дали вам такой заряд любви, что вам его хватит надолго, надеюсь, до конца дней...».

Он не пророк, не гадалка. Правда, он умеет «читать» по руке (а это ведь не наука, а дар) и обладает обостренной интуицей. И все-таки я была потрясена его догадкой. Да, я жила в плотной атмосфере любви, а когда родители ссорились, страдала от этого больше, чем они.

Я тогда не понимала, что чем больше любит один, тем мучительней для него малейшие несовпадения, отклонения от его уровня, от высокого напряжения его чувства. «... Мои лирические провода такой высокой тяги», — писала Цветаева. Их напряжение не каждому дано выдержать. Я тогда не понимала, что любовь такой высокой тяги требовательна и наступательна. Что она всегда во всеоружии страсти, которая и возносит, и убивает, захватывая все пространство жизни другого человека, не оставляя суверенной территории для собственного «я».

Отец и по сей день в моих глазах — образец настоящего мужчины, и тот, кто выпадает из его образа, уже не тот, все равно хуже. Да, счастье, что я с детства знала, как можно любить. Как можно чтить жену, беречь ее — глазом, словом, поступком. Постоянно утверждать в ней женщину. Не терять в суете дней дистанцию между собой, мужем, и ею — женой, коронованной быть женщиной. Находить любые возможности, чтобы напомнить ей об

этом, не унижая ни себя, ни ее не только грубым словом, но и тоном, способным ее обидеть. Я никогда не забуду, как отец вскакивал, когда мама появлялась на пороге, чтобы она, не дай Бог, сама не сняла с себя пальто. Как, завидев ее с сумками из окна зимой, мчался в тапочках во двор, чтобы помочь. Как смотрел на нее, когда она надевала что-то новое (увы, это бывало не часто). Как не ленился поддержать, когда плохо выглядела, а он утверждал, не обманывая ни себя, ни ее, что эта бледность ей к лицу, что она еще никогда не была так хороша (что не мешало ему назавтра говорить то же самое с той же искренностью, потому что такой он ее видел). Как он ухаживал за ней, когда она болела, и, кажется, в эти дни любил еще больше. И как страдал, когда она сердилась, — он просто органически не умел ссориться и всегда первым извинялся и признавал свою не всегда виновную вину... И когда пел — он пел ей. И когда танцевал с ней, никогда не забывал с благодарностью поцеловать руку.

Да, я «заражена» отцовской любовью, но я и «ушиблена» ею. Отец — моя гордость, но и моя беда. Во всем он был нормальным, обыкновенным человеком, но в любви он был уникален и, как все уникальное, неповторим. А я всю жизнь ищу ему подобного. Я постоянно сравниваю, вспоминаю и ушибаюсь об эти естественные несоответствия, о не те слова, не тот взгляд... Я зываю к другому, чтобы он был таким, как мой отец. А он — другой! И есть разум, чтобы это понять, но нет смирения, чтобы это принять. И когда я говорила маме: «Какая ты счастливая, что тебя ТАК любил папа», — она молча кивала, но что-то в ее лице настораживало меня. Что-то она недоговаривала, какая-то была в ее согласном молчании тайна. И только в последнюю ночь своей жизни она призналась мне, что ТАК — это тоже трудно, а иногда мучительно. А иногда жестоко, ибо ТАКАЯ любовь изгоняет из своих владений всех, кто мог бы ее отнять. А им, для такой любви, становится каждый. Вот почему в доме никогда не бывали бывшие мамы друзей, да и новых, своих, у мамы не было. ТАКАЯ любовь деспотична, даже у ТАКОГО доброго человека, каким был мой отец! Господи, как же все это было непросто!

И все-таки лучше, наверно, чрезмерность, чем пустота. Я думаю, отец был счастливым человеком. А мама... Теперь — не знаю.

О том, что людям надо оказывать внимание, мне кажется, я слышала еще до своего рождения. «Большое спасибо», — говорил папа, когда повода для БОЛЬШОГО спасибо не было, — так, для самого обыкновенного, а то и совсем маленького. Или — ну просто ни за что: «Я вам очень благодарен». «А чего это вы меня благо-

дарите?» — удивлялся прохожий, который поспешно, не задумываясь, отвечал, что не знает, как пройти на ту улицу, о которой его спросил папа. «Ну хотя бы за то, что остановились, помочь хотели». На него смотрели с недоумением, как будто подозревали в чем-то нехорошем.

В нашей тихой угловой булочной хлеб отпускала Варька-рыжая — женщина лет тридцати с осипшим, прокуренным голосом и всегда красными глазами. Варька с остервенением швыряла батоны и французские булки на дно сумок, а бывало, и мимо них. То ли ее раздражал покупатель как человек по другую сторону прилавка, то ли ей уже тогда было известно, что хлеб есть вредно, — не знаю. Но хорошо помню ее толстые с желтыми ногтями пальцы, которые впивались в розовое тело булочки, и та, беспомощно сжавшись, тыкалась носом на дно спасительной сумки. «Большое спасибо», — упрямо повторял папа, на лету хватывая авоськой плюшку, как бабочку сачком. Оскорбленная его неуместной вежливостью, Варька в конце концов не выдержала и рывкнула: «Вы что, надо мной издеваетесь?! Вы что мне все свое спасибо тычете... Вон жалобная книга... пишите, мне наплевать...».

Папа сказал, что жалобная книга ему не нужна, впрочем, спасибо, — и с сожалением посмотрел на пылающую от гнева и без того огненную Варьку. У двери он оглянулся и сказал Варьке: «До свидания». — «Псих ненормальный», — прохрипела Варька.

Тут и я не выдержала: «Папа, ведь она вредная, противная, за что ты все время говоришь ей спасибо?» — «Привычка, — улыбнулся папа. — Привычка».

Он не покупал внуку дорогие книги — из тех, что лучший подарок и запираются в шкафу. Зато сын хорошо помнит, как дедушка ходил с ним в один и тот же книжный магазин к продавщице Танечке. Для Тани всегда была припасена ее любимая ванильная шоколадка — не какая-нибудь, а любимая, и это надо было не лениться узнать, запомнить, чтобы маленький подарок доставил УДОВОЛЬСТВИЕ. Дело было не в том, как сейчас говорят: ты — мне, я — тебе, дело, опять же, было во внимании, в этой самой мелочи, которая не «за», а сама по себе.

Дружба с Таней продолжалась несколько лет, пока был жив папа. Прихода деда с внуком она всегда ждала, и, конечно, не шоколадка была тому причиной. Тане нравилось смотреть, как дед помогает внуку выбирать книжку, нравилось самой участвовать в этом маленьком спектакле — ей было интересно с ними дружить. Тогда еще детские книжки не были дефицитом, и Танечке не

приходилось тайком доставать их из-под прилавка. Поход в магазин к Тане — еженедельный ритуал, который сын никогда не забудет. Это была его первая дорога к книгам, по которой дальше пошел он сам, но, оглядываясь назад, знаю — видит у самого ее начала высокого улыбающегося человека в неизменной шляпе, который машет ему рукой: мол, иди, не останавливайся... И он идет, но хорошо, что останавливается, задерживается памятью у того магазинчика, где их ждала с книжками-малышками круглолицая толстущка, которая больше всего на свете любила книги и... ванильный шоколад. В газетном киоске (папа специально не выписывал газеты, чтобы рано утром самому их покупать) и в парикмахерской на Покровке, и в «Артистическом» кафе у него были свои киоскеры, мастера, официанты, с которыми он дружил, оказывая им все те же знаки внимания, на которые не требовалось траты денег, зато требовались душевные взносы, а на них он не скупился. Уже после смерти папы они спрашивали меня: «А где вам симпатичный отец, он был такой ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?»

Теперь я часто думаю: как не хватает нам в жизни этих необязательных улыбок, этого нерасчетливого доброжелательства, этих ни за что, за просто так, добрых слов, а то и одного — и его бывает достаточно, а без него иногда повеситься хочется. Как казную я себя за их экономию, за поспешное «потом поговорим», а достаточно было минуты терпения, чтобы поговорить сейчас, ибо потом не бывает. Теперь-то я хорошо знаю, что это такое — родительские ожидания звонков, слов, сочувствия... Умные люди говорят, что нельзя ничего требовать, а надо терпеливо ждать. Наверно, они правы, на то и умные, но иногда ожидание непоравимо затягивается.

* * *

Мне было шесть лет, а Жанке восемнадцать, и она училась на первом курсе в медицинском институте. Жанка — моя двоюродная сестра, которую я любила как родную, тем более что родных сестер у меня не было. (Потому и пишу о ней в этой книге — она из нашего ДОМА). Перед самой войной она приехала к нам на каникулы — веселая, хорошенькая, плясунья-хохотунья... Она успевала за день обегать четыре музея, а вечером попасть в Большой или МХАТ (для нее почему-то обязательно находился «лишний» билет), а ночью, не останавливаясь, обо всем рассказать, изобразить, спеть, насмешить и, поспав три часа, мчаться утром в очередной музей, потому что дней осталось... ничего не осталось, а она еще не была... нигде не была. Когда

Жанка уехала, даже в нашем шумном доме наступила неестественная тишина. Во время войны мы нашли Жанку в Ташкенте — красотку, королеву медицинского института, похожую, как мне тогда казалось, на всех известных киноактрис. Я смотрела на Жанку с восхищением, потому что она была девушкой моей мечты, и не только моей, если судить по свите, которая ее сопровождала. И все-то на ней (в ней) было ладно, кокетливо и притягательно. И стройные, быстрые ноги в маленьких, как сейчас помню, черных лодочках, и косынка в мелкий синий горошек, с продуманной небрежностью повязанная вокруг шеи, и каштановые волосы, в естественной, непарикмахерской свободе падающие на плечи, и белый халатик, который она каждый вечер стирала и крахмалила, сидел на ней как элегантное вечернее платье... Жанка-юла, Жанка-хохотунья и говорунья, идеал девчонок, любовь многих мальчишек, которых она провозжала на фронт, пока однажды сама не пришла прощаться с нами...

И стала Жанка фронтовой подругой... Сестрицей Жучкой, доктором Жанной, капитаном медицинской службы Жанной Львовной... По ее письмам я изучила географию Украины, Белоруссии, Польши, Венгрии и Германии. А уже перед самым концом войны в них появились аккуратные, выписанные красивым, четким почерком постскриптумы — уважительно-вежливые, доверительно-родственные — с многозначительной подписью «Ваш Саша». Потом «наш Саша» стал сам писать нам, и папа читал эти письма вслух, потому что «наш Саша» был остроумен, каждое его письмо было в стихах, за юмором которых он прятал свою к Жанке серьезную любовь.

А потом они появились вместе, и не было пары красивей. Саша оказался совсем «нашим Сашей». Придирчивые мои родители сказали Жанке, что он свой, родной, так что пусть она будет счастлива. И Жанка была счастлива, только недолго. Она уехала с «нашим Сашей» сначала на Кольму, потом в Магадан, где он, майор по чину, был начальником военного госпиталя. А через шесть лет, родив двух таких же красивых, как они, сыновей, Жанка вернулась с ними в Одессу, куда от медбрата Саши, санитары Саши, вахтера Саши приходили скудные алименты, а то годами не приходило ничего, и никто не знал жив ли Саша. Сначала Жанка без детей еще ездила к нему, поверив уверениям «завязать», «бросить», «начать все сначала». Но проходил месяц, и он «развязывал», бросал не водку, а ее, и начинал все сначала — издеваться, глумиться... Бить. Поверить в это было невозможно — я тогда еще не понимала, на что способ-

на водка, ее разрушительная сила казалась мне преувеличенной. И тем не менее это было так. «Наш Саша» — наш изящный, тонкий, изысканный, открывший мне Анну Ахматову, которая жила в Ленинграде на одной с ним улице, танцующий с Жанкой полонез в нашей шестнадцатиметровой комнате, — напиваясь, бил Жанку, Жаннету, фронттовую подругу, плясунью-хохотунью, которая прошла с ним весь фронт и по своей воле поехала не срок отбывать, а жить и радоваться жизни в Магадане и на Колыме.

В Москву она больше не приезжала, не до того было: надо растить детей, зарабатывать на детей, воспитывать детей... После института я наконец сама поехала в Одессу. Жанка встретила меня на «своей» машине «скорой помощи», со своим «персональным» шофером Жорой и «личным адъютантом» — полногрудой, вытравленной перекисью блондинкой Лизой. Она так и прошла со своим «экипажем» двадцать пять лет борьбы за человеческие жизни... Все ее большие и малые сражения, ночные и дневные наступления с короткими передышками, в которых, как на фронте, несколько часов тревожного сна, — и пошла жить-бежать дальше. От постоянного недосыпания и курения у нее рано появились морщины у глаз, но это была все та же Жанка, всешняя подруга, которая никогда не откажется заменить, подменить, срочно выехать на тяжелый случай, сделать укол соседке по двору, ночью измерить давление одинокому старику в их многодверной коммуналке, за которыми притаились всевозможные болезни, поджидающие возвращения Жанночки домой. Засыпая на ходу, она вскакивала в любую минуту, потому что на кухне варился борщ, кипело бельё, поднялось тесто для пирожков... И опять куда-то запропастились мальчишки, на соседней улице ждала больная, у которой хрипы, а у Жанки идеальный слух, легкая рука, веселый голос... «С нашей Жанночкой и умирать не страшно, — говорили соседи, — пусть она будет себе невроко здорова...». Всем с ней было весело, нестрашно, легко... Только с самой собой ей было пусто, муторно и одиноко. Но тогда она еще это тщательно скрывала — закурит «Беломор», расчесет пятерней теперь короткие, под мальчишку, каштановые волосы, проведет помадой по губам — и мчится жить дальше, вернее, давать эту жизнь другим, и все ловко, быстро, на полном ходу.

Иногда в отпуск, когда ребята пошли в школу, она все-таки приезжала к нам в Москву и носилась теперь уже не по музеям, а по магазинам, пытаясь реализовать длинный список необходимых всему дому товаров. Чертыхаясь и тем не менее огорчаясь, когда не могла выполнить чье-то поручение, например, купить недорогую хрустальную чешскую люстру для сестры тети, ко-

торая приехала к дяде... Как девчонка, радовалась, когда что-то покупала себе («грешу, не имею права, Витьке на ботинки не хватает»). И тогда глаза ее сверкали, ноги выделявали прежние па, и она, уже сорокапятилетняя, кружилась по комнате и становилась прежней красоткой Жаннетой, похожей на французскую актрису Николь Курсель (вернее, та, о чем она, не подозревала, была похожа на Жанку), — после фильма «Папа, мама, служанка и я» мы ее иначе, как Жаннет Курсель, не называли.

Не так уж часто бывала я в Одессе, но при первой возможности рвалась туда, чтобы повидать мою Жанку, покурить с ней «Беломор», забравшись с ногами на громадную, во всю комнату, тахту «Лиры», о жизни с ней поговорить, которая не очень-то нам улыбалась, но мы ее, жизнь эту, любили и, хохоча, рассказывали друг другу об очередных своих неприятностях, а бывало, и плакали — чего уж тут стесняться...

Она по-прежнему встречала меня на вокзале или в аэропорту на своей персональной «скорой», с тем же, теперь располневшим, черноусым шофером Жорой и ставшей совсем неподвижной, царственной Елизаветой.

«Привет, сестрица!» — кричала Жанка еще из машины, привычным жестом сдергивая с головы белую шапочку, под которой волосы с каждым моим приездом становились рыжее или краснее (в зависимости от качества хны и басмы, а главное — от времени, которое она тратила на краску). Но голос тот же, девчочный, и пачка «Беломора» в день почему-то не сделала его осипшим. И носится с той же скоростью, и опять на двух ставках, и ночные дежурства, потому что за них платят больше, а Саша давно на инвалидности, алиментов от него почти не бывает — так, иногда десять-пятнадцать рублей, не больше... Вот Витька скоро закончит училище, пойдет в плаванье — тогда... все к черту, поеду на курорт... погуляю, только вы меня и видели... Но тут же вспоминала, что на курорт из Одессы ехать глупо — море под боком (хорошо, если за лето она два раза выбиралась на пляж), да и Ленчика еще учить и учить, так что с курортом придется подождать.

Рано утром, после ночной, она всегда ездила на самый дальний рынок — Привоз, где подешевле, и я не помню ее без тяжелых сумок даже тогда, когда ей категорически запретили их носить. Не помню без суконок, щеток, тряпок, кастрюль, корыта, бака, где вечно кипятилось белье уже подросших, но от этого не ставших более аккуратными сыновей.

«Но, Жанка, так нельзя, ты убиваешь себя, они должны тебе помогать, они должны тебя жалеть, ты на них...».

Она сердито меня перебивала:

«Только не говори, что я потратила на них всю жизнь, а на что мне еще ее было тратить? Это я виновата, что выбрала им такого отца, так что давай не будем...».

«Ну хорошо, хорошо, ты в долгу, а они? Они ничего не должны? Два здоровых парня смотрят, как ты вкальваешь...».

«Пошла к черту, — злилась Жанка, прикуривая папиросу от папиросы. — Что ты мне мораль читаешь, сама такой будешь. Они меня любят. Когда я их прошу, помогают. Но зачем, когда я, слава Богу, здоровая баба и мне проще сделать самой, чем просить, да еще наткнуться на отказ... Знаешь, обидно, уж лучше самой, так спокойней».

И они привыкли, что она — сильная, что не умеет уставать, что ей скучно без дела. Что таскать тяжелые сумки, дежурить две ночи подряд, а после этого надраивать квартиру, печь им пироги, жарить любимые блинчики. — все это норма для их Жанки, которую они действительно любили и дарили ей по праздникам подарки. В такие дни лицо ее светилось, и она заговорщически подмигивала мне: вот видишь, а ты говоришь... И я ничего больше не говорила.

И она привыкла. Привыкла лечить других, привыкла, что все кругом больны, — все, кроме нес, и потому долго не обращала внимания на собственные недомогания, запустила болезнь, которую если бы вовремя... Если бы... Но тогда это была бы не Жанка. Она настолько привыкла болеть за всех, что о собственной болезни и думать себе не позволяла. Она всегда бодрилась, придумав себе стиль неутомимой и неистребимой, — так ей было легче, так меньше тосковала по необходимой женщине заботе, таком обязательном, в любом возрасте, внимании к себе. Но она бодрилась, делала вид, что все в порядке, — ей страшно было признаться, что она, в сущности, совсем одна. Что два здоровых парня, которых она, так рано потерявшая мужа, любила со всей ЕМУ не отданной, с НИМ не прожитой женской любовью, разрешили ей тянуть непосильный для женщины воз. Они были славные ребята — остроумные, красивые, легкие... Настолько легкие, что терпеть не могли обременять себя трудностями, тем более что Жанка так охотно брала их на себя. Не очень напрягаясь, они вполне прилично учились — иногда хуже, иногда лучше, в зависимости от настроения, но особого повода для вызова в школу не давали — Жанка сама туда заезжала, чтобы спросить, не надо ли кому чего в смысле медицинской помощи... В компании за столом им просто цены не было — анекдоты, шутки, вполне одесский

юмор... Нет, они были симпатичные ребята — признаться, я тоже их любила. Ну, а то, что Жанка — сумки, Жанка — уборка, готовка, Жанка — работа не по силам, что с ней не пропадешь, а сама пропадала... Так кто же это видел, она ведь молчала, ничего не говорила.

Только в последний мой приезд Жанка призналась, как тосковала от своего одиночества, забывая его работой. Как стеснялась сыновей и потому не разрешала поклонникам приходить к ней, а с годами и отказывать стало некому, никто особенно не рвался. Как по вечерам сидела одна перед телевизором, часто не видя, что показывают, потому что всегда ждала, всегда волновалась, где они, ее мужчины, которые никогда не приходили в обещанное время, а она, насмотревшись на «скорой» драк, катастроф, аварий, боялась, что с ними что-то случилось. А с ними ничего не случилось — просто не было двух копеек на телефонный звонок. И когда она, не выдержав, ложилась спать на свою громадную, в полкомнаты, тахту «Лира», ужин под белой салфеткой всегда ждал их.

Только в последний мой приезд она призналась, что неважно себя чувствует. Но по-прежнему работала на «скорой» и от ночных дежурств не отказывалась — но не спать после них уже не могла. И когда ее звали срочно сделать укол или измерить давление одинокому соседу, у которого оно по-прежнему, вот уже сколько лет скакало («Жанночка-розочка, Жанночка-цветочек, я вхожу в криз...»), она не вскакивала с прежней легкостью, а медленно подымалась, механически, без зеркала, проводила помадой по губам, зачесывала пятерней рыже-красные волосы, хотя раз в месяц добросовестно красилась и причесывалась в парикмахерской, но все это без прежней радости обновления и затаенной надежды, что однажды откроется дверь и войдет военврач в парадном мундире, и, протянув руку, уведет ее обратно в счастливую жизнь на... войне.

После операции ей строго-настроено запретили вести прежний образ жизни. Месяц или два она, как советовали врачи, берегла себя, но, быстро забыв о мерах предосторожности, благо какое-то время чувствовала себя лучше, опять ехала на Привоз, где подешевле, и, желтая от усталости, еле доплеталась с тяжелыми сумками домой. Но... папиросу в зубы, волосы под косынку — и... суконкой по паркету, тряпкой по шкафам, одна нога на кухне, другая — у соседней... А мальчики, счастливые, решили, что все по-прежнему, что их Жанка молодец, что она сильная, что с ней не пропадешь. Птица Феникс, которая горит не сгорая, Ванька-встанька — упадет и опять подыметя. И когда однажды она не смогла подняться, они растерялись. Они не на шутку испугались, потому что заблудились в собственной квартире.

Незадолго до смерти Жанка приехала в Москву. Это было Девятое мая — тридцать пять лет со дня окончания войны. Жанка наконец выбралась на встречу со своими однополчанами. В новом вишневом, к глазам, костюме, в тесных туфлях на непривычно теперь высоких каблуках, тщательно уложенная в парикмахерской — крутые завитки после свежей химической завивки, с орденом Красной Звезды, оттягивающим легкий шелк костюма, Жанка казалась чужой и официальной — не Жанка, а представитель высокого учреждения, делегат на сессию... Она очень волновалась, узнают ли ее «ребята», и от волнения становилась еще строже, еще меньше похожей на себя. Она точно окаменела от страха — не смеялась, не шутила, не рассказывала новые анекдоты. Стояла на балконе и курила папиросу за папиросой, от чего бледнела еще больше. Не пила, не ела, а только заглатывала таблетки, пытаясь унять надвигающиеся приступы боли. Я хотела ее проводить, боялась, что в таком состоянии она не дойдет до ресторана «Прага», где должна была состояться торжественная встреча, но она категорически отказалась. Уже на пороге она вдруг остановилась: «Может, не идти, а? Нет, ты скажи, узнают меня?»

«Узнают, Жанка, как тебя не узнать... Ни пуха...» — «К черту», — словно самой себе ответила Жанка и пошла к лифту твердым солдатским шагом, забыв о своих высоких каблуках. Узнают, подумала я, хотя секунду назад сама не верила своим словам. Не верила, что в этой высохшей, выбеленной пудрой, чтобы скрыть землистый цвет лица, завитой и отлакированной, с тяжелыми веками, закрывшими ее когда-то большие, хохочущие, вишневые, как у нашей погибшей бабушки, глаза, — бывшие однополчане узнают свою Жаннету, которая танцевала с красавцем майором вальс в Будапеште, в Варшаве и в Берлине.

Но когда поздно ночью она вернулась, это была прежняя Жанка. Напряжения как ни бывало, глаза смеялись, волосы растрепались и приобрели прежнюю естественную непричесанность, в руках туфли («сто лет не танцевала...») и охалка красных гвоздик.

«И Василий узнал, начальник штаба, и Куценко — красавец мужчина, а сейчас... Ты бы посмотрела, на кого он стал похож. Но сразу кинулся — «Жучка, мой танец первый!». А полковник Кторов поднял тост за меня... Знаешь, что он сказал? Нет, куда тебе сообразить, что сказал полковник, который больше двух слов вообще никогда не говорил. Нет, ты записывай, записывай, тебе это для очерка пригодится... А то все о других да о других... а ты обо мне напиши, — и просто залилась от смеха, что кому-нибудь

может прийти в голову написать о ней. — Ну, ладно, писательница, слушай...» — и замолчала.

Я думаю, что для нее это были очень важные слова, может, те самые, которых она давно ждала, и потому ей трудно было их произнести. «Он сказал... — Жанка закурила и опять надолго замолчала. — Он сказал, что хороших врачей на войне было много, но таких красивых, таких ни на кого не похожих женщин, как Жанна Львовна, он не встречал никогда... Нет, ты слушай, слушай, писательница, — по-видимому, от смущения повторяла она не свойственное ей ко мне обращение. — Потом он сказал, что был влюблен в меня, но где ему было тягаться с красавцем Александром... И тогда кто-то крикнул: «А почему этот гад не приехал?» — все зашикали, все давно знают, что с ним... Ну, а я заревела, и стало очень тихо, слишком тихо, потому что никто на фронте не видел, чтобы я плакала...».

В ту ночь я навсегда просталась со своей Жанкой, потому что когда через полгода примчалась, получив телеграмму, в Одессу, она не встретила меня ни на вокзале, ни в аэропорту. Никто не выбежал мне навстречу из «скорой», не крикнул: «Привет, сестрица!». Не промелькнул на перроне белый халат, не сверкнула вдалеке красно-рыжая шапка коротких волос. В чистой, словно к празднику прибранной Жанкиной комнате, на широкой, в полкомнаты, тахте «Лира» сидели, прижавшись друг к другу, два красавца парня и в полный голос рыдали.

«Мамы больше нет... нет... нет», — повторяли они, и страшно было смотреть, как в беспомощности и подлинном горе плачут ее мужчины, ее единственные мужчины, которым она лепила после дежурства вареники с вишнями, тащила на Привоз за синенькими, отбивала молотком отбивные, стирала, гладила и... ждала, всегда ждала...

Они были прекрасные мальчики — не обижали людей и зверей, не состояли на учете в отделении милиции, читали книги, рассказывали смешные анекдоты... Только им всегда не хватало двух копеек на звонок... И двух слов... И двух минут. Наверно, они думали, что есть две жизни, а она — одна.

* * *

В детстве мы не любим кладбище. Днем там скучно, вечером страшно. Сколько раз в книгах, да и в жизни ребята, чтобы доказать свою храбрость, вызываются на пари провести на кладбище вечером несколько часов, а потом рассказывают жут-

кие, до дрожи в коленках, истории о покойниках, которые выходят по ночам из своих могил... И даже в сказках, добрых спутниках нашей жизни, покойники всегда внушают ужас. Но я на всю жизнь запомнила сказку, где встреча с умершими — бабушкой и дедушкой — была светлой радостью воспоминания, а прощание с ними — горькой тоской, подарившей слезы необратимой потери. То была «Синяя птица» в МХАТе, на которую мы ходили с папой несколько раз. И всякий раз, когда Татиль и Митиль покидали дом бабушки и дедушки, я в слезах шептала: «Не уходите». Но дом на глазах погружался в голубоватую дымку ускользающего воспоминания. Страшно было не остаться в нем, страшно было покинуть его.

Никогда больше, ни в одном детском театре мне так наглядно, как тогда, в Художественном, не продемонстрировали не просто уважение к старикам, а нашу прямую к ним причастность, наш исход к ним, нашу бесконечную с ними связь. Именно тогда мне был преподнесен первый урок великой науки — памяти. Памяти как главного условия «самостоянья человека... залога величия его...». Это потом я смогла прочитать и понять, что любовь и уважение к своим предшественникам возвышают и нас, потомков. А тогда не поняла — почувствовала. Не высказала — пережила. И, потрясенная, не бежать хотела от них, покойных, а к ним, воскрешенным памятью детей, вернуться.

Вот так, на детском утреннем спектакле, еще сама того не ведая, я познала истину, что мы не существуем сами по себе. Только тем и ценна наша жизнь, что она — звено в цепи, где до нас — наши прадеды, а после — наши дети и внуки. И еще на том спектакле я узнала, что смерть — не конец человека. Что-то остается в нас от них, ушедших, если сердцем и душой мы не будем отрываться от них.

Больше в детстве не помню ни книги, ни пьесы, где смерть была не страшной, а умершие — жизненно необходимы. А жаль. Жаль, что в наших детских книжках мы стыдливо умалчиваем о смерти. О том, что жизнь бесконечна и каждый из нас заполняет паузу, чтобы не было остановки в ее непрерывном движении. Говори мы об этом побольше с детьми, может, меньше было бы взрослых, преувеличивающих значимость и собственной жизни, и самого себя. А с другой стороны, уже с детства человек бы понимал, что жизнь дана ему не просто так, что он не единственный ее хозяин, — мол, что хочу, то с этой моей жизнью и делаю: после меня хоть потоп. Ну, а до тебя? Был бы ты на земле, если бы и до тебя — потоп?!

Я прихожу на кладбище в будни. На узких дорожках, чуть в стороне от центральной аллеи, тишина и постине вечный покой. И прежде чем подойти к «своим» могилам, я брожу по чужим «участкам», пытаюсь вызвать из камня лица тех, кого никогда не знала и не узнаю, — мне кажется, я обделила их своим незнанием. Я хочу представить себе этих мальчиков, погибших в сорок первом, — большеглазых, чубатых, толстогубых: от них остались только эти маленькие, на паспорт или комсомольский билет, фотографии, увеличенные в каком-нибудь фотоателье. Эти ребята не нуждаются в словах — за них говорят даты рождения и смерти. Их нет в этих могилах, и никто не знает, где они.

Теперь на памятниках не пишут посвящений, а раньше писали — длинные объяснения, за что любили, почему не забудут. Может, думали, что слова мобилизуют совесть, им доверяли больше, чем своему сердцу. А может, верили в чудодейственную силу слова?!

Есть памятники с молодыми лицами тех, кто умер в глубокой старости. И кажется кощунством, что дети чтили молодость своих родителей, а от старости их стыдливо отвернулись. А есть прекрасные старики, и тогда невольно испытываешь благодарность к живущим, которые не скрыли от нас лик старости, не отретушировали страданье, которое пробивается с глянцевого фотографий. И все-таки думаю: нужны ли на памятниках лица? Было ИМЯ, была принадлежность к ФАМИЛИИ — вот что важно. Сумел ли человек выживиться — не лицом, а сутью? Сумел ли обогатить и тем продлить свой род, свою фамилию? Впрочем, у каждого народа собственные законы: пусть фотографии, пусть надписи — лишь бы не уводили они ушедших от живых, а к ним возвращали.

...Этого старика я заметила давно, лет десять назад, не меньше. Он возникал будто из-под земли (или с неба — не знаю) и, не произнося ни слова, стоял некоторое время рядом, не нарушая, но как-то незаметно вторгаясь в мое уединение. Потом так же молча уходил. Иногда наши глаза встречались. В моих было недоумение, даже раздражение. В его — извинение, что помешал, и одновременно — уверенность, что иначе не мог, что он просто обязан мне помочь, хотя я его об этом не просила.

«Ничего, ничего... Вы, пожалуйста, не беспокойтесь...» — тихо говорил старик.

Я заранее знала, что он скажет дальше, знала, что отвечу, и малодушно опускала глаза. Наступала тягостная пауза, и тогда он не настойчиво, а скорее робко спрашивал: «Вам не нужна мо-

литва?». Это его хлеб, его на этом кладбище святое дело, и грех было отказывать ему. Но, колеблясь, мучаясь, чувствуя, что обижаю его (и не только его), я все-таки отрицательно качала головой. Старик не уговаривал. Он учтиво приподнимал шляпу, которую не снимал ни летом, ни зимой, кланялся — сначала могиле, потом мне — и, выбрасывая вперед палку, твердым шагом слепого, знающего каждую точку, каждый бугорок на дорожке, удалялся. Нет, он не был слеп, но ходил как слепой, запрокинув голову назад, глядя куда-то далеко вперед. Я смотрела ему вслед — на его прямую спину, на запрокинутую седую, в черной шляпе, голову, на развевающийся, всегда расстегнутый белый плащ.

Он часто подходил ко мне. С годами, не дожидаясь вопроса, я поспешно бормотала: «Спасибо, не надо». Он приподнимал шляпу и молча уходил. Иногда мне хотелось догнать его, остановить, объяснить, почему вот уже несколько лет я так упорно отказываю ему. Но если бы я могла это объяснить! Да и не нужны были ему мои объяснения — нет так нет. И вот однажды, когда он опять подошел и был в тот день, как показалось, особенно замерзшим и неприятным, я начала что-то быстро и несвязно бормотать: мол, понимаете, мои родители... ну, вы понимаете... Он поднял руку, как будто хотел остановить этот неуместный поток слов. Ему и так все было ясно и, наверное, не хотелось, чтобы я доводила до конца кощунственную для него мысль. Но меня уже несло — я говорила о вере, о Боге, о том, что у каждого он свой, что...

«Разве я спорю, — грустно улыбнулся старик. — Разве я на чем-нибудь настаиваю... Я очень уважаю ваших родителей и вашу веру...» — «Мою веру?» — «Дай вам Бог, — сказал он. — Пусть у вас будут большие радости, большая семья и очень маленькие неприятности... Дай вам Бог...».

На сей раз он резко повернулся и, взмахнув палкой, быстро пошел по дорожке, и полы его плаща развевались, как паруса на сильном ветру, хотя было тихо и шел мелкий дождь.

Через несколько месяцев я спросила у тетки Полины: «А где старик?» — «Лазарь, что ли?» — «Может, и Лазарь, я не знаю, как его звали». — «Лазарь... Я видела, он всегда к вам подходил. Небось жмотничали, не брали у него молитву. (Она сказала это так, будто я отказывалась от предлагаемого мне товара.) Хороший был старик, только бедный очень — работать не умел... Вон Изю видела, тоже из ваших. Так тот за горло возьмет, а от своего не отступится — даже одному православному свою молитву читал, да так душевно, что все плакали. Лазарь

не такой, дурной ваш Лазарь, но мужик хороший. Помирает он и, видать, не выкрутится... Мы тут с бабами денег ему собрали, апельсинов купили, курочку... Он курицу любил, только ел редко... Изька ему, бывало, кричит: «Вы, Лазарь, идиот, вы не умеете обращаться с клиентом!». И орет, визжит, по-вашему ругается. Лазарь ему ни слова. А мне потом говорит (мы с ним вроде как подружки были): «Товарищ Поля, не надо обижаться на Изю, у него умерла единственная дочь, и он совсем один на этой замечательной земле...». А у самого ни кола ни двора — комнату родственнице какой-то отдал, а сам у Катьки в подсобке спал».

Больше я его никогда не видела. Рассказывали, когда умирал — просил похоронить на другом кладбище. Изя, которому недавно исполнилось восемьдесят лет, плакал и говорил всем, что этот идиот просто не захотел, чтобы он, Изя, прочел над его могилой молитву. Коллектив тоже обиделся на старика: помогали ему, кормили, никогда не обижали — и вот нате вам, нехорошо получается. Но мудрая тетка Полина все поставила на место. Назвав товарищей по работе своими именами, мне неизвестными, она, как утверждают, впервые в жизни разревелась, потом закурила «Беломор» и сказала, как отрезала: «Человек, можно сказать, полжизни на нашем кладбище прожил, так неужели ему нельзя хоть на том свете поменять место жительства...».

Сколько времени с тех пор прошло, а я не могу забыть его мягкое, напевное: «Скажите, вам не нужна молитва?». И мое стыдливое, еле слышное: «Нет, спасибо, не нужна».

НЕВЫДУМАННОЕ

А зачем выдумывать? Зачем герои? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука - вечно молчать, не говорить как раз о том, что истинно твое и единственно настояще, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения, хотя бы в слове.

И. Бунин

Это эпиграф к повести Аллы Гербер "Мама и папа" ("СТЕЛС", Москва, 1994 г.). Впрочем, не уверена, что к повести. Не берусь точно определить жанр этой книги, да и думается, не в жанре суть. Об этом могут спорить литературоведы, выявляя массу несоответствий и противоречий, невидимых глазу научно непросвещенного читателя. Читатель не втискивает литературу в канонические рамки. Ему, читате-

лю, это неинтересно. Его волнует живая ткань литературы, ее плоть. Волнуют — ежели таковые субстанции имеются. А определяет это читатель безошибочно: учащенным биением пульса, спазмом, перехватившим горло, обострившимся вдруг зрением, слухом, обонянием, осязанием — когда внезапно видишь то, чего никогда не знал, слышишь не тебе и не тобою сказанное, но истинно и сокровенно твое, и запах кружит голову, и кончиками пальцев чувствуешь шероховатость ткани чужого пальто и с удивлением обнаруживаешь, что ты его помнишь — и цвет, и фасон, и обтрепанные слегка манжеты. И уже ничего не понимаешь, потому что видишь ни с того ни с сего свои шапку и шубу и шапку, прислоняешься щекой к своей печке-старушке и жадно вдыхаешь запах ванили, потому что твоя мама печет бисквиты. И «Красная Москва» — любимые духи твоей мамы! И Востряковское кладбище — тенистый и топкий приют твоей мамы. И не произнесенная Лазарем молитва — твоя вина перед мамой ли, перед Богом, не в этом суть...

Потрясающая достоверность. Не достоверность даже, а откровенность, или, быть может, откровение — как акт покаяния, хотя грех не так уж велик или его не было вовсе.

Покаяние и признание в любви. И покаяние это — искреннее и любовь — не показная, истинная.

«Мама и папа» — не побоялась назвать свою книгу Алла Гербер. Совсем по-детски, наивно и просто. Не побоялась сентиментальности и узнаваемости. А кто, собственно, сказал, что быть сентиментальным — некрасиво? Сентиментален тот, кто не только помнит, что Метерлинк написал, а МХАТ поставил «Синюю птицу», и мама и папа водили на спектакль — сентиментален тот, кто помнит, что страшно не остаться в доме умерших бабушки и дедушки, страшно покинуть его. «И всякий раз, когда Титиль и Митиль покидали дом бабушки и дедушки, я в слезах шептала: «Не уходите».

Что же тут некрасивого?

Страшно покинуть дом. Страшно забыть его запахи, звуки, вещи — «знаки дома, отпечатки его души, видимые следы его маленькой истории, которая незаметно, нешумно, но все равно вливается в общую и всегда будет напоминать моим внукам, что они — не сами по себе».

Никто не сам по себе.

Но немногим дано это понимать, тем паче чувствовать свою принадлежность к предкам, пусть не к историческим, сквозь толщу веков и пласты расстояний удастся пробиться лишь избранным — принадлежность к своим бабушкам и дедушкам, с которыми удалось пересечься в пространстве и времени. Да что там — принадлежность, просто помнить их имена, узнавать их на фотографиях в семейном альбоме. «И профиль красавицы бабушки с немислимными валунами на голове и роскошным корсетным бюстом. И благородный фас голубоглазого химика дедушки Яшуни — так в семье называли маминого отца Якова. И стянутое густой седой бородой, жесткое, волевое лицо мельника Хаима. И тихое, к нему обращенное лицо бабушки Фани, навек отдавшей ему свою женственность и когда-то буйную южную красоту»... И помнить их последний час в еврейском гетто — даже если тебя еще не было на свете или мал был и несмышлен и знаешь обо всем лишь по рассказам взрослых. Помнить — ибо погибая, они спасали тебя. Не механической

памятью помнить, как факт мировой истории, скорбной истории твоего народа или трагические страницы семейной хроники. И не сострадать умозрительно, а страдать, будто через все эти испытания довелось пройти тебе, ведь в тебе течет их кровь. И неизбывна скорбь. И душу берedit предчувствие новой беды.

И все замешено на любви. И оказывается, что можно любить все — звуки, запахи, вещи, людей, своих, чужих, хороших и даже плохих (ну не любить, так уж непременно прощать), любить воспоминания, грустные, веселые, всякие. Даже кладбищинские березы, кладбищенскую тишину, «в которую необходимо бывает погрузиться, дабы ввергнуть себя в будущее».

«А зачем выдумывать? Зачем герои? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой?». Это из эпиграфа к книге, из Бунина.

В самом деле — зачем?

Рада ПОЛИЩУК

ПОЭЗИЯ

Евгений РЕЙН

Ефим БЕРШИН

Нина ГАБРИЭЛЯН

В ЖИЗНИ, КАК В ПИСЬМАХ, ПОМАРКИ С РАЗМАХА

ПЕРЕД ПАСХОЙ

Пасмурный день над кудрявым морем.
Отдохнем. Отменяются все затеи.
Перед обедом руки умоем
вслед за прокуратором Иудеи.
Понимаю, что это пошлая шутка,
но в пошлой шутке — пошлая правда,
и она свежее, чем дохлая утка,
на газетном листе провонявшая безотрадно.
Глядя на серенькую мерлушку,
трудно вообразить величье Посейдона,
легче представить средненькую постирушку,
где рубахи над тазом капают учащенно.
И под эти слезы и мелкий ветер
как не вспомнить симпатичного идеалиста —
человека на треть и даже на четверть, —
значит, это дата братоубийства.
И, конечно, самоубийства тоже,
не считая расправы с Отцом и Духом.
И сидеть под навесом сейчас негоже,
хоть несложно по гальке проехать брюхом.
Он ведь тоже по берегу шел и видел
хлябь и твердь, парусину над серой лодкой,
значит, и он неслучайный ревнитель
вечного подвига жизни такой короткой.
Значит, он понял, что дальше случится,
чем замутится сияние это —
смутность и пасмурность всякой водицы
после слепящего Генисарета.

* * *

Александрю Межирову

Грай вороний над бульваром.
Лыжи пахнут скипидаром,
И упрямый лыжник сам
Ходит на ногах негибких
Около ворот Никитских
Ровно в полночь, по часам.

Вот зима посередине,
Жизнь сама посередине —
Ни начала, ни конца.
В теплокровной сердцевине
Нет печали и в помине —
Толчя, как в магазине
За углом, без продавца.

Кто-то движется под снегом,
Поцелует, обоймет,
Пощекочет мокрым мехом,
Пошурует по прорехам —
Может этот и поймет!
Полчаса до темноты,
Вот теперь давай на ты.

А вокруг лежит огромной
Рыхлой грядкой огородной
Протянувшийся квартал.
Я и сам такую ночью
Вижу, вижу все воочью —
Что хотел и чем не стал.

В ТЕМНОМ БЛЕСКЕ

И.

По железу ранним утром в темном блеске
чешет дождь, я поднимаю занавески.
Вот он мой неотвратимый серый город,
дождь идет, как заводной и верный робот.

Ну чего тебе в такое утро надо,
ранней осени бессмертная прохлада,
поздней жизни перекопанная нива,
линза света — переменчивое диво?
Здесь и зелень, и багряно-золотое,
мел и темень, да и прочее любое.
Все, что было, все, что стало и пропало:
думал — хватит, а выходит — мало, мало!
Пусть идет он этот дождик до полудня,
да и вечером, и ночью — вот и чудно!
Пусть размочит, размягчит сухую корку,
пусть войдет до самой смерти в поговорку.
И пока он льет, не зная перерыва,
все, что было, поправимо, нежно, живо.

ПОДПИСЬ К РАЗОРВАННОМУ ПОРТРЕТУ

Глядя на краны, речные трамваи,
Парусники, сухогрузы, моторки,
Я и тебя, и тебя вспоминаю.
Помню, как стало легко без мотовки,
Лгуны, притворщицы, неженки, злюки,
Преобразившей Васильевский остров
В землю свиданья и гавань разлуки...
Вздых облегченья и бешенства воздух...
Годы тебя не украсили тенью,
Алой помадой по розовой коже,
Я тебя помню в слезах нетерпенья.
О, не меняйся! И сам я такой же!
Я с высоты этой многоэтажной
Вижу не только залив и заводы,
Мне открывается хронос протяжный
И выставляет ушедшие годы.
Вижу я комнат чудное убранство:
Фотопортреты, букеты, флаконы.
Все, что мы делали, было напрасно —
Нам не оплатят ни дни, ни прогоны.
Глядя отсюда, не жаль позолоты
Зимнему дню, что смеркается рано.
Выжили только одни разговоры,
Словно за пазухой у Эккермана.
Как ты похожа лицом-циферблатом,

Прыткая муза истории Клио,
На эту девочку с вычурным бантом,
Жившую столь иступленно и криво
В скомканном времени, в доме нечистом,
В неразберихе надсады и дрожи.
Ключик полночный, кольцо с аметистом,
Туфли единственные и все же
Даже вино, что всегда наготове,
Даже с гусиною кожей эрос
Предпочитала законной любви,
Вечно впадая то в ярость, то в ересь,
Если взглядеться в последнюю темень,
Свет ночника вырывает из мрака
Бешеной нежности высшую степень —
В жизни, как в письмах, помарки с размаха.

ЗАВТРАК НА БАЛКОНЕ

Поздно утром на торцевом балконе
Голубого курятника в приморском парке —
Яйца всмятку, редиска и во флаконе
Зарубежном — напиток домашней варки
Плюс геополитика в свежей «Правде»,
Плюс письмо из имперской былой столицы.
Это слишком, и я понимаю, вряд ли
Я сумею свое взять и поделиться
С этим мальчиком в перелицованных брюках,
Что обменивал хлебный талон на марки,
Со студентом, канал обходившим Крюков
И шептавшим Брюсова без помарки,
Бестолковым любовником, что однажды
Влез в кровать по расшатанному карнизу.
С тем, у коего все навсегда отнявши,
Бог удачи продлил золотую визу.
Они были лучше, чем я, атлеты,
Тот бегун, тот стайер в соленой майке.
Потому сейчас, в середине лета
Сообщаю это им без утайки.
— Что ж вы робко теснитесь под тентом, тени?
Все здесь ваше, а я заказал лишь столик.
Так раскиньте в плетеных креслах колени.
Громовержец, шептун, сластолюбец, стоик.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

Стояла теплая зима,
кончались дни легко и дымно,
я веселился непрерывно,
до помрачения ума.
Был подмосковный снежный парк
с водохранилищем замерзшим,
и снег слоеный слабо пах
нецеженным брусничным морсом.
Платформа «Тушино», трамвай
до станции глубокой «Сокол»...
Нет, ничего не забывай,
ни этот дом, ни черный цоколь,
не замечай тридцатки лет
и перемен неотразимых,
сезонный проездной билет,
раскатанный на долгих зимах.
Судьба подкуплена сама,
душа загублена навечно,
под теплым куполом зима
в меха закутана, конечно.

* * *

Все, что видел, забыл,
что любил — разлюбил,
постарел, поглупел, огрубел.
Выхожу на пустырь,
за сугробом — Сибирь,
а за нею последний пробел.

Под полярной звездой,
над опавшей листвой
только снег разлетелся сухой.
Вот дойду до стены,
сколько знаю вины —
вся со мной и тогда уж домой.

Погоди, не сверни,
видишь эти огни?
Растревоженный свет на шоссе.
Не ходить бы туда!
Ничего, не беда,
будешь жив, вот и станешь, как все.

РОЖДЕНИЕ

ОСЕНЬ

Нетопленный лес.
Похороны костра.
Кладбище.
Крашенный крест,
как выражение добра.

Звук — выражение струны.
Власть — выражение воли.
Я — выражение боли
этой несчастной страны.

* * *

Как глухо.
Как метет пурга.
И люди сквозь пургу,
отчаясь,
бредут на ощупь,
наугад,
домов и лиц не различая.

Они похожи.
К масти — масть.
Но то, что ночь им уготовит,
сегодня рано понимать,
а завтра понимать не стоит.

Они ослепли в эту ночь.
Метет пурга.
Но за ворота
я выйду.
Как сквозь масло нож,
пройду сквозь снег до поворота.

И встану на голову, чтоб
увидели,
прервав движенье,
что в переулке вырос столб
с лица необщим выраженьем.

АВТОПОРТРЕТ В САДУ

(картон, уголь)

Уже дымит кирпичная труба,
уже соседи выехали с дачи.
И снова благосклонная судьба
кривляется и воеет по-собачьи.

В моем саду цветет металлолом,
гуляет ветер,
с сумерками споря,
и бьет калитка крашеным крылом,
не в силах оторваться от забора.

Мне хорошо.
Я молод и любим.
Я сам из дыма создал Галатею.
Мне хорошо.
И светел чистый бинт,
соединивший голову и шею.

Вот мой очаг.
А вот мои дрова.
Вот что-то мимо уха просвистело —
и сразу закружилась голова,
как будто гайки
ринулись из тела.

Напророчила снег
одинокая туча-пророчица.
И московский декабрь —
словно пес у закрытых дверей.
На звенящем ветру
догорает фонарь одиночества —
пожалуй, единственный
из еще не погашенных
фонарей.

Я живу на десятом.
По небу текут тротуары.
Подгулявшие вопли
срываются с черных мостов.
И стоит постовой,
словно замок на берегу Луары,
на высоком посту
охраняя влюбленных котов.

У ночного окна
ожидая случайного гостя
из далекой страны,
у которой названия нет.
Отработала медь.
Возвратились деревья с погоста.
Проступил дирижер.
Тишина.
Начинается снег.

Я привык ко всему.
И на выстрелы шею не выгну.
Я играю с листа
и умею дороги листать.

Я привык к этой жизни.
А надо —
и к смерти привыкну.
Будем водку с ней пить
и по сонной столице летать.

Прошвырнемся в ночи
по Арбату,
а после — по Трубной.
И заглянем домой,
где томится огонь в камельке,
где тепло и светло,
где я сплю с телефонною трубкой,
разговаривающей
на чужом языке.

РОЖДЕНИЕ

Предчувствие конца,
предчувствие ухода,
предчувствие дождей,
идущих поперек
распахнутой земли.
Но странная свобода
является в крови
и гонит за порог.

И мне еще дано
услышать запах пота,
ползущий сквозь метро
в ночные поезда,
и женщину,
с трудом давящую зевоту,
вести через Москву
неведомо куда.

Спасибо,
что с тобой
сошлись мы в этом доме,
и мне дано вкусить
от призрачных щедрот,
когда передо мной
в мучительной истоме,
как рана, на лице
зияет черный рот.

И можно подглядеть,
как спяну или сдуру
стоит среди двора
седеющий кретин.
И вот — наискосок,
как в мусорную урну,
летит в него плевок.
Потом — еще один.

Спасибо, что Москвой
еще гуляют страсти,
и можно угодить
в божественный обман
и вылететь в окно,
и, плавая в пространстве,
ненужною звездой
пронизывать туман.

Да здравствует вранье
и видимость полета,
и видимость любви,
свершенной в темноте,
пока цветут глаза
ромашками помета
и гребни — на ушах,
и перья — на хвосте.

И вертится земля
подобием рулетки,
и я не знаю сам,
где оборвется шаг,
и в лифте скоростном,
как жаворонок в клетке,
срываюсь в никуда
с седьмого этажа.

МОНОЛОГ

Ты стань жуком,
я стану муравьем.
И лучшей доли,
кажется, не надо.

Е. Блажееский

I

Безлюдна полночь,
и Москва пуста,
как женщина,
утратившая нежность.
Все кончено.
И я живу с листа,
как будто раньше никогда и не жил,
как будто бы не ведал,
что пустот
не терпит жизнь.
И в ледяную стужу
бреду один.
И время — как пальто
перелицовано карманами наружу.

2

В нем все — не то.
Другие имена,
другое небо
и другие люди —
красивые,
которые меня
еще не знают
и уже не любят
за то,
что, распахнувшись, к ним иду,
за то,
что губы изломаю в споре,
за то, что я, живя в своем аду,
не чувствую сомнения и боли,
когда, сорвавшись,
как осенний лист,
лечу без сожаления и вздоха,
когда, свихнувшись,
предъявляет иск
тяжелая похмельная эпоха.

Да, я спешил.
В том — не моя вина.
Мне медлить не положено по жанру.
Кто долго падал —
 не достигнет дна,
кто долго пел —
 не допоеет, пожалуй.

3

Но вот,
хрипя в осеннюю траву,
я понимаю,
что судьбе в отместку,
сорвавшись вниз,
я все еще живу —
без имени,
без возраста,
без места
в пустом доме,
где стены из стекла,
вражда наивна,
а любовь — бесплодна,
где нами молча выбрана была
прекрасная,
но странная свобода:
свобода
выбирать от сих до сих,
свобода стать жуком в навозной жиже,
свобода
даже самый лучший стих
не написать
и все-таки не выжить.
Мы волчье племя.
Мы сродни волкам.
Но, предавая чистую породу,
мы сами стрелы выдали стрелкам
и сами на себя ведем охоту.
И спорим о природе ремесла,
в дыму табачном коротая вечер,
когда уже отпущена стрела,
и за спиною
страшно дышит
вечность.

ДУХ МОГУЧИЙ РОДА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

Здесь черны и жилисты ветки,
Здесь артерии рек плодоносные.
В желтой глине лежат мои предки,
Горбоносые, низкорослые.
Бабки, деды, прабабки и прадеды
С жаркой кровью, густою и темною.
Их любовью у смерти украдены
И слова и лицо мое теплое.
В дни веселья, в години горя
Их объятия были крепки.
Так вот реки впадают в море,
Как в меня влились мои предки.
Земляная над ними кровля,
Раскаленная солнечным пылом.
Чую тяжесть собственной крови,
Припадаю к отчим могилам.

II

Нерушима основа основ
И незрима крепкая нить.
Кровь бесчисленных мертвецов
Тяжело мне в себе носить.
И с рожденья войдя в их круг,
Повторять, покуда жива,
И движенья истлевших рук,
И исчезнувших губ слова.
Эту красную тяжесть тьмы,
О куда бы ее избыть!
... Потому и стремимся мы
Кровь свою в дитя перелить.

III

Луком, тархуном, кинзой, помидорами,
Мясом, перцем и солью,
Яркими, жаркими разговорами
Перенасыщено это застолье.
Смуглые лица, черные головы,
Льется речей раскаленное олово.
Запах витает жирный и чадный.
И от усердия взмокают затылки.
Льется кровавый зной виноградный
Из пузатой бутылки.
— «Сосед, заходи, не стой у порога!»
— «Вах, ты мое иссушила сердце!»
Слишком здесь душно, слишком здесь много
Перца и соли, соли и перца.
Сладости много, шума и крика.
— «Вах, на себя возьму твою горе!»
— «А с кем я видала вчера Андраника!»
Это родня моя нынче вся в сборе.
Это родня моя! Что ж я не рада?
Что ж мне веселый гул этот дик?!
Это же брат жены моего брата,
Каро и Маро, Шушаник и Астхик!
Я ж у своих! Разве мне одиноко?
Что же чуждается родичей сердце?
Видно, в крови у меня слишком много
Перца и соли, соли и перца.

IV

Родовое, темное, слепое,
Растворенное в моей крови,
До чего же ты владеешь мною!
Это ты велело мне: «Живи!»
Это ты из мрака и из тлена,
Из густых сетей небытия,
Из неведенья, блаженства, плена
Вызволило, вырвало меня,
Чтобы я покорная лежала,
Чуя, как в лицо хрипит мне тьма,
А потом в ночи детей рожала,
Низкорослых, смуглых, как сама.
Кто ты, кто ты, дух могучий рода?
Нет тебе начала и конца.
Невозможна от тебя свобода,
Ибо нету у тебя лица.

Я бежала под солнечной дрожью,
 Под потоками злого огня.
 И вот здесь, в духоте бездорожья,
 Духи предков настигли меня.
 И вздымая окалину пыли,
 Затемняя небесную высь,
 Духи предков в лицо мне вопили:
 — «Подчинись! Подчинись!»
 О как бороды их дрожали,
 Напрягались яблоки глаз:
 — «Мы трудились, любили, рожали.
 Ты не смеешь уйти от нас.
 Посмотри, ты стоишь над обрывом,
 Под тобою — ревущая тьма.
 Сзади горы застыли массивом.
 Ты не выйдешь отсюда сама.
 Не упорствуй в упрямстве дерзком!
 Есть тропа — но узка, как нож.
 Если мы тебя не поддержим,
 Оборвешься и упадешь».
 Сзади горы застыли массивом:
 Ни просвета нет, ни пути.
 Я стою над самым обрывом,
 Я не знаю, куда мне идти.

КОМИТАС¹

ПЕРВЫЙ МОНОЛОГ КОМИТАСА

Стоны, протяжные стоны,
 Длинные, как дорога,
 По которой бредет бессонно
 Горстка бывшего народа,
 Воздух, звенящий тонко.
 Зноем выпиты очи.
 Склонившись над телом ребенка,
 Безумная мать хохочет.
 Хохот звучит похоронный.
 Стоны, стоны.

¹ Комитас (1859—1935) — выдающийся армянский композитор, дирижер, ученый и общественный деятель. В 1915 году во время геноцида армян в Османской империи сошел с ума. Остаток своих дней провел в парижской психиатрической лечебнице.

В черных глазах погребенных —
Стон похоронный.
Стоном пространство расколото.
В небе солнце гудит, как колокол.
Небо — жидкое олово.
Крики впиваются в голову.
Голова моя — колокол.
Голова набухает болью.
Я пришел в этот мир с любовью.
Мои губы — для смеха, не стона...
В небе колокол бьет похоронный.

ВТОРОЙ МОНОЛОГ КОМИТАСА

Это я виноват.
Это я свою музыку выпустил в мир.
Голосами высокими мертвые долго кричат.
Я их волосы перебираю, как струны разложенных лир.
Слышу звуки неуловимых гармоний,
Они льются, как линии женских ладоней.
Хор детей и мохнатые хрипы мужчин.
Темный плач.
Всплески яркого смеха.
Это я виноват, я один.
Как я смел на запретную суть посягнуть —
Заглянуть по другую сторону эха?!
И увидел я мир изнутри.
Так зачем закрываешь глаза? Ты хотел ведь — смотри!
Так зачем зажимаешь свой слух меж ободранных грязных
ладоней?
Тяжелые нестерпимо эти звуки нездешних гармоний!
Словно струн, я касаюсь безумных волос...
Слушай то, что в тебе родилось!

ПЕРВЫЙ СОН КОМИТАСА

Я сидел на какой-то высокой стене
Посреди пустыря.
Ни звезды, ни огня.
Но карабкались крики ко мне,
Настигали меня.
И я зря
Поджимал под себя обожженные зноем дневным,

Обнаженные две ступни.
(Почему-то казалось, что так я не буду замечен другим.)
Но к стене приближались ОНИ.
Мое сердце билось, как бубен, ударяясь о ребра.
То ли страх, то ли радость колотили в него.
Как огромный орган, трепетало мое естество.
Струны нервов ликуя кричали: «О Боже вседобрый!»
А внизу бушевало веселье.
Чьи-то руки взлетали, как будто смычки.
Только двое мужчин недвижно висели.
И я сердце просил: «Замолчи, не стучи!»
Но музыка набухала
В моем теле, уже не вмещааясь во мне.
Звуки:
 черный,
 лиловый,
 алый —
Хлынули вниз по стене.

ВТОРОЙ СОН КОМИТАСА

Небо мое — пересохшая глина.
Падаю, падаю... Медленно падаю на песок.
Чей это крик? Неужели мой? Какой же он длинный, длинный!
Что-то мне изнутри ударяет в висок.
Кто меня вызвал сюда? Почему я в этой пустыне?
С неба тянутся желтые пальцы ко мне.
Хочется пить, но влага течет только в вене моей синей.
Сохнет мое дыхание в легких на самом дне.
Хочется пить... Может быть, высосать вену,
Долго пить свою жизнь из самого же себя?
Желтый отблеск песка ударяет в глаза слепя.
Нет никого. Я один во вселенной.
Нет никого. Лишь песок, лишь песок раскаленный вокруг.
Только свет, иссушающий свет в глазах воспаленных.
Слышу, плещется — только где? — плещется звук:
То ли во мне, то ли в каких-то мирах отдаленных.

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Бенедикт САРНОВ
Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ
Юлия РАХАЕВА

КТО МЫ И ОТКУДА?

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Б. Пастернак

Владимир Жаботинский в одной из ранних, дореволюционных своих статей («К юбилею Шевченко», 1911), рассуждая о национальном самосознании народа — любого народа! — и с уверенностью утверждая незыблемую прочность, нерушимость этого национального самосознания, вскользь, с нескрываемым презрением заметил:

Сколько бы ни лжесвидетельствовали о противном разные эксперты из национальных оборотней.

Несмотря на жесткую безапелляционность этого замечания, ему все же показалось, что сказанного недостаточно, и он счел необходимым тут же добавить:

Эксперты этого рода столь же компетентны в оценке национальных чувств того народа, от которого они отстали, сколько компетентен дезертир в оценке патриотизма и боевого духа той армии, из которой он сбежал.

Если следовать этой убийственной логике, я менее всего го- жусь на роль эксперта, способного судить о национальном самосознании моих соплеменников. Ведь я как раз и есть тот самый

«национальный оборотень». Ну, не оборотень, так уж во всяком случае — дезертир.

Но думаю, тем не менее, что сомневаться в моей компетентности все же не следует, поскольку вся армия, о состоянии духа которой я собираюсь говорить, состояла из таких же дезертиров. Да и не сами, не по своей воле оказались мы дезертирами...

I. «МЫ БЫЛИ НОВОЮ СТРАНОЙ...»

Вероятно, каждый человек может отнести к себе ставшие крылатыми слова, брошенные в мир Антуаном де Сент-Экзюпери: «Я родом из страны моего детства...». Во всяком случае, их может отнести к себе каждый, у кого было нормальное детство — эта, по гениальному выражению Пастернака, часть человеческой жизни, которая больше, чем целое.

Я хочу рассказать о стране, из которой мы родом, — я и мои товарищи по несчастью, люди одного со мною возраста и сходной с моей судьбы.

Но как это сделать? Не описывать же ее географию, историю, царящие в ней законы... Все это тоже, быть может, представило бы известный интерес, и не только для историков. Но у меня иная цель, совсем другая задача.

Владислав Ходасевич поделился однажды странным чувством, которое возникло у него на лекции одного весьма компетентного ученого-литературоведа о русском символизме:

...Слушая, мне все чувствовалось: да, верно, правдиво, — но кроме того я знаю, что в действительности это происходило не так. Так, да не так.

Причина стала ясна мне сразу. Лектор знал символизм по книгам — я по воспоминаниям. Лектор изучил страну символизма, его пейзаж — я же успел вдохнуть его воздух, когда этот воздух еще не рассеялся и символизм еще не успел стать планетой без атмосферы. И вот, оказывается, — в той атмосфере лучи преломлялись как-то особенно, по-своему — и предметы являлись в иных очертаниях.

Вот так же и я. Я жил в той стране, дышал ее воздухом, когда он еще не рассеялся. Я тоже помню, как особенно, по-своему преломлялись лучи в той атмосфере. Но чтобы воспроизвести эту исчезнувшую атмосферу, надо обладать художественным даром, которого у меня нет. Поэтому я вынужден буду то и дело прибегать к цитатам.

Больше всего цитат будет из книг Аркадия Гайдара. Собственно, ту страну, о которой пойдет речь, по справедливости следовало бы именовать «страной Гайдара».

Итак — «страна Гайдара».

Для начала — о некоторых свойствах народонаселения этой страны. Вернее, только об одном его свойстве: о его, так сказать, национальной принадлежности.

Главный герой повести Гайдара «Военная тайна», шестилетний малыш Алька — метис, «полукровка». Отец его — русский инженер Сергей Ганин, а мать — румынская, вернее, молдавская еврейка Марица Маргулис.

Если бы Алька вырос и дожил до наших дней, это обстоятельство оказалось бы для него чревато множеством весьма болезненных проблем. Почти наверняка возникли бы у него в связи с этим какие-то мучительные комплексы. А если бы даже и не возникли, в глазах довольно многих его соотечественников (так называемых «памятников» — членов общества «Память» и всех, кто разделяет их идеи), он навсегда остался бы человеком не совсем полноценным, «порченным». «Порченным» в их глазах является не только тот, у кого половина еврейской крови, но даже и тот, у кого этой чужой крови всего лишь четвертушка. Существуют у них на этот счет даже специальные условные обозначения: «Полтинник», «Четвертак»... В одной статье, опубликованной в журнале «Наш современник», детей от смешанных (разумеется, смешанных с евреями) браков сравнивали с мулами, которые — цитирую — «будучи помесью кобылы с ослом, изворотливы, хитры и коварны».

Но в «Стране Гайдара» таких проблем не возникает. Там все решается просто:

— Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи...

И Алька, полностью удовлетворенный этим ответом пионерожатой Натки, спокойно засыпает.

«Страну Гайдара» населяют люди с необычными, нерусскими, какими-то вненациональными именами: Тимур, Бумбараш, Иртыш, Чук, Гек, Алька, Гейка, Натка... (Именно Натка, а не Наталья).

На первый, поверхностный взгляд эта вненациональность гайдаровских героев роднит созданную этим писателем страну с другой страной, созданной воображением другого литератора, жившего и творившего в ту же эпоху: Александра Грина.

Жителей «страны Грина» — моряков, контрабандистов, бродяг и искателей приключений, носящих короткие, веселые, загадочные имена — Дюк, Блент, Нок, Грей — тоже объединяет только один, если можно так выразиться, обратный национальный признак: они нерусские. (Недаром «страну Грина» Маршак однажды язвительно назвал: «страна Иностранция».)

Но «страна Грина» от «страны Гайдара» отличалась тем, что она не имела никаких точек соприкосновения с реальностью. Собственно, весь смысл создания этой страны состоял в том, чтобы оторваться от ненавистной автору реальности, как можно дальше от нее уйти, как можно успешнее про нее забыть.

«Страна Гайдара» была не только связана с реальностью прочными, кровавыми, родовыми узами. Предполагалось, что она-то как раз и есть — настоящая, подлинная реальность. Во всяком случае, та часть окружающей нас реальности, которой принадлежит будущее.

В отличие от народонаселения «страны Грина», жители «страны Гайдара» были реальными, живыми людьми. Мало того: они представлялись автору (и не только ему) главными героями окружающей нас реальности. Уж во всяком случае — самыми яркими, самыми типичными ее представителями.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

— А много нашего советского народа вырастает, — прислушиваясь к песне подумала Натка.

Так думает, так чувствует жительница «страны Гайдара» — комсомолка Натка Шегалова.

А вот как думали и чувствовали ее сверстники — жители реальной страны России, родившиеся в двадцатых:

Мы были новой страной,
Еще не признанной, но сущей.
Гражданской сказочной войной
Она ворвалась в мир грядущий.
Что мы услышали от мам?
Все то, что прочие? Едва ли...
Другие песни спели нам...
Другие сказки рассказали.

(Наум Коржавин)

Мир яблоком, созревшим на оконце,
Казался нам... На выпуклых боках —
Где Родина — там красный цвет от солнца,
А остальное — зелено пока...

(Николай Майоров)

Мы, лобастые мальчики
невиданной революции...

(Павел Коган)

Только советская нация
будет
и только советской расы люди...

(Михаил Кульчицкий)

Сейчас, задним числом, нас пытаются уверить, что это была — кучка отщепенцев, безнадежно оторвавшихся от родной почвы, — люди без корней, «без роду, без племени». Проще говоря — евреи. (С наибольшей определенностью эта нехитрая идея была высказана в нашумевшей статье Станислава Куняева «Поэзия пророков и солдат». Выразители этого мироощущения деликатно именовались там «поэтами-ифлийцами», но фамилии выбранных автором поэтов — Павел Коган, Арон Копштейн, Борис Слуцкий — не оставляли никаких сомнений насчет истинных его намерений).

Чтобы убедиться в том, что народонаселение «страны Гайдара» состояло не из одних «ифлийцев» (читай — инородцев), да и вообще отнюдь не было таким уж выморочным и оторванным от национальной российской почвы, призову в свидетели писателя, которого менее, чем кого другого, можно отнести к племени «лобастых мальчиков невиданной революции». Я имею в виду Александра Солженицына, его рассказ «Случай на станции Кочетовка».

Герой этого рассказа — лейтенант Василий Зотов — не то что не «ифлиец», он даже и не москвич. В Москве довелось ему побывать только один раз за всю его жизнь — на экскурсии. В Иваново он, правда, бывал. Но тоже не так уж часто... Но по складу души, по мироощущению он ничем, — ну просто ничем! — не отличается от этих вот «лобастых мальчиков»: Павла Когана, Михаила Кульчицкого, погибшего еще на финской войне их сверстника Арона Копштейна. И чувствует он совсем, как они. И мысли у него те же. И даже облакает он эти свои мысли почти в те же самые слова:

Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем оттуда строчки. И теперь, шел ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру Мичурина или телегой в прикрепленный сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов, — Зотов повторял и керебирал эти слова, как свои:

*Если Ленина дело падет в эти дни, —
Для чего мне останется жить?*

Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции...

Заметьте — не Родине в смертельно опасный для нее час, а — Революции.

Это, впрочем, пока еще только декларация. Но чем пристальнее вглядываемся мы в фигуру Васи Зотова, чем больше раскрывается он перед нами, тем очевиднее становится, что прожил он свою короткую жизнь совсем не в той стране, в какой жил, например, случайно встретившийся на его пути интеллигент Игорь Дементьевич Тверитинов.

Если судить по именам, отчествам и фамилиям, оба они — русские. Но в сущности перед нами — «дети разных народов», жители не то что разных стран, а прямо-таки обитатели двух разных, бесконечно далеких друг от друга, не соприкасающихся миров.

— Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают, к тому же я так одет... Да и вообще у нас задавать вопросы опасно.

— В военное время, конечно.

— Да оно и до войны уже было.

— Ну, не замечал!

— Было, — чуть сощурился Тверитинов. — После тридцать седьмого...

— А — что тридцать седьмой? — удивился Зотов. — А что было в тридцать седьмом? Испанская война?

Тверитинов дипломатично молчит. Но, спустя некоторое время, Зотов сам возвращается к теме «тридцать седьмого года».

Оживленно рассказывая, как пытался обмануть военкомат и, несмотря на плохое здоровье, все-таки попасть на фронт, он мимоходом роняет:

— У меня опыт еще с тридцать седьмого...

Тверитинов на эту реплику реагирует по-своему:

— А что вы упомянули о тридцать седьмом?

Но Зотов даже не понимает, казалось бы, каждому его соотечественнику хорошо известного страшного подтекста этого простого вопроса.

— Ну, вы же помните обстановку тех лет! — горячо рассказывал Вася. — Идет испанская война! Фашисты — в Университетском городке. Интербригада! Гвадалахара, Харамы, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку, — нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачеты, экзамены — учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне...

Эта трещина непонимания, возникшая между Васей Зотовым и его случайным знакомцем Игорем Дементьевичем Тверитиновым, в один — роковой для Тверитинова — миг превратится в пропасть.

— Это, считайте, уже под Сталинградом.

— Под Сталинградом, — кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил. — Позвольте... Сталинград... А как он назывался раньше?

И — все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек — не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!.. (Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.)

То пустяковое, в сущности, обстоятельство, что Тверитинов запомнил, что Сталинград до своего переименования звался Царицыном, стоило ему жизни. Ни в чем не повинного, да к тому же искренне понравившегося ему человека Зотов, не задумываясь, тотчас же под конвоем отправил в оперативный пункт НКВД, то есть — на смерть. (И в мирное-то время не миновать бы тому

срока за такое беспамятство, а уж во время войны...). В обычной, нормальной, обыкновенной стране, чтобы совершить то, что сделал Зотов, надо было быть либо законченным мерзавцем, либо злобным маньяком, либо уж — самое невинное! — холодным, тупым, не рассуждающим чиновником. Зотов — ни то, ни другое, ни третье. А совершил он то, что совершил, лишь по той единственной причине, что он был родом из «страны Гайдара».

Конечно, Солженицын пристрастен, и потому рассказ его не во всех подробностях и деталях художественно достоверен. Уже одно то, что Зотов боится позвонить в НКВД, узнать, что стало с отправленным им туда Тверитиновым («не раз тянуло его позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным»), с очевидностью свидетельствует, что прекрасно он знает, в каком царстве-государстве живет. Стало быть, и для него тоже тридцать седьмой год не прошел совсем уж бесследно. Да и вообще трудно представить себе, чтобы человек, которому в сорок первом уже за двадцать, тридцать седьмой год ассоциировал только с войной в Испании. Что ж, значит, и слова «ежовщина», бывшего тогда у всех на устах, он ни разу не слышал? По правде говоря, так же трудно представить себе человека возраста Тверитинова, который не помнил бы, что Сталинград до 1925 года звался Царицыном. (Столько орали тогда об огромных заслугах Сталина во время обороны Царицына, намертво связав эти два имени.) Есть во всем этом какая-то нарочитость, искусственность. Солженицын словно бы играет в поддавки, максимально облегчая себе свою художественную задачу.

Однако, при всей очевидной своей искусственности эти значащие так много в рассказе подробности все же не кажутся нам фальшивыми. При явной их придуманности, есть в них и какая-то несомненная правда.

Размышляя о новых людях, населяющих новую Россию, о душевном складе этих новых людей, так разительнo отличающихся от всех традиционных представлений о русском национальном характере, Георгий Федотов, живший в то время в эмиграции, в Париже, писал:

Перебираешь одну за другой черты, которые мы привыкли связывать с русской душевностью, и не находишь их в новом человеке. И вместе с тем столько новых качеств, которые мы привыкли видеть в чужих, далеких национальных типах... Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть... Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца... Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его место. Жалость для них бранное слово,

христианский пережиток. Злость — ценное качество, которое стараются в себе развить. При таких условиях им не трудно быть веселыми. Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни, вероятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР:

*И нигде на свете не умеют,
Как у нас, смеяться и любить...*

Последнее предположение Федотова удивительно точно. В стране повального страха, чудовищного, тотального террора все эти ликующие, до краев наполненные радостью и счастьем слова и мелодии («Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...», «Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух...» и т.п.) для многих, очень многих людей и в самом деле не звучали фальшиво. Но совсем не потому, что сердце русского человека ожесточилось, и даже не потому, что этот новый человек сознательно вычеркнул из своего лексикона слово жалость и поверил, что злость — единственное ценное качество, которое необходимо в себе развить.

Солженицынский Вася Зотов — вовсе не зол. И Тверитинова он отправляет в НКВД совсем не для того, чтобы (упаси, Господи!) занять его место. И не только в голову ему не приходит провозжать в тюрьму хором ругательств этого, в сущности, глубоко симпатичного ему человека, но он даже испытывает что-то вроде раскаяния — какое-то тоскливое, гнетущее чувство, рожденное сознанием неправильности совершенного им поступка:

...Не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице.

*Все сделано было, кажется, так, как надо.
Так, да не так...*

О том же — и последняя, заключающая рассказ фраза:

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека.

Какая-то крохотная трещинка все-таки прошла через его сердце. Но ликующие советские песни, утверждающие монолитную цельность мира, в котором он продолжал жить, надо полагать, как и прежде, не звучали для него фальшиво.

Нет, дело тут не в ожесточении нации.

Проницательно разглядев очень существенную черту людей новой, «советской» нации, Федотов не смог найти ей правильное объяснение. Предлагая другое, представляющееся мне более правильным, я льщу себя надеждой, что оно ближе к истине, не потому, что я умнее Федотова, а только лишь потому, что, в отличие от Федотова, я жил внутри того замкнутого пространства, на которое он глядел извне, разглядывая и изучая его как наблюдатель.

Один из моих друзей, прошедших войну, поделился со мной однажды таким самонаблюдением. Он рассказал, что, глядя на поле боя, где лежали тела убитых, поймал себя на мысли, что мертвыми людьми для него были только свои. Убитых немцев он как людей не воспринимал. Не помню, то ли он сам вспомнил тогда этот термин, то ли это пришло нам в голову одновременно, но как-то сразу возникло в этом нашем разговоре словосочетание, придуманное (для своих целей) Станиславским: круг внимания. Убитые немцы были для моего друга-фронтовика как бы даже и не людьми, потому что они оказались за пределами его круга внимания.

Вот так же и жители «страны Гайдара», распевая — «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» — не чувствовали чудовищной фальши этих слов не потому, что были злыми и жестокими, равно как и не потому, что не подозревали о существовании лагерей и тюрем, где мучились и страдали миллионы их соотечественников, но лишь по той единственной причине, что все эти муки и страдания (о которых они, конечно же, знали; как не знать, если списки расстрелянных печатались в газетах) были за пределами их круга внимания.

Лагеря, тюрьмы, расстрелы — все это, конечно, происходило не на другой планете, а в их родимом отечестве, в их собственной стране. И в то же время все это происходило, не в той стране, где они жили, — не в «стране Гайдара». И вся вина Игоря Дементьевича Тверитинова состояла в том, что своей случайной обмолвкой, этим своим наивным вопросом («Позвольте... Сталинград?... А как он назывался раньше?...») он сразу себя выдал, обнаружив, что в «стране Гайдара» он — иностранец. И вот уже — вывод: «Агент!.. Наверно, белоэмигрант!»

Конечно, я бы сильно погрешил против истины, если бы стал утверждать, что все население Советского Союза сплошь состояло из обитателей «страны Гайдара». Нет и не может быть никаких сомнений в том, что «страна Гайдара» охватывала лишь часть, может быть, даже сравнительно малую часть населения СССР. Но народонаселение этой мифической, иллюзорной, вымышленной

страны отнюдь не состояло лишь из горстки молодых поэтов-ифлийцев.

Из людей другого, старшего поколения «этот прекрасный новый мир», мир «без России, без Латвий», грезился не одному только Маяковскому. Достаточно напомнить, что даже Шолохов (сейчас в это просто невозможно поверить!) устами своего Макара Нагульнова тоже мечтал о мировой революции, после которой все нации на земле перемешаются, сольются в одну, и все отпрыски этой будущей единой мировой расы будут «личиком приятно-смуглявые и все одинаковые».

Великий эксперимент, начавшийся в России в октябре 1917 года, захватил миллионы людей. Я говорю не о тех, кто стали в буквальном смысле слова жертвами этого эксперимента, оказавшись насильственно втянутыми в сферу его прямого действия. Я говорю лишь о тех, кто искренне испытал на себе воздействие этого мощного магнитного поля — не о жертвах физических, а о тех, чье сознание, чья психика оказались в плену этого всемирно-исторического заблуждения.

Сейчас много говорят и пишут о тягчайших последствиях, которыми этот эксперимент оказался чреват для русского народа. Те, кому за всем этим мерещится коварный антирусский заговор («русофобия»), особенно настойчиво подчеркивают, что непоправимый урон был нанесен самому генофонду русской нации. Это правда. Но правда эта сразу превращается в ложь, едва только начинаются разговоры о том, что генофонд русского народа пострадал даже больше, чем генофонды других народов, населявших территорию бывшей Российской империи.

Меньше разве пострадал генофонд калмыков или чеченцев, или крымских татар? Да и вообще недостойное это занятие — взвешивать на каких-то несуществующих весах, чьи беды и страдания весят больше.

Но при всем при том следует все-таки признать, что был народ, для которого в одном отношении (только в одном!) этот великий эксперимент оказался чреват наиболее губительными последствиями.

2. «ЕВРЕИ ЕСТЬ, А ВОПРОСА НЕТУ...»

Среди многочисленных персонажей одной из самых любимых книг российских интеллигентов тридцатых годов — «Золотого теленка» Ильфа и Петрова — на миг промелькнул американский журналист, сионист, мистер Хирам Бурман. Беседуя со своими советскими коллегами, мистер Бурман заметил, что в СССР его, как сиониста, больше всего интересуется еврейский вопрос.

— У нас такого вопроса уже нет, — сказал Паламидов.

— Как же может не быть еврейского вопроса? — удивился Хирам.

— Нет. Не существует.

Мистер Бурман заволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по еврейскому вопросу и расстаться с этим вопросом ему было бы больно.

— Но ведь в России есть евреи? — сказал он осторожно.

— Есть, — ответил Паламидов.

— Значит, есть и вопрос?

— Нет. Евреи есть, а вопроса нету.

Может быть, советский журналист Паламидов просто поддразнивает мистера Хирама Бурмана? Сознательно эпатирует его? Или строго следует узаконенной для всех обязательной пропагандистской установке? Или проявляет обычную бдительность, подобающую в беседах с "классовым врагом"?

Ничуть не бывало.

Уверяя, что никакого еврейского вопроса в СССР больше нет, Паламидов серьезен и глубоко искренен. Он говорит то, что думает. Его ответ на самом деле представляется ему (как, впрочем, и авторам романа) полностью исчерпывающим существо дела.

Именно так воспринимали этот диалог читатели тридцатых годов. Вместе с Ильфом и Петровым снисходительно посмеивались они над мистером Хирамом Бурманом, не понимающим, как это может быть: евреи есть, а еврейского вопроса нету?

Даже и сейчас люди, принадлежащие к поколению первых читателей Ильфа и Петрова, — те, чья молодость пришлась на двадцатые и тридцатые годы, — когда разговор заходит о так бурно расцветшем у нас после войны антисемитизме, искренне недоумевают:

— Откуда она взялась, эта зараза? Ведь до войны ничего даже похожего не было! Совсем не было. Мы знать не знали и ведать не ведали, кто из нас еврей, а кто русский или украинец, или татарин!

И дружно приходят к выводу, что «зараза» пошла от Гитлера, что пришла она на нашу землю вместе с войной, с оккупацией. Ну а уж потом — от антисемитской политики Сталина, который, победив Гитлера в войне, оказался побежден им идеологически. Даже Эренбург, который, казалось бы, был проницательнее многих, как будто тоже склонялся к этому объяснению: когда кто-то в его присутствии сказал, что пакт с Гитлером был для Сталина браком по расчету, он ответил, что от браков по расчету, к сожалению, тоже рождаются дети.

Вряд ли стоит ломиться в открытую дверь, доказывая, что антисемитизм в России никогда не умирал, что темная эта стихия после войны на нас не с неба свалилась, а просто вырвалась, выплеснулась на поверхность жизни из не очень даже подпольных и тайных, всегда существовавших глубин ее.

Так откуда же взялась у людей, чья молодость пришлась на тридцатые годы, эта святая уверенность, что в их юности ничего похожего у нас не было и в помине? Что это? Возрастная ностальгия? Естественное человеческое желание видеть свое прошлое только в радужных, светлых тонах?

Говоря попросту: врут они себе, что ли?

Нет, не врут. Все, что они говорят о стране, в которой жили до войны — чистойшая правда. Ведь жили они тогда не в России, а в «стране Гайдара».

А в «стране Гайдара» этот проклятый «еврейский вопрос»... Нет, нельзя сказать, чтобы его там так-таки уж совсем не было. Старый сионист мистер Хирам Бурман, рассуждая по старинке (коли есть евреи, так уж наверняка есть и еврейский вопрос), был не так уж далек от истины. Проклятый вопрос, как принято было выражаться в ту пору, подчас, временами, в отдельных случаях, к сожалению, еще давал о себе знать. Например, вот так:

Подшел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то серое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владика, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть?..

Иоська убежал.

— Видал? — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик. — Они будут мячи кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

— Известно, — сплевывая на траву, охотно согласился парень. — Им только этого и надо... Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивился и не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прибежал — жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове. — Иоська все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросился вперед, что парень вдруг струсил...

(Аркадий Гайдар «Военная тайна»)

Будучи писателем честным, искренне верящим, что изображает в своих книгах не выдуманную, мифическую «страну Иностранную», а самую что ни на есть реальную, взаправдашнюю Страну Советов, Гайдар не мог сделать вид, что слово «жид» обитателям этой страны так-таки уж совсем незнакомо. Но сакраментальное слово это, произнесенное вслух, не нарушает гармонию изображаемой им вселенной. Напротив, оно эту гармонию даже как бы оттеняет, делает мир «страны Гайдара» еще более гармоничным, более цельным.

Ни Владик Дашевский, ни Натка Шегалова, ни Тимур, ни Иртыш, ни Чук, ни Гек, ни Алька — ни один из подлинно гайдаровских героев это грязное слово выговорить не смог бы ни при каких обстоятельствах. Произносит его персонаж, словно бы явившийся в чистый и светлый гайдаровский мир из какой-то другой галактики. Он даже и физически отличается от гайдаровских героев не меньше, чем отличался бы от землян какой-нибудь инопланетянин. (Физический облик этого «инопланетянина» вылеплен в точном соответствии с указаниями основоположника социалистического реализма. «Классовая ненависть, — учил молодых писателей Горький, — должна воспитываться на органическом обращении к врагу, как существу низшего типа... Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это — дегенерат, вырожденец физически и морально...». Парнишка, с уст которого срывается сакраментальное слово «жид», описан Гайдаром в точном соответствии с этим рецептом: лицо, точно вымазанное серым мылом, дегенеративно приоткрытый рот. По всем своим приметам это — именно вырожденец. Не только моральный, но и физический выродок.)

Итак, проклятый вопрос все-таки существует.

То есть, нет. Вопросы как такового все-таки нет. И антисемитизма как явления тоже нету. Есть — отдельно взятые антисемиты. Но это — выродки, гнусная отрыжка прошлого, печальное наследство, доставшееся жителям «страны Гайдара» от старой России.

Но ведь той, старой России больше нет. В новую жизнь «без России, без Латвий», как я уже говорил, тогда верили не только жители «страны Гайдара».

Леля. Теперь ведь России нет.

Татаров. Как нет России?!

Леля. Есть Союз Советских республик.

Татаров. Ну да. Новое название.

Леля. Нет, это иначе. Если завтра произойдет революция в Европе... Скажем: в Польше или Германии... Тогда эта часть войдет в состав Союза. Какая же это Россия, если это Польша или Германия?..

(Юрий Олеша. «Список благодарений»)

Такова в самых общих чертах была модель этой новой вселенной.

Но в жизни все получилось иначе. Польша так и осталась Польшей, Германия — Германией. То же — и с другими народами, населявшими «до эксперимента» территорию бывшей Российской империи. После всех чудовищных потрясений, выпавших на их долю, все-таки остались собою, сохранили свой национальный облик и литовцы, и латыши, и татары, и башкиры, и калмыки, и чеченцы... А нас на свете нет...

О каждой нации, о каждой этнической группе, из которых в недавнем прошлом состояла «новая историческая общность — советский народ», можно — с большими или меньшими оговорками — сказать, что она вернулась (или возвращается) к своему прежнему национальному бытию. Но этот, казалось бы, всеобщий, не знающий никаких исключений закон роковым образом не распространяется на евреев.

В Праге есть поразительный музей — Старая синагога. Там собраны национальные и религиозные святыни чуть ли не со всего света. В самом этом факте, конечно, ничего такого уж особенно поразительного нет: почему бы не быть еврейскому национальному музею хотя бы даже и в Праге.

Поразительно то, что создан этот музей был по замыслу Гитлера. (Ну, может быть, не самого Гитлера, а может быть, Эйхмана или еще кого-нибудь из идеологической obsługi фюрера.) Идея состояла в том, чтобы эта старая пражская синагога — одна из самых старых в Европе — стала последним (единственным на всей планете!) хранилищем памяти о народе, навсегда исчезнувшем с лица земли.

Осуществить этот свой грандиозный замысел гитлеровцам, как известно, не удалось. Но на одной шестой части земной суши он, похоже, все-таки осуществился.

Евреи на территории бывшего Советского Союза по-прежнему есть. Хотя с каждым годом, даже с каждым месяцем их становится все меньше и меньше. А вот что касается еврейского вопроса, то он, судя по некоторым признакам, здесь уже решен окончательно.

Конечно, он решен не так (совсем не так!), как намеревались его решить гитлеровцы. Но — не менее радикально.

3. «А НАС НА СВЕТЕ НЕТ...»

В одной из глав романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» рассказывается о еврее Самуиле, которого занесло (куда только суровый ветер рассеяния не заносил евреев) в высокогорный Чегем.

Чегемцы, впервые столкнувшись с представителем странного народа, живущего не на своей земле, засыпают его вопросами, на которые он отвечает легко, не задумываясь. Но один из их вопросов чуть было не поставил его в тупик.

— Ответь нам на такой вопрос, Самуил, — спросили чегемцы, — еврей, который рождается среди чужеродцев, сам от рождения знает, что он еврей, или он узнает об этом от окружающих наций?

— В основном от окружающих наций, — сказал Самуил и добавил, удивленно оглядывая чегемцев: — Да вы совсем не такие простые, как я думал?..

Вопрос и в самом деле свидетельствует о том, что чегемцы — совсем не такие простаки, какими могли показаться. Этим вопросом они попали, что называется, в самую точку. Ухватили самую суть интересующей нас проблемы. Это на самом деле очень глубокий, если угодно, — метафизический вопрос.

К рассмотрению его на ином (вот этом самом метафизическом) уровне, пожалуй, стоило бы вернуться. Но пока отмечу только, что «торговый еврей» Самуил на этот пронизательный вопрос чегемцев в принципе ответил неправильно. На протяжении всей своей многовековой истории евреи узнавали о том, что они евреи, отнюдь не только от «окружающих наций».

Но этот ошибочный ответ возник не на пустом месте. Кое-какие основания именно для такого ответа у Самуила имелись.

Основанием для этого был, я думаю, опыт его общения (а вернее, опыт общения автора романа «Сандро из Чегема») с советскими евреями.

В поэме Маргариты Алигер «Твоя победа», написанной вскоре после войны и повествующей о событиях военного времени, есть такой эпизод:

*Стоя у печи и руки грея,
Древнюю рассучивая нить,
Мать моя сказала:
Мы — евреи.
Как ты смела это позабыть?*

Героиня в ответ на этот суровый вопрос раздражается бурным монологом:

*Да, я смела! Понимаешь, смела!
Было лучезарно все вокруг...*

Ну, и так далее. Дальше можно и не цитировать. Смысл этого ответа целиком и полностью сводится к тому, что, поскольку вокруг все было лучезарно, то есть поскольку никто ей про ее еврейство со стороны («от окружающих наций») не напоминал, то и она имела решительно все основания об этом своем еврействе не вспоминать тоже.

Не станем выяснять, действительно ли так уж лучезарно было все вокруг до войны с нацистами или героине поэмы Маргариты Алигер это только казалось. Достаточно только отметить, что это ее сознание в основе своей было глубоко советским. В своем бурном патетическом монологе поэтесса, в сущности, выразила хорошо нам знакомое мироощущение жителя «страны Гайдара».

— Но позвольте! — предвижу я вопрос. — Разве не так же ощущали, осознавали себя и немецкие евреи, давно уже привыкшие считать себя немцами и вдруг накрытые зловонной волной нацизма? И разве капитан французского генерального штаба Альфред Дрейфус не мог бы с тем же основанием и с той же искренностью воскликнуть, что до того, как обрушилось на него живое обвинение в шпионаже, «было лучезарно все вокруг»?

В самом деле! Разве еврей, привыкший считать язык и культуру страны, в которой он живет, своими, — такая уж новость в многовековой истории еврейского рассеяния? Мало разве было таких, ассимилировавшихся евреев — и в Испании, и в Голландии, и во Франции, и в той же Германии?

Да, конечно, капитан Дрейфус до случившегося с ним несчастья (да и после этого, вероятно, тоже) считал себя настоящим французом. Мало того! Он был убежденным шовинистом, ярким французским патриотом¹.

О самочувствии и самосознании прочно ассимилированных немецких евреев в пору прихода к власти Гитлера очень ясное представление дает роман Лиона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм», написанный по горячим следам событий, — в апреле-сентябре 1933 года. (Позже автор изменил фамилию главных героев этой книги: роман стал называться «Семья Опперман». Вероятно, у него были для этого причины. Но я буду называть героев этого романа так, как привык: Оппенгеймами).

Юному Бертольду Оппенгейму, покончившему с собой из-за того, что новый учитель гимназии — фанатичный нацист — сбвинул его в «антипатриотизме», до наступления нацистской эры, вероятно, даже и в голову не приходило, что в его родной Германии могут найтись люди, в чьих глазах он окажется не совсем настоящим, не совсем полноценным немцем. Но, отравленный ядом брошенных ему учителем-нацистом обвинений, теперь он подозревает в этом даже родного брата своей матери.

Иоахим Ранцов нервничал, терял терпение...

— Боже мой, — сказал он с несвойственным ему легкомыслием. — Неужели у тебя нет других забот? И какое тебе в конце концов дело до Германа Херуска?

Но тут же пожалел о сказанном, Бертольд побледнел еще сильнее, схватил рюмку, неловко опрокинул ее в рот, поставил на стол. Схватил снова и допил все до последней капли. Только теперь Ранцов заметил, какой больной, измученный вид у мальчика.

— Но тебе-то, дядя Иоахим, есть до него дело? — Губы у него горько сжались, он посмотрел на Ранцова запальчиво, осуждающе...

— Ты думаешь, — что мне нет дела до Германа, потому что во мне течет еврейская кровь? Ведь ты это хотел сказать, правда?

¹ «Сам Альфред Дрейфус был тем, что называется на жаргоне военного училища Сен-Сира «фенамили» — ревностный служака, «зубрила», «ученый сверхофицер», преисполненный собственного превосходства и презрения к шпицам. Этого эльзасского еврея распирала самые ура-патриотические чувства... «Проработать всю жизнь для единственной цели — отомстить подлому захватчику, отобравшему у нас наш милый Эльзас!..». Те обстоятельство, что антимилитаристам приходится защищать такого прирожденного противника, а милитаристам — обвинять того, кто (если отбросить национальный признак) является их единомышленником, представляет одну из самых горьких шуток этой истории». (Арман Лану. «Здравствуйте, Эмиль Золя!», М., 1966.).

— Не мели вздора, — не на шутку рассердился Ранцов. — Выпей лучше еще рюмку...

Бертольд пожал плечами.

— Ты, конечно, прав, дядя: ты не обязан отчитываться передо мной.

В его голосе прозвучала такая боль и такое ожесточение, что Иоахим Ранцов, забыв о собственных трудностях, принялся горячо успокаивать племянника, которого любил.

Ситуация как будто совершенно та же, в какой оказались советские евреи, давно уже не вспоминаявшие про свое еврейство, напроць о нем забывшие («Да, я смела, понимаешь? Смела!..») и вдруг столкнувшиеся с этим обвалом анкет (национальность отца, национальность матери), с антисемитами-профессорами, обрушивающими всю свою эрудицию на юного абитуриента, чтобы не дать ему поступить на какой-нибудь там физтех или мехмат. Точь-в-точь как Бертольд Оппенгейм, они вдруг словно очнулись от сладкого сна. Очнулись — и оказались в совершенно ином мире, разительно, чудовищно отличающемся от того, в каком они жили с рожденья.

Да, сходство есть, и немалое. Это трудно было бы отрицать.

Трагическое столкновение выросших выходцев из «страны Гайдара» с нарождающимся русским фашизмом, казалось бы, просто повторило за десять — пятнадцать лет до того описанную Фейхтвангером трагедию юного Бертольда Оппенгейма.

Но было в драматической судьбе советских евреев и нечто иное, совсем новое. Такое, с чем их предки за всю историю своего рассеяния не сталкивались еще ни разу.

Казалось бы, за тысячи лет своего существования еврейская диаспора испытала все, что только может вместить человеческое воображение. Но, — как ни дико это звучит, — я все-таки осмеливаюсь утверждать, что такого она еще не знала.

Полная, даже абсолютная языковая и культурная ассимиляция вовсе не мешала европейским евреям — не только в далеком прошлом, но и в XIX и даже в XX веке — ощущать и осознавать себя евреями.

Оппенгеймы поселились в Германии с незапамятных времен... Прадед нынешних Оппенгеймов переселился из баварского города Вюрт в Берлин. Дед — Эммануил Оппенгейм — в 1870-1871 годах занимался крупными поставками для действовавшей во Франции германской армии. В грамоте, висящей ныне под стеклом в главной конторе Торгового дома, немногоречивый

фельдмаршал Мольтке засвидетельствовал заслуги господина Оппенгейма перед германской армией...

Не следует думать, что внуки Эммануила Оппенгейма застеклили письмо фельдмаршала Мольтке и повесили его в главной конторе своего Торгового дома как некую «охранную грамоту» на какой-нибудь крайний случай. Я думаю, им даже в голову не пришло бы рассматривать эту грамоту как документ, удостоверяющий их германский патриотизм, ни тем более — как свидетельство давности их немецкой укорененности. Ни о каком таком крайнем случае они даже и не помышляли, а их немецкая укорененность вовсе не представляется им нуждающейся в каких-либо подтверждениях и доказательствах. Грамота, подписанная фельдмаршалом Мольтке, — это просто семейная реликвия, которая дорога им сама по себе. Она дорога им как истинным немцам и искренним германским патриотам.

Но то обстоятельство, что они искренне считают себя настоящими немцами ни в малейшей степени не входит в противоречие с тем несомненным фактом, что они — евреи.

Жак Лавендель вынул опреснок из старинной серебряной многоярусной вазы и разломил его надвое. Он откинулся на атласную подушку с вышитыми на ней золотом древнееврейскими письменами. Хриплым голосом читал он нараспев по-арамейски: «Это хлеб изгнания, который ели отцы наши в Египте. Голодный да придет и ест с нами. Жаждающий да придет и празднует с нами праздник пасхи...». Потом он повернулся к сыну и сказал:

— Ну, Генрих, теперь твоя очередь.

И Генрих, так же нараспев, прочел древние вопросы, которые задает в этот вечер самый младший из сидящих за столом. «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?». Все думали о Бертольде: будь он жив, он читал бы теперь эти вопросы, так как он был моложе Генриха.

Это был вечер 11 апреля, или 14 нисана по еврейскому исчислению, первый пасхальный вечер, седер. С незапамятных времен эта ночь священна для евреев, они отмечают ее домашним богослужением и ритуальным ужином... Иоахим Ранцов и Лизелотта тоже присутствовали. Все сидели вокруг большого, празднично сервированного стола... На столе стояла старинная многоярусная серебряная ваза для опресноков. Серебряные кубки с вином, один — большой, нетронутый, для Ильи-пророка, предтечи Мессии, если он, как следовало надеяться, посетит в пасхальную ночь этот дом...

Покончивший с собой Бертольд Оппенгейм — немец не только по духу, но отчасти и по крови: мать его Лизелотта даже по изверским Нюрнбергским законам считалась бы чистокровной арийкой. В современном Израиле Бертольд даже и не был бы признан евреем, ибо по тамошним законам евреем считается только тот, кто рожден еврейской матерью. Но, будь он жив, Бертольд тоже участвовал бы в этом ритуальном празднестве. И именно он, как самый младший в семье, задавал бы старшему традиционные четыре вопроса.

Вполне естественным, судя по всему, представляется всем участникам этой традиционной еврейской литургии присутствие на ней не только Лизелотты Оппенгейм, урожденной Ранцов, но и ее брата — Иоахима. И сам Иоахим Ранцов тоже, как видно, вовсе не считает для себя зазорным участие в этой религиозной еврейской праздничной трапезе.

Из всего этого следует, что немецкий (европейский) еврей, как бы глубоко и прочно он ни был ассимилирован культурой того народа, частицей которого искренне привык себя считать, в то же время никогда не переставал сознавать и ощущать себя евреем.

В России после революции 1917 года сложилась совершенно иная ситуация.

Возникла иллюзия, что великая русская революция откроет новую эру в истории человечества, навсегда покончив с такими «пережитками проклятого прошлого», как Бог, Царь, Отечество, Семья, Частная собственность, Государство, Религия, Нация — и так далее, и тому подобное.

Русские евреи увидели для себя в Октябрьской революции некий уникальный шанс навсегда покончить с проклятым еврейским вопросом не потому, что революция эта уравнила евреев в правах с представителями «коренной» нации (такое случалось и раньше чуть ли не во всех европейских странах). Уникальность этой революции состояла в том, что она упразднила саму идею нации.

Именно в этом и состояло окончательное решение еврейского вопроса в России. В чем другом, но в этом нас не обманули. В отличие от всех других, это свое обещание русская революция выполнила.

Но — возникает вопрос — ведь обещание это было дано не только евреям. Русским, латышам, грузинам, калмыкам, татарам — всем народам, населявшим территорию бывшей Российской империи, тоже было объявлено, что пролетарии не имеют отечества. И нельзя же всерьез утверждать, что по-настоящему поверили в это только евреи.

Нет, конечно. Поверили многие. Но у представителей всех других народов, населявших Российскую империю, отечество было. А у евреев его давно уже не было. Приняв, вобрав в свою душу эту чеканную формулу, они ничего не потеряли. Не в пример пролетариям других наций, им тут и в самом деле нечего было терять.

Роковую роль тут сыграло то отличие евреев от других наций и народов, которое так поразило простодушных чегемцев в романе Фазиля Искандера:

— Ты нам объясни, Самуил, где находится родина вашего народа?

— Наша родина там, где мы живем, — отвечал Самуил.

— Уважаемый Самуил, — сказали ему чегемцы, — ты наш гость, но мы должны поправить твою ошибку. Родина не может быть в любом месте, где человек живет. Родина — это такое место, по нашим понятиям, где люди племени твоего сидят на земле и добывают свой хлеб через землю...

— У-у, — промолвил тогда Самуил (так рассказывают чегемцы) и закачался, сидя на стуле, — такая родина у нас была, но у нас ее отняли.

Все народы, населяющие нашу распавшуюся империю, независимо от того, утратили или сохранили они веру своих отцов, когда утверждение, гласящее, что пролетарии не имеют отечества, обнаружило свою несостоятельность, очнувшись от этого сна все-таки на своей земле. Евреи же, отказавшись от отцов, обрубив последнюю нить, связывавшую их с еврейством.

К Троцкому однажды явилась депутация киевских раввинов с просьбой защитить их от местных властей, вознамерившихся закрыть главную городскую синагогу. Просители явно рассчитывали на то, что у своего соплеменника Троцкого они скорее найдут сочувствие, чем, скажем, у грузина Сталина или русского Калинина. Но Лев Давыдович вылил на них ушат холодной воды.

— Я не еврей, — резко сказал он. — Я интернационалист.

В этом ответе — не в резкости его, а в самом, что ли, грамматическом построении этой фразы — выразилась, как мне кажется, самая суть того выбора, который сделали в 1917 году русские евреи, принявшие Октябрьскую революцию.

По нынешним нашим понятиям, ответ Троцкого не только излишне запальчив, но даже как бы и не совсем логичен.

Ведь можно же быть интернационалистом, оставаясь при этом русским, украинцем, грузином, армянином, латышом. Так почему

же нельзя быть интернационалистом, оставаясь в то же время евреем?

А вот — нельзя. Потому что нельзя принять новую веру, не отрекшись от старой. Нельзя исповедовать одновременно две религии.

При всей своей кажущейся нелогичности, ответ Троцкого был внутренне глубоко логичен. Он означал, что, принимая новую (интернационалистскую) веру, еврей должен отречься от своего еврейства. Он должен перестать быть евреем.

Но что же все-таки это такое — быть евреем?

4. СОВЕТСКИЙ ЕВРЕЙ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

Что же все-таки это такое — быть евреем?

Пытаясь ответить на этот сакраментальный вопрос, Марин Бубер (в статье «Еврейство и евреи», 1911 год) приводит слова некоего, увы, неведомого мне, Морица Геймана, который, оказываясь, сказал по этому поводу следующее:

То, что еврей, занесенный на необитаемый, непосещаемый остров, представляет себе как еврейский вопрос, — только это и есть еврейский вопрос.

Предполагается, очевидно, что еврей, оказавшийся на необитаемом и непосещаемом острове, узнает (если узнает!) о том, что он еврей, не «от окружающих наций».

Во всяком случае, там он уж точно не услышит того, что в обитаемом мире ему приходилось слышать постоянно:

*Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют.
Евреи рано лысеют,
Евреи много воруют...
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»*

(Борис Слуцкий)

От всего этого, пожалуй, и в самом деле можно спрятаться только на необитаемом острове. И если только это считать еврейским вопросом, придется признать, что смысл

процитированной Бубером реплики Морица Геймана целиком и полностью сводится к уже известной нам формуле: «Евреи есть, а вопроса нету».

Но и Мориц Гейман, и цитирующий его Мартин Бубер, судя по всему, уверены, что и на необитаемом острове этот проклятый вопрос останется. Более того: они убеждены, что только там он наконец обретет свой истинный смысл.

Именно там, на необитаемом и никем не посещаемом острове, освободившись от необходимости стесняться своего еврейства, отречься от него («отъевреиваться», как говорит современная молодежь), равно как и от противоположного комплекса, проявляющегося в стремлении подчеркивать свою кровную («не той кровью, что течет в жилах, а той, что течет из жил», — по знаменитой формуле Тувима) связь с преследуемым, истребляемым народом, — только там, оставшись наедине с собой, еврей сможет докопаться до своей еврейской сути. Иными словами, только на необитаемом острове пресловутый еврейский вопрос предстанет перед ним как вопрос сугубо метафизический, экзистенциальный.

В обитаемом мире слова «ты еврей» могли звучать по-разному. Вовсе необязательно они несли в себе обвинение в принадлежности к тем, о ком доподлинно известно, что они «хлеба не сеют», «много воруют» и «плохо воюют».

Это могло звучать, например, так:

— Ты еврей, но это ничего не значит. Евреи тоже люди. И ты ничем не хуже нас. Ты — такой же, как мы.

Или так:

— Нет, нет! Ты не хуже нас! Ни в коем случае не хуже. Может быть, даже лучше. Но ты — не такой как мы. Ты — другой.

Не знаю, как реагировали бы на это евреи, которым посчастливилось родиться в странах, где их, как сказано у Бабеля, окружали свежий воздух и сплошные французы, но мне, выросшему в «стране Гайдара», эти филосемитские заверения были так же неприятны, как и откровенно антисемитские. Филосемиты были для меня лишь разновидностью антисемитов. Мне казалось, что человек, сталкиваясь с другим человеком, вообще не должен думать о том, еврей ли тот, или, скажем, патагонец. А тот, для кого это имеет значение, — невольно обнаруживает тем самым некоторую свою человеческую ущербность.

И вот мне говорят, что это не только не ущербность, но, напротив, более высокая ступень духовного самопознания, чем та, к которой я привык. Привычное «ты еврей!» обрело еще один, новый смысл. Теперь это звучит так:

— Ты еврей! Да, ты не такой, как другие. И именно это и есть — твоя сущность, самое главное в тебе. Только осознав себя евреем,

ты можешь познать себя. И только ощутив себя евреем, ты можешь быть человеком.

Мартин Бубер предлагает мне ощутить себя частью бесконечной, уходящей в глубь времен истории еврейского народа:

Эти люди там, вдалеке, эти жалкие согбенные, крадущиеся люди, бредущие от села к селу, не ведающие, как и чем они будут жить завтра, эти неторопливые, почти оглушенные толпы, погружающиеся на суда, не зная куда и зачем — всех их мы ощущаем не просто как своих сестер и братьев, но каждый из нас, утвердившись в самом себе, почувствует: эти люди — часть меня самого. Я не сострадаю им, я стражду сам. Не моя душа принадлежит народу, но мой народ — моя душа.

Изо всех сил пытаюсь я последовать этому совету, но — ничего не выходит! Никакого, даже самого слабого отклика не рождает в моей душе эта, нарисованная Бубером, картина.

В обитаемом мире, я, быть может, и сумел бы ощутить свою общность с этими «неповоротливыми, почти оглушенными толпами». Но это было бы ответом, реакцией на нравственную невозможность отречения от своей принадлежности к ним. А здесь, на необитаемом острове, где отвечать некому — здесь, наедине с собой — зачем мне притворяться?

Нет, пожалуй, сказав, что «эти неповоротливые, почти оглушенные толпы, погружающиеся на суда, не зная куда и зачем» не родили в моей душе ни малейшего отклика, я все-таки слегка погрешил против истины. Все-таки в моей душе что-то дрогнуло, едва только я стал различать в этой безликой толпе знакомые лица.

Маленький Мотл... Старый Тевье... Менахем Мендл... Сказать, что эти люди мне не чужие, — это значило бы сказать слишком мало. С каждым из них меня связывает безусловное, несомненное чувство родства.

Но — нет... Это — другое. Ведь такое же чувство родства связывает меня и с Томом Сойером, и с диккенсовским мистером Пиквиком, и с Пьером Безуховым... И разве только с ними? Разве под силу мне перечислить всех героев книг, прочитанных мною в детстве, чей индивидуальный опыт вошел в мое сознание, как часть моего собственного опыта и стал как бы частью моего «я»?

Нет, пожалуй, то чувство родства, которое связывает меня с героями Шолом-Алейхема, или, скажем, Фейхтвангера, к моему еврейству никакого отношения не имеет.

Означает ли это, что, оказавшись на необитаемом острове, наедине с собой, я даже и не вспомнил бы о том, что я — еврей?

Ей-Богу, не знаю.

Может быть, и права была моя принявшая православие подруга Зоя Крахмальникова, сказавшая мне однажды:

— Твоя беда в том, что ты — не еврей, не христианин, не коммунист. Ты — никто.

Может быть, я и в самом деле — урод? Что-то вроде ибсеновского Пера Гюнта, которого надо отправить на переплавку к Пуговичнику?

От всех этих мыслей я несколько приуныл. Не потому что поверил, что быть евреем или христианином, или коммунистом — лучше, чем быть никем, а потому что усомнился в своем праве быть экспертом в оценке национальных чувств даже тех евреев, которые родились и жили в «стране Гайдара».

«Черт его знает! — подумал я. — Может быть, даже и среди них я тоже — белая ворона? Какое же тогда право я имею говорить от их имени?».

Не знаю, как долго терзался бы я этими сомнениями и к какому бы решению в конце концов пришел, но тут — хотите верьте, хотите нет — прямо как в анекдоте («... тут у меня в кустах случайно оказался рояль»), этот проклятый вопрос разрешился появлением почтальона со свежим номером газеты «Московские новости».

На постгазетной газетной полосе, из номера в номер повторяющей три традиционные рубрики («В мире», «В стране», «Во мне»), под рубрикой «Во мне» сразу бросилась мне в глаза статья Юрия Карабчиевского, скромно озаглавленная — «История с географией».

О том, какую географию имел в виду автор, говорили стоящие под статьей названия двух городов: «Иерусалим — Москва».

А история была такая.

Шел он (Юрий Карабчиевский) однажды мимо Кремля и живо представил себе, как с этих вот зубчатых стен (или других, белокаменных, а может быть даже и деревянных) «льют смолу-кипяток на татарско-печенежских захватчиков наши добрые в красных кафтанах молодцы». И вдруг он с необыкновенной остротой почувствовал...

Я почувствовал, что столь важное для меня понятие "Россия" ограничено для меня и временем, и системой знаков, и вот эти лившие кипяток и смолу явно не мои — чужие предки, и не чувствую я по отношению к ним никакого сродства, ни особой жалости, ни особой гордости. Они мне не ближе, и важны и интересны не более, чем какие-нибудь саксы, защищавшие Англию от десанта норманнов.

А потом он попал на другую свою, как принято говорить в таких случаях, историческую родину.

Целый год я жил в удивительной, ни на что не похожей стране, где никто не мог сказать: «Давай проваливай, это все не твое, это все — наше!», а напротив, все наперебой говорили: «Оставайся, приезжай насовсем, это — твое!». «А как же предки?» — «Ну, с этим здесь полный порядок». И показывали мне развалины крепости, где наши будто бы общие с ними предки почти две тысячи лет назад три года защищались от римских захватчиков. Скала в шестьсот метров в длину, пятьсот в высоту, три часа подниматься, если пешком, целый час спускаться. Девятьсот человек моих предков — против скольких-то там десятков тысяч осаждавших и нападавших. И когда стало ясно, что те все равно их захватят и распнут мужчин на крестах, и детей отдадут в рабство, а женщин — солдатам, они разделились на десятки и бросили жребий, и кому выпало — тот заколол остальных, а потом оставшиеся сделали так же, и последний сам покончил с собой...

И я стоял на огромной скале и живо представлял себе тех людей, героически убивавших своих детей и родителей, и грешно сказать, но и к ним тоже не чувствовал никакого сродства и не верил, что они хоть в каких-то чертах могут иметь ко мне отношение.

Тут очень важно отметить, что Юрий Карабчиевский ощущал себя евреем в гораздо большей степени, чем многие его советские соплеменники. Во всяком случае, в неизмеримо большей степени, чем аз многогрешный. (Сужу об этом по его автобиографической прозе.) И вот оказалось, что в нем произошло точь-в-точь то же самое, что и во мне.

Поздно мне менять принадлежность, вот так вдруг ее не почувствуешь. И вообще нет ее у меня ни в каком отдаленном прошлом, нет у меня родословной и уже не появится. А самое главное — мне ее не надо, даром будут давать — не возьму. Не свои мне ни дружинники в кольчугах, стрельцы в кафтанах, ни те полуголые мужики с ножами-кинжалами, никто мне из них не друг и никто не родственник. Вся моя принадлежность — лишь в настоящем и ближайшем прошлом. И если сейчас она распадется, растворится во всеобщем российском хаосе, то и останусь я, значит, один, вне истории и географии.

Выходит не такая уж я белая ворона.

Впрочем, я все-таки не стану утверждать, что все мои советские соплеменники думают и чувствуют, ощущают и осознают себя так же. Некоторые из них мучительно, иступленно пытаются ощутить свою связь с «дружинниками в кольчугах и стрельцами в кафтанах». Приняв православие, они готовы даже принять мученический венец, пострадать за свою новую веру. А некоторые так даже готовы страдать вдвойне — как преследуемые советской властью верующие христиане и как евреи, призванные искупить вину своего народа перед Россией. («Чего стоит ручеек еврейской крови в сравнении с океанами русской крови, пролитой евреями», — говорится по этому поводу в романе новообращенного Феликса Светова — во девичестве Фридлянда — «Отверзи ми двери».)

Другие, напротив, так же мучительно и так же иступленно стараются утвердить свою кровную связь с еврейством. Отращивают пейсы, строго блюдут субботу и, к вящему ужасу своих родителей, выросших в «стране Гайдара», тщательно следят, чтобы молоко (Боже упаси!) не кипятилось в той же кастрюльке, в какой варился мясной бульон.

Меня так и подмывает задать этим моим соплеменникам (или даже не им, себе) простой вопрос: интересно, стали бы они проделывать все эти штуки, оказавшись на необитаемом острове?

Вопрос этот, конечно, таит в себе малую толику иронии. Но ирония эта отнюдь не является моим личным достоянием. Да и сам вопрос, заранее предполагающий вполне определенный ответ, как говорится, носится в воздухе. Свидетельство тому — такой анекдот.

Анекдот (опять у меня тут в кустах рояль!) как раз на нашу тему: о еврее на необитаемом острове.

Близ острова затонул корабль, вся команда которого и все пассажиры погибли. Спаслась только единственная пассажирка — прелестная юная дама. Встретившись с новоявленным Робинзоном, она спрашивает его, сколько времени он провел на своем острове в полном одиночестве. Тот отвечает:

— Двадцать лет.

— Ну что ж, — лукаво объявляет ему прелестница. — Сегодня вы, наконец, получите то, о чем мечтали все эти двадцать лет.

— Боже мой! — дрожа от восторга, восклицает наш новый Робинзон. — Неужели вы догадались захватить с собой мацу?

Вряд ли стоит ломиться в открытую дверь, доказывая, что сочинили этот анекдот, разумеется, сами же евреи.

И тем не менее я не хочу подвергать сомнению ни искренность тех советских евреев, которые ударились в

православие, ни столь же безусловную искренность тех, кто решил обратиться к иудаизму.

Но каким искренним ни было бы это их обращение, одно для меня несомненно: они тоже обломки великой катастрофы. Такие же беженцы из «страны Гайдара», случайно уцелевшие после крушения этой новой Атлантиды, как и те, кто не в силах ощутить ни свое родство со стрельцами в красных кафтанах, ни с героическими защитниками древней крепости Масада.

Все мы — жертвы гигантского провалившегося эксперимента, который был начат в нашей стране в октябре 1917 года и последствия которого будут расхлебывать (уже расхлебывают!) не только дети наши, но и внуки.

Я ЛЮБЛЮ ВАС — И ЖИВЫХ, И МЕРТВЫХ

Есть в Иерусалиме скромный памятник — каменный обелиск в тенистом скверике, а на камне имена. Каждый раз, когда я приезжаю в Израиль, я прихожу сюда, кладу цветы к подножью обелиска и подолгу сижу возле него на скамейке. Над Иерусалимом синее-синее небо, в сквере играют дети, молодые мамы заботливо склоняются над колясками. Какие красивые, какие нарядные дети в Израиле, какие приветливые! Глядя на них, трудно поверить, что может быть зло на земле. А ведь именно о зле, жестокости и вопиющей несправедливости безмолвно свидетельствуют имена, начертанные на камне. Имена деятелей культуры, литературы, науки, безжалостно уничтоженных в сталинских застенках.

Я перебираю мысленно эти имена, и память возвращает меня в далекие годы моей юности. Как благодарна я судьбе, что мне пришлось многих из них видеть и слышать!

Разве забудется то волнение, с которым торопились мы по вечерам на Бронную в Еврейский театр, чтобы насладиться игрой великих артистов Михоэлса и Зускина? И пусть мы не знали языка, на котором шли спектакли, но артисты своей неповторимой игрой ломали языковые преграды, и разноязыкий зал замирал в едином порыве благодарности и восхищения, и, казалось, ничто не может нарушить этого единства — ведь каждый спектакль был событием не только в еврейской культуре, но и событием культуры русской. Впрочем, тогда мы не думали об этом, просто наслаждались высоким искусством. Кто мог тогда себе представить, что не пройдет и десяти лет, как мы снова придем в этот зал, ныне уже скорбный и траурный, чтобы проводить в последний путь великого

Михоэлса. А ведь еще совсем недавно на этой сцене шел прекрасный спектакль «Фрейлахс», и в финале его звучали музыка и пение, кружились в танце артисты, и зал стоя пел вместе с ними. Этот спектакль, поставленный после войны, утверждал победу добра над злом — злом германского фашизма. А теперь не пение, нет, сдержанные рыдания и стенания наполняли зал. Тьма снова заволакивала землю, теперь уже нашу землю, но мы тогда еще не подозревали о масштабах трагедии, надвигавшейся на нас...

А сколько незабываемых часов было проведено над книгами Давида Бергельсона! В 1941 году был впервые переведен на русский язык его роман «После всего», написанный еще в 1913 году и рассказывающий о трагедии интеллигенции, ищущей выхода, понимающей, что в современных ей условиях она обречена на угасание. Это философский роман, и мы, тогда очень молодые и не знавшие даже имен Бердяева, Федорова, Розанова и других философов двадцатого века, находили в нем то, что так необходимо молодости: серьезный и глубокий анализ исторических событий, размышления о чести и достоинстве человека. Впоследствии, читая роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», я порой ловила себя на том, что многое в нем мне словно бы знакомо, и понимала, что его волнуют те же проблемы, стоявшие перед интеллигентией в переломные моменты истории, что в свое время волновали Давида Бергельсона. Да и роман Бергельсона «На Днестре», рассказывающий о событиях начала века, вызывал большой интерес сочетанием бытовых точных деталей с глубоким психологизмом характеров и неповторимым мягким юмором. Все это создавало живую и достоверную картину общественной жизни еврейского общества предреволюционных лет.

Тогда я еще не была знакома с Давидом Рафаиловичем и даже никогда не видела его. Но в годы войны моя близкая подруга еще со школьных лет Ная Островер вышла замуж за сына Бергельсона, и мне пришлось побывать у них в доме. Помню с каким волнением нажимала я кнопку звонка, понимая, что сейчас смогу наконец увидеть писателя, книги которого знала и любила, о которых мы так много спорили в нашей молодой компании. Он представлялся мне высоким, красивым, барственным. Каково же было мое удивление, когда Давид Рафаилович сам открыл мне дверь, — невысокого роста, лысоватый, в какой-то домашней курточке и мягких туфлях. От волнения я что-то пробормотала о том, как благодарна ему за его книги, он ласково улыбнулся, пожал мне руку и проводил в комнату, где жила семья его сына. Потом я видела его не раз, мы разговаривали и, казалось бы, что ему было до сужде-

ний молоденькой женщины, еще почти девчонки, но он слушал меня внимательно и так же внимательно отвечал или возражал.

И вдруг страшная весть: арестованы еврейские писатели и среди них Давид Бергельсон. Чудовищно! Эту весть привез нам Арон Кушнеров.

Мне вспоминается мглистое, зимнее седое утро. Телефонный звонок. Мой муж, писатель Юрий Либединский, снимает трубку и говорит мне:

— Сегодня вечером к нам придет Ароша Кушнеров.

Невысокий, быстрый в движениях, с небольшими, очень черными, без зрачков, глазами, Арон Кушнеров перевел на идиш почти всю советскую литературу и в том числе первую повесть Юрия Либединского «Неделя». Он изучил старославянский язык и с подлинника перевел «Слово о полку Игореве». Участник первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер (!), Арон Кушнеров участвовал в знаменитых штыковых атаках, которыми сибирские полки наводили ужас на немцев. За храбрость он был произведен в ефрейторы. Это еврей в царской-то армии!

Летом 1941 года он был командиром третьего взвода в ополченской Краснопресненской дивизии, где Либединский служил рядовым.

В тот вечер Кушнеров был невесел. Чтобы развлечь его, Юрий Николаевич вспоминает, как, приняв отделение, Арон Яковлевич стал заниматься с бойцами строем и материальной частью винтовки, а молоденькие лейтенанты иногда поправляли его.

— В старой армии нас так учили, — смущенно оправдывается Арон Яковлевич. — А с тобой тоже хлопот много было. Не успеешь оглянуться, а ты уже лопату перевернул и пишешь, положив на нее лист бумаги. Что ты писал тогда?

— «Ополченцы в походе». И о тебе там написал...

Но, отшучиваясь и поддерживая разговор, Арон Яковлевич явно думает о другом.

— Юрий, — говорит он, воспользовавшись кратким молчанием, воцарившимся за столом, — неужели предательство? Не может быть! Я знаю их всех, всех! Они называли Россию матерью, они отдавали ей все — любовь, творчество, детей (у Арона Кушнерова погибли на фронте два сына!). — За что? Кому это нужно? Галкин, Маркиш, Квитко, Бергельсон... Мы с Давидом живем в одном доме. Каждое утро я иду к нему на квартиру, сажусь на стул возле двери его опечатанного кабинета и сижу так несколько часов. И плачу... И все надеюсь: сейчас подниму глаза и нет на двери этих проклятых сургучных печатей, и она открыта, а там, возле окна за столом Давид... Такой писатель!.. Кому это нужно? — растерянно повторяет он.

Молчание. Опять те же вопросы, что и в тридцать седьмом году. Только что окончилась война. Люди доказали свою преданность стране. За что это недоверие?

Опустив глаза и перебирая бахрому на скатерти, Юрий Николаевич говорит медленно, с трудом произнося слова:

— Что делать, Ароша, не знаю есть ли правда выше, но на земле она существует. Только жить надо долго, чтобы увидеть ее торжество. Постараемся дожить...

Арон Яковлевич смотрит на него увлажненными глазами:

— Дай Бог, дай Бог... — говорит он очень по-крестьянски и поднимается.

— Погоди, — говорит Юрий Николаевич, — у меня книга вышла, вот...

Арон Яковлевич бережно вертит в руках книгу.

— Дай, я надпишу тебе...

Во взгляде Кушнерова грустное удивление.

— Ты хочешь подарить ее мне?

— Ну конечно.

— А если...

Юрий Николаевич не дает ему договорить:

— В сорок первом под Смоленском не боялись.

Они обнимаются крепко, быстро, по-мужски.

Имени Арона Кушнерова нет на памятнике в Иерусалиме. Он не был арестован и умер в своей постели. Не успели — жестокий рак сглотал этого мужественного человека. Но я всегда вспоминаю его, сидя в тенистом сквере...

В 1950 году мы переехали в дом на Лаврушенском и получилось так, что моя дочка Тата и внучка Бергельсона Мариша оказались в одном классе и очень сдружились. После занятий они вместе гуляли, играли, готовили уроки. Но вот зимой 1952 года я заметила, что Мариши уже несколько дней не видно у нас и спросила об этом дочку.

— У Мариши дифтерит, — ответила она. — Ей еще долго нельзя будет ходить в школу, карантин.

И вот, в одно далеко не прекрасное утро по дому поползли слухи, что ночью была арестована вся семья Бергельсона, — его жена, сын, невестка и девятилетняя внучка. Я кинулась к Островерам, родителям Наи, которые жили отдельно, вдвоем, после гибели на фронте единственного сына.

Рита Яковлевна Островер рассказала мне, что присутствовала при аресте, в эти дни она ночевала у Бергельсонов, ухаживая за больной внучкой. Она в буквальном смысле слова валялась в ногах у гебешников, умоляя, чтобы ей оставили больную девочку, но из-

верги были непреклонны: Маришу увезли, поместили в пересыльную тюремную больницу и, дождавшись пока ей стало немного лучше, вместе с родителями отправили по этапу на Север.

— Но я добьюсь, — рыдая говорила Рита Яковлевна, — они отдадут мне Маришу...

И она добилась. Съездила в ссылку к детям и привезла внучку в Москву. И теперь разглядывая детские фотографии, я всегда радуюсь, увидев на некоторых из них, рядом с моими детьми улыбающееся маришино личико, она снова стала часто бывать у нас.

С того страшного дня прошло сорок лет. Мариша с семьей живет в Америке, нет на свете стариков Островеров и Бергельсонов, Ная и Лева Бергельсоны с младшей дочерью, родившейся в ссылке, переехали в Израиль. Дорогие мои, я люблю вас и живых, и мертвых, и да будет ниспослано счастье живым и вечная память мертвым...

...Солнце в сквере припекало все сильнее, я пересела на другую скамейку и вдруг поймала себя на том, что это ощущение солнечного тепла на лице и руках напоминает мне о чем-то давнем и светлом. И тотчас из глубины памяти возникло еще одно воспоминание, — видно душа была настроена на воспоминательный лад...

Летом 1937 года мама отправила меня в пионерский лагерь для писательских детей в Крым, в Коктебель. Впервые увидела я морскую синюю ширь, серые скалы, белый волошинский дом на пустынном берегу. Впервые вдохнула настоящий на чебреце и мяте коктебельский воздух, собирала пестрые камешки, сидела вечерами на мокром песке, слушающая дыхание прибора. И все-таки я скучала по Москве — ведь я первый раз в жизни уехала одна из дома. Потому, признаюсь честно, я очень позавидовала Миле Галкиной, когда она радостно сообщила мне, что завтра приезжают ее родители.

Вскоре я увидела на пляже красивого, стройного человека с густой шевелюрой темных волос и большими синими (так мне показалось) глазами, отражавшими сразу и море, и небо. Он неторопливо шел по берегу в легком светлом костюме, чуть приподняв голову, глядя куда-то вдаль. Было в его облике что-то неуловимо изящное, благородное и чуть отрешенное, и я невольно подумала: «Настоящий поэт!». И тут Милка, которая рядом со мной блаженно валялась на песке, подставляя спину жаркому солнцу, с веселым возгласом: «А вот мой папа!» — легко вскочила и подбежала к нему. Увидев дочку, Галкин (а это был он!) улыбнулся, обнял ее и, подойдя к нашей компании, опустился рядом на песок. О чем он говорил с дочкой, не помню, помню только, что уже поднявшись и собираясь уходить, он сказал нам:

— Завтра вечером в мастерской Волошина будем читать стихи, Уткин, Алтаузен и я. Приходите, ребята!

— Вечером нас туда не пускают, — сказала Мила.

— Ничего, я составлю вам протекцию! — засмеялся Самуил Залманович.

На следующий день после ужина мы робко направились к волошинскому дому. Вечер был тихий, лунный, серебрилось и дышало море.

— Даже жаль заходить в дом, — сказал Галкин.

И тут же откликнулась Мария Степановна Волошина, встречавшая гостей:

— А зачем в дом, возьмите стулья и рассаживайтесь на палубе. («Палубой» называется небольшая открытая терраса на втором этаже).

Галкин в этот вечер был прекрасен, как, впрочем, всегда. Он читал только стихи о любви — располагала ли к этому тихая южная ночь или такова была душевная потребность поэта, не знаю. Знаю только, что это чтение запомнилось мне навсегда. Читал он на идиш и тут же сам переводил на русский язык. Переводил, конечно, прозой, но так как Галкин свободно владел русским, то ему удавалось донести до русского слушателя не только смысл стихотворения, но и его внутренний настрой, взволнованность, короче — подлинность чувства. Позже мне пришлось читать эти стихи в переводах русских поэтов, они несомненно были хороши, но все же, все же...

И еще одна встреча вспоминается мне. Произошла она почти через двадцать лет — в 1955 году. Николай Заболоцкий, перенесший тяжелый инфаркт миокарда, был направлен в кардиологический санаторий «Болшево». Мы с Юрием Николаевичем Либединским приехали его навестить. Николай Алексеевич был еще слаб, однако встретил нас в парке. Мы прошли по дорожке к санаторному корпусу и, когда расположились в холле, в мягких удобных креслах, Николай Алексеевич сказал:

— Здесь лечится замечательный еврейский поэт Самуил Галкин. Мы с ним подружились, и я даже хочу перевести несколько его стихотворений... Только он очень слаб, у него то и дело повторяются сердечные приступы, и он почти не выходит из комнаты... Он ведь чудом уцелел... — Заболоцкий помрачнел, замолчал, а потом коротко добавил: — Да вы все знаете, — явно не желая касаться этой больной для него темы. Сам он о своих лагерных годах никогда ничего не говорил.

Мы зашли к Галкину. Он лежал в постели, увидев нас, улыбнулся, пожал нам руки. Но разговора не получилось, ему просто физически было трудно разговаривать. Нет нужды говорить, как он изменился, и все равно — лицо его было прекрасно!

Больше я его живым не видела...

Заболоцкий перевел его стихи. Одно из них — «Осенний клен» — он даже включил в сборник собственных стихов с пометой: «из С. Галкина». Единственное стихотворение, из неисчислимого количества стихов разных поэтов, переведенных им. Как же оно было ему близко по духу. И это не случайно, потому что есть в этом стихотворении такие строки:

Когда ж гроза над миром разразится
И ураган,
Они заставят до земли склониться
Твой тонкий стан.
Но даже впад в смертельную истому
От этих мук,
Подобно древу осени простому,
Смолчи, мой друг.
Не забывай, что выпрямится снова,
Не искривлен,
Но умудрен от разума земного
Осенний клен.

Таких людей, как Галкин и Заболоцкий, муки земные искривить не могут, они их умудряют...

Дочь Самуила Галкина — талантливый скульптор, создала замечательный скульптурный портрет отца. Он установлен на могиле поэта в Москве на Новодевичьем кладбище. Вдохновенное лицо горделиво чуть откинута назад, распахнут ворот рубашки, глаза бесстрашно устремлены вдаль, совсем как в те далекие годы, когда я впервые увидела его в Коктебеле...

И еще об одном человеке я не могу не вспомнить. Его любили все — и взрослые, и дети. Не любить его было нельзя, он был как большой ребенок. Лев Квитко. Но не о своих встречах с ним хочу я рассказать, хотя их было несколько и каждую он превращал в праздник своим умом, остроумием, добротой, талантом общения. Мне хочется напомнить об одном его поступке, о котором мы не вправе забывать.

1941 год, август месяц. В Чистополь из Елабуги приехала Марина Цветаева, приехала, чтобы просить о прописке и о месте судомойки в детском интернате. Измученная, затравленная жизнью. Известно, что встретили ее по-разному. Находились и такие, что заученно твердили: эмигрантка, жена и мать арестованных, нет ей места среди советских писателей. И тогда в ее защиту выступил Лев Квитко. Всегда мягкий, уступчивый, на этот раз он

был непреклонен. И добился своего — Марине Цветаевой было разрешено поселиться в Чистополе. И не его вина, что она иначе распорядилась своей жизнью.

Да, многострадальный еврейский народ воспринимает чужую боль как свою и умеет приходить на помощь. В этом году в Иерусалиме в Русском центре состоялся благотворительный вечер в пользу родственников Владимира Галактионовича Короленко. Живут они в Полтаве, в жестокой нужде. Устроители волновались: в тот день в Иерусалиме стояла сорокаградусная жара, да к тому же театр «Гешер» отмечал свой юбилей, на который специально приехали из Москвы известные артисты. Но едва подъехав к Центру, поняли, что опасения были напрасны: улица буквально запружена людьми, сравнительно небольшой зал не мог вместить всех желающих. И когда начался вечер, на сцену полетели конверты с деньгами от тех, кто не смог купить билеты. Люди помнили, как мужественно вел себя Короленко во время процесса Бейлиса, как страстно выступал с осуждением еврейских погромов.

Народ, который помнит добро, — великий народ. Так пусть же он будет счастлив на своей вновь обретенной, трудной и благодатной израильской земле!

ДО И ПОСЛЕ ОСТАШВИЛИ

Чин следовал ему —
Он службу вдруг оставил...

*А.С. Грибоедов
"Горе от ума"*

Конец июля 1994 года. Ровно четыре года назад начался процесс Осташвили, круто повернувший жизнь многих его участников, а также и тех, кто по долгу службы (как, например, автор этих строк) или по велению сердца находился среди зрителей.

Самый большой зал Московского городского суда в первый день был буквально переполнен. Суд честно пытался начать свою работу, но дальше чисто процессуальных формальностей продвинуться не удалось. Попытавшись сначала очистить проходы, в результате очистили весь зал, перенеся заседание на утро следующего дня. Именно в этот, самый первый день, в зале Мосгорсуда можно было увидеть в максимальной концентрации самых известных писателей и общественных деятелей, знаменитых (или ставших знаменитыми после этого процесса) журналистов. И именно в этот день впервые обратил на себя внимание до того мало кому известный судья Андрей Муратов, ставший вторым — после Осташвили, разумеется, — главным героем процесса.

Муратов был в Мосгорсуде, в сущности, новичком. Он пришел сюда лишь весной того же, 1990 года, причем, инициатива принадлежала не ему — его пригласили. Успел провести два дела. Первое — убийство при отягчающих обстоятельствах — помнит хорошо. Помнит и срок — 10 лет, и то, что его приговор был оставлен в силе высшими инстанциями. До этого в Кировском районском суде Москвы одно время исполнял обязанности председателя суда, вел разные дела — о взятках, о нанесении тяж-

ких телесных повреждений сотрудником милиции, о киднапинге. Видимо, вел успешно, раз заметили в городе. Муратов никогда не метался из физиков в лирики и обратно: стать юристом решил еще в школе, после ее окончания работал курьером в бюро главной судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации, потом секретарем в Кировском районсуде. Учился в ВЮЗИ. Окончил институт в 1984 году, но еще до сдачи госэкзаменов был избран народным судьей Кировского районного суда Москвы.

Дело Осташвили было третьим делом Муратова в Московском городском суде. Он сразу понял, что это нечто экстраординарное. Возможно, где-то кем-то и возбуждались дела по теперь уже знаменитой 74-й статье УК (ведь статья-то в законодательстве существовала) но до суда они уж точно не доходили. Процесс Осташвили был первым, возбужденным по факту разжигания национальной розни, дошедшим до суда.

Как кошмарный сон вспоминает Андрей Муратов первый день суда и последний. Первый, потому что суд оказался совершенно не готов к такому количеству народа в зале, не было и соответствующей аппаратуры. Да к тому же, естественно, волновался. Последний... Он читал приговор, нервы были напряжены до предела. Он слышал крики в зале, но всего, что там происходило, видеть не мог, как не мог знать, что его было очень плохо слышно.

А между первым и последним днем процесса прошло без малого три месяца. Июльская духота сменялась грозами, как-то незаметно перешедшими в затяжные осенние дожди. Зал постепенно пустел, уже вполне можно было сушить зонтики в раскрытом виде: зрителей, да и журналистов становилось все меньше. Сначала отсеялись любители «сливок», потом те, у кого кончились летние отпуска. Ушли даже бескомпромиссные в начале процесса общественные защитники подсудимого. Лишь судебная коллегия каждое утро занимала свои места. Потому что для них это была работа. Пусть экстраординарная, но все равно повседневная и тяжелая. В годы смешных застойных льгот можно было бы, по идее, претендовать на молоко «за вредность».

После оглашения приговора кто-то надоумил меня попытаться проникнуть в святая святых, как мне тогда казалось, — комнату судьи и заседателей. И Боги снизошли, и оказались обыкновенными людьми. И Андрей Муратов — сам Андрей Муратов! — ответил на все мои вопросы. В том числе и на такой: «Ощущали ли вы интерес сверху?». Если кто подзабыл, напомню: тогда еще существовал СССР, успешно жили и здравствовали КПСС и КГБ, и слово «сверху» могло означать все, что угодно. За словом же «интерес» совершенно явно скрывалось «давление». Муратов так и ответил: «Я могу лишь предполагать, что такой интерес был. Давле-

ния никто из нас не ощущал — может быть, оно до нас просто не доходило?».

Сегодня Андрей Муратов рассказывает об этом так: «С самого начала процесса председатель Московского городского суда Зоя Корнева очень интересовалась происходящим. Я воспринимал это как желание помочь молодому неопытному судье. Она задавала вопросы, не влияющие на существо дела. На завершающей стадии она ненавязчиво интересовалась моим мнением — и так же ненавязчиво высказывала свое. Ее точка зрения состояла в том, что нет состава преступления по 74-й, а есть и то под вопросом — по 206-й (хулиганство). Однако диалоги с Корневой на мысль о давлении не навели — не было повода думать, что она хочет повлиять на исход дела. Спустя некоторое время мне стало известно, что заместитель Корневой Александр Кузин еще до вынесения приговора вызывал к себе и пытался откровенно накачивать заседателей Юрия Балашова и Андрея Щербакова.

После приговора и решения суда резко изменилось и поведение Корневой. Оказалось, что я не понял ее тонких намеков! Начались мелочные придирки, о которых даже не хочется говорить. Не помню, зачем я зашел к ней в кабинет — и ее прорвало. Она откровенно и прямо сказала, что приговор Осташвили — позор для Мосгорсуда. Возможно, это была эмоциональная реакция на происшедшее буквально накануне разговора самоубийство (или убийство?) Осташвили. После этого разговора все стало предельно ясно — недомолвки, обиды, мелочные придирки. Я решил уходить».

26 ноября 1991 года Московская городская коллегия адвокатов приняла в свои ряды Андрея Муратова. Прошло больше двух с половиной лет. Он провел много гражданских и уголовных дел. Выигрывал ли? Да, конечно. Но есть дела, по поводу участия в которых нельзя высказаться так однозначно: если подзащитный Муратова, осужденный за убийство при отягчающих обстоятельствах, получил вместо «вышки» десять лет, — что это, выигрыш? Если Муратову удалось изменить меру пресечения (другими словами — добиться освобождения из-под стражи) другому подзащитному, генералу Селиверстову, проходящему по делу о взятках и хищениях в Западной группе войск, но дело пока не дошло до суда, — разве это проигрыш?

В дело о налете «Памяти» на редакцию газеты «Московский комсомолец» Андрей Муратов вошел буквально накануне. За полчаса до начала суда заключили соглашение, еле успели. Обвиняемым был некто Дедков. Процесс шел тяжело. Муратову то и дело вспоминали старые грехи, на основании чего заявляли отводы. Из

зала кричали: «У тебя руки в крови». Все это было достаточно неприятно. А сам процесс, его атмосфера уж очень напоминали процесс Осташвили. И снова был Мосгорсуд, куда так не хотелось возвращаться. Но работа есть работа, и Муратов выполнил ее, сидя, правда, на этот раз не за столом суда, а за столом защиты. Дедкова признали виновным в том, что он воспрепятствовал законной деятельности журналистов. Это новая статья УК, которая незадолго до этого была введена, — и чуть ли не впервые применена. То есть, по сути, уже второй раз при активном участии Андрея Муратова был создан прецедент!

В том моем давнем интервью после вынесения приговора по делу Осташвили — кстати, оно называлось «А судьи кто?» — был еще один вопрос, который звучит актуально и сегодня: «Почему тогда не было вынесено частное определение в адрес Моссовета о запрещении деятельности «Памяти», как просил общественный обвинитель Макаров?». На что тогда Андрей Муратов ответил: «Сегодня уже принят Закон об общественных организациях. Но еще не опубликован. Поэтому руководствоваться им мы не могли. Суд должен быть вне политики. Он обязан руководствоваться только законом». Две последние фразы Муратова достойны того, чтобы их выбить на мраморе. Но все же предположим, что закон, о котором он говорил, был бы к тому моменту опубликован...

У меня в руках — черновик того самого частного определения. Он написан от руки, весь исчеркан. Возможно, в окончательном виде он претерпел бы большие изменения. Но окончательного вида не понадобилось. Прочитываю то, что удалось разобрать, — больше нигде и никогда это не публиковалось и, скорее всего, опубликовано не будет.

«К материалам уголовного дела приобщена программа этого «Союза» («Союза за национально-пропорциональное представительство»), положения которой, как заявил Осташвили К.В. в суде, он разделяет.

Как указано в программе, «по своим позициям Союз за национально-пропорциональное представительство — «Память» близок ко всем патриотическим движениям, объединениям, фронтам, созданным в Москве... и борющимся за национальное равноправие».

Далее приведен тезис, «выдвинутый всеми патриотическими движениями о том, что ни один народ не должен жить за счет другого, ни один народ не должен ущемлять интересы другого», отвечающий «задачам» этого Союза и, используя сомнительные исторические и статистические данные, проводится мысль «о

тяжелом положении русских и привилегированном положении евреев».

Этой мыслью пронизано все содержание программы, в связи с чем Союз требует осуществления принципа национально-пропорционального представительства евреев и породненных с ними лиц на всех ступенях общественной лестницы. «Необходимо... не допускать евреев и породненных с ними лиц к защите кандидатских и докторских диссертаций, к получению ученых степеней... не принимать в ряды КПСС... не избирать в Советы, суды, на руководящие должности...» и т.д.

Судебной коллегией приведена лишь незначительная часть положений упомянутой программы.

Как установлено в ходе следствия, в судебном заседании и материалами уголовного дела, вокруг «Союза за национально-пропорциональное представительство» спланируются и непосредственно в него входят лица различного возраста, в том числе и молодежь, у которой окончательно не сформировались взгляды, отношение к жизни и обществу, нравственность.

Так, в интервью, опубликованном в «Мегаполис экспресс», а также в фонограмме записи этого интервью Осташвили К.В. утверждает, что «у нас молодежь, начиная от 15-16 лет, которая очень хорошо умеет работать кулаками. У нас тренер каратэ, редко наших бьют. Думаете зря две зимы готовили в подвалах молодцов? «Молодцов» много, поэтому мы спокойно себя чувствуем».

В судебном заседании Осташвили пояснил, что молодежь в этом движении составляет 15-20 процентов, состоит из учащихся ПТУ, школьников.

В указанной выше публикации Осташвили К.В. также пояснил, что «в... «Память» входят сейчас пять объединений, пять лидеров входят в координационный совет... У нас единые цели и задачи... у нас будет солидная партия... с хорошей идеей, с хорошими, проверенными кадрами».

Идея консолидации и создания «солидной партии» отчасти воплотилась в провозглашении создания народно-православного движения (публикация в газете "Московские новости" отрывков из выступлений представителей православного национально-патриотического фронта «Память», союза за национально-пропорциональное представительство «Память», русской народной партии, Российского освободительного союза, полный текст расфшировки стенограммы пресс-конференции, о которой сказано в статье «Дело генералиссимуса Сталина в надежных руках»).

Таким образом, анализируя данные, собранные в ходе расследования уголовного дела, материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании, судебная коллегия, обобщая эти данные, пришла к убеждению, что, в частности, в Москве в настоящее время происходит сращивание лжепатриотических движений, формирований, союзов, вовлекающих в свои ряды молодежь, подростков, среди которых в завуалированной, а иногда и в прямой форме проповедаются идеи, подрывающие доверие и уважение к другой национальности или расе.

Духовно несформировавшиеся «молодчики» под влиянием лжепатриотизма и идей «засилья жидомасонства» представляют опасность не только сами для себя, но и для общества, являясь той почвой, на которой могут взойти различные формы антиобщественной деятельности.

Определили:

обратить внимание 1) председателя Моссовета Попова (либо комиссии по законности) 2) прокурора Москвы 3) начальника ГУВД Москвы на изложенные обстоятельства, обсудив соответствие деятельности возникающих движений, формирований, союзов общепризнанным нормам права, морали и воспитания молодежи в духе истинного интернационализма и патриотизма».

Конечно, сегодня многое из того, что цитируется в проекте несостоявшегося определения, безнадежно устарело. Но, как знать, будь оно вынесено тогда и принято как руководство к действию теми руководителями Москвы, к которым было обращено, — многое могло бы быть иначе? Ведь и поныне продолжают выходить газеты и газетенки, прямо или завуалированно разжигающие национальную рознь. И нет таких законов, по которым можно было бы их закрыть. А попытки незаконного закрытия всякий раз кончаются ничем. И баркашовцы, возможно, оказались бы в октябре 1993-го не в Белом доме, а вне закона. И «Память» бы не посмела обнаглеть до того, что все тому же Андрею Муратову пришлось защищать от ее посягательств редакцию газеты «МК».

История не знает сослагательного наклонения, это так. Но должна же она хоть чему-то учить! Или так и будем выплескивать младенцев вместе с грязной водой да многократно наступать на одни и те же грабли?!

МЕМОРИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Юрий НАГИБИН



ВЫДОХ НА ИЗЛЕТЕ

Чистые пруды, Покровка, Маросейка, Армянский, Златоустинский, Петроверигский, Старосадский переулки — мир маленького Юрия Нагибина. Он полон тайн. Их необходимо познать, и будущий писатель отправляется в свое первое «путешествие» по жизни. Сначала постигается то, что на поверхности: «Добравшись до Армянского, я увидел, что в небесной хмарь открылись поляны-просветы, и самая большая полянынь-синь, подернутая белой кисеей, — приходится на дом N 7... Прямой срез стены обладал одним свойством: он дарил ощущение, что за ним находится неведомое, манящее, незнакомые дали... впереди еще так много всего! — вот что обещал угол дома посреди неба... У каждого человека есть свой такой угол... Ужасно, если его нет. И ужасно, если когда-нибудь я ничего не обнаружу за углом моего дома, — значит я сдался. Но пока я откликаюсь углу дома в синеве и верю, что за ним — дали и слышу их зов...».

Все это будет написано значительно позже, уже зрелым писателем. А тогда, в детстве, осталось в душевной памяти мальчишки. Именно душевной, а не зрительной, ибо лишь душевная память способна произвести отбор, отшлифовать, запечатлеть навсегда.

«Книга памяти» собралась из этих душевных воспоминаний. Точная, как все, что писал Юрий Нагибин, она полна сердечной любви и тревожной необходимости понять, познать. Ну и что, что жили в коммуналке! Именно там он разгадал душевную сущность деревенского мальчика Яньки, познал скверну травли пятилетнего Шурика, ощутил безотцовщину Леньки и обрел дружбу с Толькой Симаковым. Много это или мало? Для писателя много, ибо все это станет впоследствии сутью и плотью его прозы.

Мир открывался постепенно. Он был необъятен. И Нагибин, уже прошагавший с боями долгие дороги войны, познавший горечь поражения и радость побед, а главное, познавший трудную военную дружбу, понял, что для писателя самое необходимое научиться глубоко погружаться в субстанцию жизни, в существо других людей и в свою собственную душу. «Человек ограничен в пространственных странствиях... но путешествия в просторах души общедоступны и безграничны. Тут каждый, кто не ленив воображением, может покрыть громадные расстояния, пронизать века, побывать в оболочке других людей... и, наконец, совершить наитруднейшее — приблизиться к познанию самого себя».

Юрий Нагибин отправляется в пожизненное путешествие. Нет, не из города в город, не из страны в страну. В путешествие познания. Результатом стали замечательные, мудрые рассказы и повести «Заброшенная дорога», «Срочно требуются седые человеческие волосы», «Машинистка живет на шестом этаже», «Как был куплен лес», «Когда погас фейерверк», «Перед твоим престолом» и многие другие.

Рассказчик от Бога он писал жизнь такой, какой она была на самом деле, без выкрутас, и оказывалось, что жизнь эта полна самых интересных, неожиданных поворотов, а люди — полнокровных, самодостаточных характеров. Вот почему каждое новое произведение Юрия Нагибина было открытием. Писатель «облазил»

тайники душ многих и многих людей. Ему открылись такие бездны, перед которыми только сильный мог устоять. А он был сильной и чистой души человек, любил жизнь и своих героев. Отсюда его искреннее желание сделать жизнь краше, а человека лучше.

На своем пути познания, на творческой дороге, которая неизбежно ведет к постижению самого себя, он искал источники сильных характеров. «Машина времени» перебрала Нагибина во времена давние, познакомила с личностями непростыми. Протопоп Аввакум. Сущность этого мятежного характера открылась ему в вере. Всепоглощающей, неизбывной. Сломить ее не могли ни пытки, ни лишения. Аввакум вступил в единоборство с властью и... победил! «Почему неправая власть так нуждается даже в мнимом изъявлении покорности, мнимом раскаянии тех, кого считает виновными в тяжких против нее, власти, прегрешениях? Может, потому что власти нужна не преданность, не союзничество, основанное на единоверии, а только слепое послушание, даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще — рабье. Тогда власть сознает себя силой».

Вот такое современное познание принес Юрий Нагибин из своего путешествия в прошлое.

Сложной, противоречивой открылась ему душа Тредиаковского. Оказывается сила и слабость могут уживаться в одной душе, если есть вера. А она была — Вера и Слово.

Пушкин и Дельвиг, Тютчев и Рахманинов, Танеев, Вагнер, Скрябин, Лесков, Анненский, Чайковский и Бах — герои исторической прозы Юрия Нагибина.

Отличный стилист, он тонко чувствовал слово, его мельчайшие оттенки, его первоначальный смысл и метаморфозы, происшедшие во времени. Читая его повести и рассказы, даже не зная еще о ком они, всякий раз переносишься в определенную эпоху — ведет стилистика, слово.

Что же вынес писатель из своего «путешествия» в прошлом? Почему вновь потянуло к современности? Умудренный, он должен был приложить свои открытия к человеку сегодняшнему, к повседневной жизни. Юрий Нагибин пишет повести и рассказы о современнике. Страстные, беспокойные. Его волнует все, чем живет сегодня российский человек. Здесь и обличения, и утверждения, и как бы призыв — посмотри на себя, человек! Загляни в свою душу! Освободись от пут прошлого, вздохни всей грудью и осознай себя Человеком!

Юрий Нагибин был очень городской и очень русский писатель. Эта точная национальная и гуманистическая приверженность сделала его творчество понятным и любимым не только в России, но и во всем мире, ибо известно, что любовь и уважение к своей нации рождаются только тогда, когда человек равно уважает и людей другой национальности.

Юрий Нагибин — человек счастливой судьбы, ибо еще при жизни был признан одним из лучших рассказчиков современной России. И еще — он был пишущим писателем, что в наши дни очень многое значит. Он не замолчал под гнетом навалившихся проблем противоречивого нашего бытия, до последнего дня осмысля происходящее в себе, в стране, в своих соотечественниках. И оставил нам как завещание свою последнюю повесть «Тьма в конце туннеля» — исповедальную, до безоглядности откровенную, безжалостную (прежде всего к самому себе), глубоко гражданственную и патриотическую в самом высоком смысле этого слова.

«Притча о Мордане» и последние страницы последней повести Юрия Нагибина, публикуемые в альманахе, — как вдох и выдох. Выдох на излете, когда мучительная боль терзала душу. Боль, от которой разорвалось сердце писателя.

Галина ДРОБОТ

ПРИТЧА О МОРДАНЕ

Не помню уже, когда у нас завелся Мордан, вернее сказать, отделился от фона, обрисовался как особь, стал Морданом, а там и кошмаром нашего тихого, дружного двора. Он был сыном управдома, а в те перепуганные времена управдом представлялся всесильным деспотом, способным казнить и миловать. Знаю, что в иных домах обстояло иначе, там, случалось, обитали люди, которым с высокой горы плевать было на такую мелкую сошку института власти, как управдом. Они даже отказывали ему в этом звучном титуле и называли вязким, принижающим словом «домоуправ». Вроде бы одно и то же? Нет, тут есть существенное различие. В слове «управдом» подчеркнут волевой момент правежа. Управа, правление, расправа, бесправие — все это звучит в ударной части слова. В тягучем «домоуправе» акцент падает на слово «дом», что сразу снижает правителя, заместника, диктатора, тирана до ничтожной роли служителя домового канцелярии. В соседнем доме, населенном типографскими рабочими, домоуправ был серой мышью, фигурой, чтимой куда меньше нашего общего дворника Валида с парафиновым носом, чистюли и гуманиста.

Но там царил ядерный революционный дух, а у нас тянуло тленцем изнемогающего нэпа, карболовым смрадом тюремных приемных, куда носили передачи, чесночным запахом страха, неуверенности и забитости. Я сам не знаю, почему у нас был такой жалкий дом, где всеми владело смиренное сознание своей вины, хотя виноваты были только в крыловском смысле: «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать». Кому-то хотелось нас кушать, и кушали постепенно, что, разумеется, не придавало бодрости остающимся. Бывшие люди (как ужасно это звучит, если вдуматься), нэпачи, инженеры-вредители, гнилые интеллигенты — на такие категории, по жесткой терминологии тех лет, делилось население нашего дома. Вне этого реестра оставались сестры-надомницы, делавшие матерчатые цветы, кучер, заведующий шашлычным подвальчиком, цыганская семья (чем они занимались, никто не знал, да ведь быть цыганом — это уже профессия) и семья китайцев: Вэнь работал прачкой, Лю — клеила игрушки из

гофрированной бумаги и продавала их на бульваре; и было старичье, неизвестно за счет чего дряхлеющее свою стылую дрожь (ни один из них не назывался пенсионером).

Постепенно мужское население нашего дома, кроме стариков, перемещалось в «казенный дом», а оттуда — в отдаленные студенческие земли. Среди моих сверстников воцарялась безотцовщина, что казалось естественным. Я не помню, чтобы кто-нибудь жаловался, возмущался или просто говорил: ах, папа!.. То была форма жизни — результат многократных исторических побудок: молодым родовитым офицерам не спалось, они вышли на площадь, сами не зная зачем, ничего не сделали, но «разбудили» Герцена. С тех пор и пошло, а последствия всех этих нарушенных снов мы не можем расхлебать до сих пор.

Вон куда завела меня попытка рассказать о паршивом мальчишке, оморочившем наш двор. Его власть над нами шла от отца, а сила угрюмого, всегда глядевшего в землю человека в сапогах до колен, кожаной фуражке и бобриковой куртке питалась социальной квелостью населения нашего дома.

Бугрова-отца мы узнали куда раньше, чем Бугрова-сына. Как потом оказалось, по приезде в наш дом тот последовательно переболел корью, скарлатиной, коклюшем и свинкой.

Бугрова-отца мы боялись. Военные сапоги и кожаная фуражка, упертый в землю взгляд и бодающая воздух голова вселили робость даже в таких смельчаков, как Алеша Кардовский, внук знаменитого актера, и таких беспечных сорванцов, как Хачек, сын заведующего шашлычной.

Появившись во дворе, Бугров-сын не выказал поначалу тяги к общению. Он терся возле своего крыльца, колошматил палкой по водосточным трубам, оттуда выгрохотывал грязный лед (дело было в исходе зимы), сшибал сосульки, свирепо давил ледок вымерзших луж, что-то орал. Мы рассеянно заметили разрушительный характер однообразных забав большеголового, неуклюжего мальчика с красными толстыми щеками. Интересы он не вызвал.

Наш двор жил содержательной и разнообразной жизнью. Алеша Кардовский всегда что-то придумывал. Раз он появился опоясанный великолепным деревянным мечом, лезвие было покрашено серебряной краской, а рукоять — золотом. Все мальчишки тоже вооружились чем попало, и мы провели упоительный рыцарский день с турнирами, дуэлями, Куликовской битвой, завершившейся довольно вульгарной дракой, в которой этот меч сломался. В другой раз он принес бумажные полумаски, и мы устроили бал-маскарад. Он же совершил первый парашютный

прыжок с крыши дровяного сарая, парашютом служил старый дождевой зонтик.

Красавица-цыганка Аза — тонкое смуглое личико и черные глазищи в пол-лица — была постоянно занята туалетами. Она немножко картавила:

— У меня тако пляте, тако пляте! И рюшки, рюшки, рюшки!..

Она доставала из кармана цветную шелковую ленту и навивала себе на шею, вплетала в черные вьющиеся волосы или накручивала на руку от кисти до плеча, жеманничая и что-то тихонько напевая. А уж плечами трясла — как только косточки не сыпались!

Был у нас и филателист — Яша. Марки он хранил в папиросной коробке «Таис». Показывая желающим свою скудную коллекцию, Яша священнодействовал. Осторожно, послунив палец, выуживал он марку из коробки.

— Это Конго, — говорил с придыханием.

На марке был изображен бегемот с разверстой необъятной пастью.

Затем шла марка с крокодилом — Египет, со слонем — Камерун, с кенгуру — Австралия, остальные были не так интересны: королевские профили разных стран. Мы просили:

— Покажи Папскую область.

Наступал самый торжественный момент. Марка Ватикана была маленькая треугольная, сильно замусоленная и, по словам Яши, необыкновенно редкая и ценная. Он отдал за нее чуть не половину своей коллекции. Эту марку он брал пинцетом, подаренным ему дедом-врачом, и осторожно опускал на ладонь. Дотрагиваться до нее категорически запрещалось. Мы почтительно смотрели на грязно-желтый кусочек бумаги с каким-то неясным изображением и, ввераясь Яшиной одержимости, цокали языками.

Простодушный Хижняк собирал фантики. Его мать торговала с лотка сладостями у церкви Успения Богоматери, и у Хижняка хватало конфетных оберток. Он и вообще был куда более удачливым коллекционером, чем Яша. Игрой в фантики увлекался весь двор, а Хижняк был непобедим и в «пристеночек» и в «расшиши». Но он не знал коварной игры «с ладошки», где выступающий первым фатально обречен на проигрыш, и в один черный день спустил всю свою коллекцию.

А вот длинновязая белобрысая и светлоглазая девочка Хейли ничем не увлекалась, но ужасно любила присутствовать. Более благодарного зрителя и слушателя не сыскать. Шумно дыша полу-

открытым ртом, она торчала возле филателистов, производивших свои хитроумные обмены, возле фантичников, лупивших медным пятакон по сплюсненным конфетным конвертикам, старательно хлопала в ладоши, когда цыганка Аза трясла плечами, закатывала светлые речные глаза при очаровательных ужимках этой модницы, сопровождаемых захлебным лепетом «такое пляте, таки рюшики!», но больше всего она любила смотреть, как Хачек гоняет голубей, а маленький Ли запускает бумажных змеев. Она стояла, задрав голову, с отвалившейся челюстью и опрокинутыми глазами в стобняковой заворуженности. Алеша Кардовский называл ее в такие минуты «вертикальная покойница». Но без Хейли, без ее ошалелой захваченности, всем нашим мероприятиям чего-то сильно недоставало бы. Она была катализатором, сама ни в чем не участвовала, но активизировала происходящее.

Стоит сказать несколько слов о Хачеке-голубятнике и Лизе-змеешеделисте. Я не знаю, гоняют ли армянские мальчишки голубей, Хачек, во всяком случае, не имел об этом ни малейшего понятия. Дворник Валид устроил ему на помойке голубятню — клетку с откидной дверцей. Это скромное помещение, чаще всего пустующее, изредка заселялось голубкой, которую Хачеку покупал отец на Трубном базаре. Хачек горделиво показывал новоселку, как-то очень ловко, профессионально держа ее в руке, затем, выждав появление голубиной стаи в небе над соседним домом или над куполами церкви Скорбящей Богоматери (вокруг нас обитали настоящие голубятники), подкидывал голубку вверх. Случалось, она тут же опускалась на кормушечную полку голубятни, но чаще взмывала в небо и летела к стае. Хачек пронзительно свистел в два пальца, сам же прятался за помойку с концом веревки в руке. Мы тоже прятались кто куда, лишь Хейли замирала в столбняке, но ее недвижимая фигура не могла спугнуть голубей опасным проявлением жизни. Хачек, очевидно, ждал, что голубка завлечет чужих голубей в ловушку, но всякий раз сизари и чистые противников сманивали голубку. Хачек не переживал потери, любя обряд гона и находя какое-то странное удовлетворение в самой неудаче. «Опять обхитрили, черти полосатые!» — говорил он гортанным голосом, в котором звучала не обида, а восхищение ловкостью соперников. Хачек считал, что он сам малый не промах и непременно рано или поздно сманит все стаи, козыряющие в небе.

В отличие от него, змеешед Ли, с глазами-щелочками, был виртуозом своего дела: его хвостатые, ярко раскрашенные змеи стремительно взмывали в высь, парили и кувыркалились над крышей дома, а Ли управлял их полетом, сжимая в кулачке хвостик длинной ррученной веревки.

И был среди нас мозгляк, которого мы снисходительно допускали в наше избранное общество: мелочь пузатая, еще под стол пешком ходит, а уже хвостун. Он уверял, что родители скоро купят ему шведку. Вначале мы и внимания не обращали на его лепет, а потом кто-то узнал, что шведка — низкорослая гривастая лошадка, вроде пони, только еще меньше и мохнатая. Тут мы всполошились: ну-ка, и впрямь купят. У его отца когда-то собственный выезд был. Надо же, только развежишься: у Хачека очередную голубку увели, Яшу опять на обмене марок надули, у Хижняка фантики сперли, Хейли коленку ушибла, словом, никто не имеет над тобой никакого преимущества, как вдруг приковыливает этот гаденыш и картавит:

— Шведку... шведку почти купили.

И прямо жить не хочется. Все-таки не удержишься, спросишь:

— Дашь покататься?

— А ты мне чего дашь?

— В рыло.

Не помню почему, но я как-то пропустил явление Мордана народу. Свою кличку, единственно возможную, он получил до того, как состоялось знакомство. Во дворе все происходит быстро, и, когда я столкнулся с ним, он уже чувствовал себя старожилом. Мордан перехватил меня по пути на помойку, где Хачек гонял голубей, и, кривляясь, пританцовывая, стал орать:

— Большой, а без гармошки!.. Большой, а без гармошки!..

Выздоровев, он как-то раздался, распахнулся, шапка на затылке, вид бравый, вполне годный для получения по уху.

— Большой, а без гармошки! — надрывался Мордан.

Я не понимал дразнилки. Какой же я большой, может, на год всего старше Мордана, ну, чуть повыше ростом. Но если б у меня даже была гармошка, мне бы не растянуть мехов слабыми моими руками. И, наконец, кто во дворе играет на гармошке? Даже среди взрослых парней нет гармонистов, один бренчит на гитаре, другой на балалайке, есть еще ученик музыкальной школы, он на скрипке учится. А гармошка — это деревенский инструмент. Бес-смыслицу несет Мордан, и обижаться нечего.

Но, оказывается, оскорбление вовсе не обязательно должно бить в цель, чтобы уязвить человека. Важны намерение и подача. Я начал раздражаться уже по пути к помойке, а там окончательно рассвирепел. Услышав idiotские выкрики Мордана, мои друзья с удивительной легкостью предали меня и стали подпевать:

— Большой, а без гармошки! — хихикнул Хижняк.

— Большой, а без гармошки, — бестемпераментно констатировала Хейли.

— Большой, а без гармошки, — вынув изо рта два обмусоленных пальца, прогортанил Хачек.

И даже кротчайший, отвлеченнейший филателист Яша молвил с задумчивым осуждением:

— Большой, а без гармошки.

Один только Ли молчал, потупив голову.

— Ребята, ну чего вы?.. — проговорил наконец я. — С ума посходили? Разве у кого есть гармошка?

— Большой, а без гармошки! — взвизгнул Мордан.

— Большой, а без гармошки, — подтвердила Хейли.

— Большой, а без гармошки, — лыбился Хижняк.

— Большой, а без гармошки, — осудил Хачек.

— Большой, а без гармошки, — в голосе Яши пробились нотка сочувствия.

— Мне купят шведку, — упало в короткую тишину, и это сообщение доконало меня.

Людам лошадей покупают, а у меня даже гармошки нет!.. Да что это со мной, какая еще гармошка? И меня опутала липкая мордановская глупость. Надо с этим кончать. Я поступил простейшим образом — дал Мордану в нос, похожий на свиной пятючок. И едва отнял руку, как оттуда двумя струйками потекла кровь. Мордан задрал голову и, оглашая двор истошным ревом, потащился к своему подъезду.

Вечером нас навестил управдом Бугров, и одним нравственным устоем: ябедничать нельзя — в моей душе стало меньше. Спрятавшись в кухне за плитой, я видел, как дед провожал его к двери.

— Принимайте эти капли, и все пройдет, — сказал дед.

На миг у меня мелькнула спасительная мысль, что Бугров обратился к деду просто как к врачу.

— Сам виноват, — прохрипел Бугров. — Зачем вышел без кашне.

Дверь захлопнулась за ним.

— Он вышел без кашне! — потрясенно проговорил дед и застучал костяшками пальцев в лоб. — Почему, почему мы не остановились в феврале?.. — и резко оборвав патетику, сказал устало: — Пойдем поговорим.

Мордан не только наябедничал, но и сильно преувеличил свои увзвления. Деда не интересовало — ни как все было на самом деле, ни причина распри.

— Не смей его трогать. Я не хочу больше объясняться с Бугровым.

— А если он опять пристанет?

— Отойди. Не связывайся с ним. Играй с другими дегьми.
— Я с ним не играл. Он сам полез.
— Не обращай внимания. Ему надоест — отстанет.
— А почему я должен ему уступить?
— Потому что твой папа сидит в тюрьме, а его папа сидит у нас на голове. Ты что, не можешь понять, кто тут хозяин.

Я этого правда не мог понять, я думал, что мы все тут хозяева, вся наша ватага.

— Он мне морду будет бить, а ему ручки целовать?

Казалось, глаза деда выкатятся из орбит.

— Нет! Тогда ты его убьешь. А я убью Бугрова. И твоя мама будет носить передачу уже троим. Мы с тобой по крайней мере будем знать, за что сидим.

Я дал слово не трогать Мордана, уверенный, что он сам больше не полезет. Он хорошо получил, опозорился перед всем двором и не захочет повторения. Я плохо знал Мордана. Когда на другой день я вышел во двор, он встретил меня ликующим воплем:

— Большой, а без гармошки!

И наше бедное стадо подблеяло Мордану:

— Большой, а без гармошки!

Я сделал вид, будто это меня ничуть не трогает, и заговорил с Хижняком о фантиках новых конфет «Дюймовочка».

— Большой, а без гармошки! — стучал в ушные перепонки ненавистный голос.

— Большой, а без гармошки! — уныло подтягивал хор.

Я быстро шагнул к Мордану и замахнулся. Он сразу, громко и бесстыдно, заревел.

— Чего дерешься?.. Скажу отцу!..

— Вали отсюда!

Но Мордан уже понял, что я его не ударю. Он перестал сочиться, вытер сопли и нагло залыбился всей толстой рожей.

— Большой, а без гармошки!

Наверное, я нарушил бы слово, данное деду, если б внутри меня не возникла какая-то слабость, чувство неполноценности, будто я и впрямь обделен чем-то важным. Меня доканал не Мордан, а его подголоски — мои друзья, позволившие превратить себя в покорное стадо.

Отвлек Мордана маленький Ли, выбежавший во двор с новым змеем в руках.

— Ходя, соли надо? — деловито спросил Мордан.

Ли посмотрел на него из своих щелок, и было в его взгляде что-то необычное, не из обихода детства, а из недоступной нам тайны — мольба, деликатная угроза, ну, это, может, слишком, —

предупреждение. Я твердо знаю, что все мы ощутили ознобливающий вей чего-то нездешнего, все, кроме Мордана.

— Чего уставился?.. Моя не прачка, моя шпиона?..

— Пожалуйста, — тихо и нежно проговорил Ли, — не надо.

Спасибо... извините.

Мордан загоготал.

— Во дурной!.. Ходя, соли надо?

— Ходя, соли надо? — с отсутствующим видом сказала Хейли.

— Ходя, соли надо? — прыснул Хижняк.

— Ходя, соли надо? — печально пропел Яша.

И тут со мной случилось что-то непостижимое: кто-то разжал мне челюсти и вытянул из гортани оцарапавшие ее грязные слова:

— Ходя, соли надо?

Ли внимательно посмотрел на каждого из нас.

— Я не буду запускать змея. — Вот, оказывается, в чем заключалась та страшная месть, на которую намекал его моляще-угрожающий взгляд.

Похоже, Мордан тут только заметил хрупкое сооружение из гофрированной цветной бумаги, которое Ли держал под мышкой. Он ухватился за ленточный хвост.

— Пусти, пожалуйста, лазолвешь. — Ли, как и все китайцы, не выговаривал буквы «р».

— Лазолвешь! — покатывался Мордан. — Говорить сперва научись! Чего прищурился, ходя? — И он сильно дернул змея за хвост.

— Не надо, — попросила Хейли. — Правда, разорвешь.

— Заткнись, чухна белоглазая! — и Хейли получила новое имя.

Мордан снова потянул за ленточку, гофрированная бумага стала с хрустом разглаживаться. Змей все вытягивался — какой же он длинный! — потом вовсе утратил свою красивую ребристость, стал колбасой и вдруг лопнул сразу в нескольких местах. Ли отпустил его огнистую голову, труп змея упал в талый снег.

Ли подошел к Мордану.

— Дай мне, пожалуйста, соли.

— Какой тебе еще соли?

— Ты отнял у меня змея. Дай мне соли.

— Он что — дурной? — спросил Мордан.

— Ли очень дульной, когда ему плохо. Вот здесь плохо. — Ли показал на грудь.

А потом он что-то сделал, мы едва уловили короткое стригущее движение двумя кистями — Мордан сложился, как

перочинный ножик, оторгнул желчью и, почти падая с каждым шагом, заковылял к подъезду.

— Ли, хочешь, я отдам тебе шведку? — послышался с земли голос.

Ли наклонился, поцеловал лошадику в макушку и убежал.

Мордан появился во дворе через неделю. А еще раньше исчезла семья Ли. Исчезла, как не бывала. Да и были ли они в самом деле: стриженный бобриком Вэнь со стопкой чистых рубашек на ладони, большая Лю с крошечными ступнями, вся жужжащая, трещащая, шелестящая диковинками из сухой бумаги, щепочек и сургуча, и был ли маленький повелитель змей, добрый и гордый мальчик, не прощающий зла?

Мордану понадобилась еще одна крепкая затрещина, чтобы окончательно поднять под себя двор. Алеша Кардовский был самый большой, сильный и самый добродушный из всех нас. Для него Мордан приготовил стишок: «Немец, перец, колбаса, тухлая капуста, слопал в супе волоса и сказал: как вкусно!». Пока в этой нелепице упражнялся один Мордан, Алеша просто не обращал внимания, но, когда к солисту присоединился хор, он решил выяснить отношения.

— Что это значит? — спросил он нас. — Какой я немец?

Мы молчали, подавленные собственной глупостью, а Мордан завел как ни в чем не бывало:

— Немец, перец, колбаса, тухлая капуста...

— ...слопал в супе волоса и сказал: как вкусно! — тупо подхватили мы.

Мы, ибо и мой голос звучал в хоре. Что мною двигало? Желание быть, как все? А почему Алеша никогда не дразнил меня? Очевидно, он принадлежал к тем избранным натурам, которые лишены стадного чувства. И все же я и сейчас не понимаю до конца, почему мы пошли на поводу у Мордана. Дети многое делают из духа подражания. В отличие от самого Мордана, мы не вкладывали злого чувства в придуманные им дразнилки и прозвища, а подпевали ему за компанию. Все кричат, и я кричу, зачем мне быть в стороне. Но ведь раньше нам не требовалось хоровое подтверждение нашего единодушия. Каждый занимался своим, но каким-то образом это свое становилось общим и объединяло нас. Мордан пробудил что-то рабье в нас и превратил в стадо.

Алеша сделал попытку пробиться к разуму Мордана.

— Ты имеешь в виду моего отчима? Хансены — выходцы из Дании. Но я-то не Хансен, я Кардовский.

— Немец, перец, колбаса, тухлая капуста!.. — ликующе завел Мордан.

— ... слопал в супе волоса и сказал: как вкусно! — от души грохнули мы.

Ссылкой на таинственного Хансена Алеша только напортил себе. Мы понятия не имели, что у него где-то есть отчим, да еще выходец из Дании. Он никогда не бывал в нашем доме. Выходит, Мордан действительно что-то пронюхал.

Мне не забыть затравленного выражения Алешиного лица. Достаточно сильный, чтобы расправиться со всей нашей тщедушной бандой, он испугался нас. Испугался непробиваемой глухоты, безнадежной тупости. И заплакал. Беззвучно, одними глазами. И от стыда за свою слабость, от беспомощности и чувства потери ударил Мордана. Тот привычно накачал воздух в легкие и разразился душераздирающим ревом.

Позже мы спрашивали Алешу, приходил ли управдом Бугров к его деду. Он отмалчивался. Он вообще стал крайне сдержан и молчалив, не участвовал больше в наших «утехах и днях», а, направляясь по своим делам, быстро пересекал двор, успевая получить вдогон от Мордана «немца-перца-колбасу». Он не обращивался.

Мордан торжествовал победу. Редкий случай возвышения в ребячьей компании не за счет силы, а за счет слабости. Хотя теперь он, случалось, поколачивал таких хляков, как Яша, любитель шведок или безответная Хейли. Он открыл в каждом из нас какой-то изначальный ущерб: Хижняк оказался Хозландией, Хачек — Карапетом, Хейли — чухной белоглазой, Аза — вшивой цыганкой, Алеша немцем-перцем, Яша — зидой-гнидой, были еще недорезанные буржуи и гнилая «интеллигенция». Один Мордан был без изъяна и щербинки.

Он ничем не интересовался, ни во что не играл, ничего не собирал, не гонял голубей, не держал домашних животных, зато всем мешал. Стоило появиться Азе с очередной ленточкой, он начинал чесаться и орать, что она напустила на него вшей. Девочка с плачем убегала. Яше он настоятельно советовал уехать «в свой Бердич».

«В Бердичев», — благожелательно поправляла Хейли, за что получала тычок, «чухну белоглазую» и распоряжение как можно скорей укатывать в Чухландию. Мордану не хватало жизненного пространства, он хотел избавиться от посторонних. Кое-какого успеха он в этом достиг. Дворник Валид, которому Мордан каждый день показывал свиное ухо, перестал появляться в нашем дворе, где в скором времени воцарилась мерзость запустения.

Отняв у нас привычные игры, Мордан одарил нас новым развлечением. Теперь мы каждый вечер травили возвращающе-

гося с работы доктора Лисюка, «зиду маленькую», как окрестил его не слишком изобретательный в прозвищах Мордан.

Я прожил долгую жизнь и всего навидался, но никогда не встречал более жалкой и горестной фигуры, чем доктор Лисюк. Наверное, из-за этой жалкости его и преследовали так беспощадно. Порой мне кажется, что травле подвергался не он сам, а то смирение перед жизнью, которое он олицетворял. Человек не может быть таким немощным и обобраным, покорным и безгневным. Впрочем, это не относится к Мордану, тот травил зиду маленькую, ничуть не смущаемый памятью о человеке, врачевавшем его от бесконечных болезней.

Низенький, тощий, со всосанными щеками и подслеповатыми, словно плачущими глазами, он стоял посреди лужи в старом порыжелом пальтеце с обвисшими плечами, с тяжеленным облезлым портфелем в опущенной руке. На голове у него была на редкость не идущая к его печальному облику капитанка с лакированным козырьком. Бог его знает, где он раздобыл и почему носил лихой головной убор уличной вольницы, может, какой пациент подарил, а ему было совершенно все равно что носить. Он стоял, медленно переводя воспаленный взгляд с одного мучителя на другого.

— Зида маленькая! — надрывались, улюлюкали мы. — Зида маленькая!

Все мы были его пациентами, он выстукивал молоточком наши грудные клетки, теплыми пальцами осторожно мял больные животы, нащупывал вспухшие железы, заглядывал в обметанное горло, прописывал микстуры, пектусин, аспирин и пирамидон, ставил горчичники. Он тащился к нам ранним утром, украв час у бессонницы, а вечером — после трудного дня в амбулатории и неизменно приводил к полному выздоровлению.

Он терпеливо смотрел на пляшущих вокруг него, орущих дикарей, силясь понять тайну такой неблагодарности. Они топчутся в луже, набирая воды в калоши, и опять будут простуды и ангины, опять будет он склоняться над маленьким пышущим жаром телом, чувствуя его муку, как свою собственную.

— Зида маленькая!.. Зида маленькая!..

Да, зида, что поделаешь, таким уродился. Да, маленький, слабогрудый, сутулый, откуда было набрать стати в полуголодном местечке? И в чем моя вина перед вами, дети? Сознаешь ли, что ты кричишь это деду, который не надышится тобой, который выпрашивает у пациентов красивые марки, единственная мзда всей «частной практики»? Ты, безотчетный подголосок этого хора, и ты не понимаешь, бедный, глупый мальчик, что и тебя не минет

моя ноша. Ты безвиновен в своей детской слепоте, да и много ли тут виноватых? Но и для них все, что здесь происходит, не испарится бесследно. Они возьмут с собой в жизнь этот гнилой простудный вечер и все остальные вечера, когда издевались над старым, больным, усталым человеком с заслугой бескорыстной службы. От этих детей тянуло гарью грядущих огневищ, и ему было больно.

Вот почему так долго стоял в луже старый врач, вместо того чтобы скрыться в подъезде. Он думал и провидел.

Избавление от Мордана пришло к нам самым неожиданным образом. В один прекрасный — воистину прекрасный — день широко распахнулись запертые с дней революции парадные двери, ведущие на улицу. И нам не нужен стал двор, давно потерявший всякую притягательность. Мы ринулись в широкий мир, где сады, скверы, бульвары и дороги во все концы.

Отныне весь большой двор принадлежал Мордану. Он мог считать, что сбылись его мечты отправить Яшу в Бердич, Хачека в страну Карапетгию, Азу в табор, Хейли в Чухландию, Алешу к колбасникам и тухлой капусте. Маленького лошадирика тоже не стало. Он заболел дифтеритом, и впервые врачебное искусство доктора Лисюка оказалось бессильно. Малыш ускакал на своей шведке в то далекое, откуда не возвращаются.

Но где же твое счастье, Мордан? Занять себя было нечем и угнетать некого. Он томился. Мир за парадными дверьми отпугивал, нужен был двор и только двор, иного жизненного пространства он не хотел.

Однажды, слоняясь в Каиновой тоске по опустевшему двору, он обнаружил незнакомое существо, неуклюжее и большеголовое. Незнакомец кого-то мучительно напоминал, но Мордан не мог сообразить — кого. Он стал следить за ним и вскоре понял, что пришелец так же пристально, хотя и украдкой, следит за ним. А затем ему почудилось нечто и вовсе несуразное: будто он выслеживает самого себя. Мордан встряхнулся, скинул наваждение и решил: изгнать наглеца. Но возникло непредвиденное затруднение, связавшее ему язык: как к нему обратиться? Тот не был ни зидой-гнидой, ни чухной белоглазой, ни ходей, ни Карапетом, ни Хохландией, ни немцем-перцем, ни чучмеком... Он был вторым Морданом, и не существовало для него клички, которая сразу ставит человека на место.

— Пошел вон! — сказал Мордан Мордану.

Мысль, что под небом места хватит всем, была им чужда. Они стали описывать сужающиеся круги, кровеня белки ненавистью. Они могли бы спастись, будь на кого броситься сообща, но лишь два их косматых сердца бились посреди пустынного двора. И, взыв от ярости, тоски, страха и безысходности, они сцепились насмерть.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

(из повести «Тьма в конце туннеля»)

Теперь о главном обстоятельстве, перевернувшем всю мою душевную жизнь. Слишком долго шел до меня голос настоящего отца.

Я не собирался трезвонить о своем открытии, размахивать его письмом, как патентом на равноправие, да это и не было заверенным в домоуправлении и тем обретшим официальную непреложность документом (вроде той справки о порядочности, которую носит в наплечной сумке один итальянский журналист-проходимец). Мне необходимо было для самого себя подтверждение, без которого Кирилл Александрович оставался чем-то вроде рабочей предпосылки.

Может показаться странным, но когда окончательно отпало то, что было кошмаром всей моей жизни, я начал как-то глухо сопротивляться столь желанному дару. Материализовавшийся виновник (воистину виновник) моего появления на свет — я и сейчас избегаю называть отцом обмолвившегося мною незнакомца — оказался третьим лишним. Были Мара и отчим, которых — каждого по-своему — я любил. Но отчим меня не беспокоил, его статус остался без изменения, а как быть с Марой, которого я в глубине души и вопреки всему считал своим отцом? Очень трудно объяснить двойственность моего отношения к нашей семейной ситуации. Обрести свою национальность значило для меня потерять Мару как отца. Не знаю, выжили бы мы с матерью, если б не он. Я обязан ему жизнью в силу его сознательного великодушного решения, а не по физиологическому разгильдяйству. И он опять спас нас с мамой, когда посадили отчима и мы остались без хлеба и друзей. Наверное, все эти рассуждения излишни, я любил его не из благодарности. Любил и сейчас люблю.

Стало ясным, почему мать с такой неохотой, натужностью приближала меня к правде моего рождения. Ей виделось в этом предательство Мары. На последнее и окончательное предательство она так и не решилась, но и уничтожить письмо не могла, не считая себя вправе решать мою судьбу за меня. Она предоставила мне самому разобраться в этой тонкой материи, когда ее уже не будет. Значит, она не была уверена в качестве моего нравственного чувства.

Я не испытывал ни малейшего подъема, ничего похожего на то буйство чувств, которое владело мною прежде — при

первооткрытии. Я был в смуте, самое отчетливое ощущение — убыток любви к трудовому крестьянству, за которое отдал жизнь Кирилл Александрович. Расстреляли и утопили его те же мужички, тот человек с ружьем, который делал революцию. И когда я думал о бездарной судьбе прекрасного студента, в густом тумане возникал и с расцеживанием марева насыщался веществом жизни и красками всадник — генерал-лейтенант Дальберг — бунташных дел усмиритель. Не дожил он до окаянных дней и оставил Россию беззащитной...

Прилив русскости неизменно ожесточал меня, только теперь это стало куда серьезней, не изливаясь в мальчишеское рукоприкладство. Во мне происходил душевный переворот.

Как ночь обнажает мироздание, скрытое за голубой завесой дня, так 1985-й год сдернул «ткань благодатную покровя» с нашей страны, народа, общества, с каждого отдельного человека. Обнажилась истинная сущность власти, институций, всего нашего тщательно замаскированного бытия.

Из-под всеразьедающей фальши стала проступать подлинность, всамделишность обстоятельств и лиц. Было немало открытий, самое удивительное то, что русский народ — фикция, его не существует. Это особенно ясно стало, когда на останках рухнувшей коммунистической империи возникли самостоятельные республики и высветлились задавленные народы: украинцы, казахи, грузины, азербайджанцы, армяне, татары и прочие, не видно и не слышно лишь русского народа, ибо он не определил себя ни целью — пусть ошибочной, ни замахом — хоть на что-то, ни объединяющим чувством. Есть население, жители, а народа нет.

Социальный пейзаж страны уже не оживлен многомиллионным крестьянством. Сеятели и хранители попрятались, как тараканы, в какие-то таинственные щели. А от их лица витийствуют никем не уполномоченные хитрые и нахрапистые горлопаны (преимущественно колхозной ориентации); сельские жители ни в чем не участвуют, ничего не хотят и по-прежнему ничего не делают: хлеб, картошку и капусту все так же убирают силами армии, студенчества и других посланцев города. Даже на экране телевизора не мелькнет трудовое крестьянское лицо. Изредка показывают каких-то замшелых дедов или изморщиненных парок, прекративших трудовую деятельность еще в прошлом веке, в их маразматическом шамканье предсказания конца света — как будто он когда-то начинался в России — от огненного змея и тому подобная тарабарщина. А я-то думал, что с отменой социалистического крепостного права колхозники кинутся врассыпную — по своим дворам и личным наделам, но двинулось лишь жалкое мень-

шинство. Их потуги беспощадно гасятся верной колхозам пьянью и бездельниками. Сельское население живет вне политики, вне истории, вне дискуссии о будущем, вне надежд, не участвует в выборах, референдумах. На устах его печать.

Есть еще рабочие, но их так же неприметно. Активность — и не малую — проявляют лишь шахтеры, словно вся страна — сплошная угольная шахта, но их добрый пример не вдохновляет остальной пролетариат, пребывающий в лстаргическом сне.

Ну, а где самый многочисленный слой населения — городской обыватель: инженеры, техники, служащие, работники торговли, транспорта, почты и телеграфа, пенсионеры, те скромные и необходимые люди, которых Сталин ласково-убийственно окрестил винтиками? От забитости и неверия в лучшее они тоже самоустранились, выпали из общественной жизни: достают еду, ходят на службу или в парк, торчат у говорливых деревянных ящиков, злобствуют на всех и вся, не проявляя никакой гражданской активности.

Есть еще студенты, школьники. Вместе с лучшей частью рабочей и служащей молодежи они в решительную минуту делегируют сколько-то тысяч человек (в Москве до тридцати, даже более) и помогают отстоять надежду на демократию, а если быть определеннее, — не пустить фашизм. Честь им и хвала, у них прекрасные, легкие и гибельные лица. В их крови на московской мостовой — единственный залог спасения России. Но их слишком мало, этих светлых и чистых, чтобы считаться народом.

Я ничего не говорю об армии и милиции: слегка покослебавшись во время октябрьских событий, они выполнили свой долг на высшем профессиональном уровне. Но они не народ. Когда тележурналист спрашивал, что ими двигало в те решающие минуты, одни отмалчивались, другие иронично улыбались, третьи говорили: верность приказу или верность командиру. Этого достаточно для солдата, но мало для гражданина. Американец вспомнил бы о своем звездно-полосатом флаге. Наш солдат делегировал гражданское чувство, долг и права командиру. Мирное же население либо вовсе самоустранилось, либо равнодушно сдало свои полномочия трибунам-добровольцам, преследующим лишь собственные корыстные цели — власть и обогащение.

Но ведь есть и весьма активная часть населения, та, которая устраивала многочисленные митинги и демонстрации, превращала Останкинскую площадь в гигантский сортир, штурмовала телевидение и мэрию, обороняла Белый дом со всей его коммуно-фашистской начинкой. Это антинарод, фашиствующие и откровенные национал-социалисты, они держали над головой символы — серп и молот и свастика, портреты Ленина, Стали-

на и Гитлера; одни из них хотят генсека, другие — монарха, третьи — генерала-диктатора, но всех троих — в охотнорядском исполнении.

Их фюреры претендуют говорить от лица народа, но идущие за ними пока что не так многочисленны, чтобы считаться народом или хотя бы частью его, это люмпены, бомжи, пьянь, наркоманы, городские отбросы, которые по свистку появляются и по свистку разбегаются по смрадным укрытиям, что подтвердили октябрьские дни. Корявые руки жадно потянулись за оружием, в затуманенных мозгах нет сдерживающих центров, а в косматых сердцах — жалости.

Я не очень верю в национальный характер. Постоянные эпитеты, определяющие суть француза, англичанина, немца, испанца, японца — просто пошлость. На крутых поворотах истории — революциях, больших войнах — флегматичные англичане, легкомысленные французы, импульсивные итальянцы, добродушные голландцы ведут себя одинаково, и все привычные эмитеты съезжаются перед одним: кровожадный. В русских удивляет сплав расслабленной доброты с крайней жестокостью, причем переход от одного к другому молниеносен. Но в известной степени это относится и к испанцам.

И все же есть одно общее свойство, которое превращает население России в некое целое, я не произношу слова «народ», ибо, повторяю, народ без демократии — чернь. Это свойство — антисемитизм. Только не надо говорить: позвольте, а такой-то?! Это ничего не означает, кроме того, что такой-то, по причинам, не ведомым ему самому, не антисемит. Есть негры альбиносы, в Америке они встречаются сплошь да рядом, но это не отменяет того факта, что негр черен. Случаются волки, настолько привыкающие к человеку, что едят из его рук, но остается справедливым утверждение, что волки не поддаются ни приручению, ни дрессировке. Антисемитизму не препятствует ни высокий интеллектуальный, духовный и душевный уровень — антисемитами были Достоевский, Чехов, Зинаида Гиппиус, ни искреннее отвращение к черносотенцам, погромам и слову «жид», такому же короткому и общеупотребительному, как самое любимое слово русского народа.

Два заветных трехбуквенных слова да боевой клич, нечто вроде «Кирие элейсон!» — родимое «...твою мать!» — объединяют разбросанное по огромному пространству население в целостность, единственную в мире, которая может считаться народом. Таким образом, мы приходим к выводу прямо противоположному тому, с чего начались наши рассуждения.

И скажу прямо, народ, которому я принадлежу, мне не нравится. Не по душе мне тупой, непоколебимый в своей бессмысленной ненависти охотнорядец. Как с ним непродышно и безнадежно! С него, как с гуся вода, стекли все ужасы века: кровавая война, печи гитлеровских лагерей, Бабий Яр и варшавское гетто, Колыма и Воркута и... стоп, надоело брызгать слюной, всем и так хорошо известны грязь и кровь гитлеризма и сталинщины. Но вот разрядилась мгла, «встала молодая с перстами пурпурными Эос», продрал очи народ после тяжелого похмельного сна, потянулся и... начал расчищать поле для строительства другой, разумной, опрятной, достаточной жизни — ничуть не бывало, — потянулся богатырь и кинулся добивать евреев. А надо бы, перекрестясь, признаться в соучастии в великом преступлении и покаяться перед всем миром. Но он же вечно безвиновен, мой народ, младенчик-убийца. А виноватые — вот они. На свет извлекается старое, дореволюционное, давно иступившееся, проржавевшее — да иного нету! — оружие: жандармская липа — протоколы сионских мудрецов, мировой жидомасонский заговор, ритуальные убийства... Все это было, но не прошло. Черносотенец-охотнорядец поднимается во весь свой исполинский рост. Тот, что возник в конце сороковых — начале пятидесятых, был карликом в сравнении с ним.

Послеперестроечный антисемитизм взял на вооружение весь тухлый бред из своих затхлых закровов: давно разоблаченные фальшивки, поддельные документы, лжесвидетельства, ничем не брезгая, ничего не стесняясь, ибо все это не очень-то и нужно. Истинная вера не требует доказательств. А что может быть истиннее, чище и незыблее веры антисемита: все зло от евреев. Даже непонятно, зачем черносотенцам понадобились такие крупные теоретики погрома, как Шафаревич и иже с ним. Быть может, для солидности, для западных идиотов, чтобы те поверили в глубокие, научно обоснованные корни примитивной зоологической ненависти и страсти к душегубству.

Возникнув как государство и народ на берегу Днепра, под ласковым солнцем Киева, древняя Русь удивительно быстро, взамен самопознания и самоуглубления, плодотворной разработки собственных духовных и физических ресурсов, стала зариться на окружающие земли, обуянная страстью к расширению. И стала московской Русью, еще более загрибистой. Ведь расширяться, захватывая то, что тебе не принадлежит, куда веселее, вольготнее и слаще, нежели достигать преуспеяния на ограниченном материале собственных возможностей.

Уйдя от места своего рождения и пересидев татарское нашествие, Русь с освеженной силой ринулась во все стороны света, но мощнее всего на восток, покоряя, истребляя, развращая другие народы, дорвалась до океана и сменила направление главного удара: бросок на юг, в «рынь-пески» и Кавказские горы. Менее удачным было продвижение на запад, но и тут достигнуты немалые успехи: Россия присоединила Финляндию, Прибалтику, вторглась в сердце Польши.

За всеми этими делами почти забыли о первородине, но потом вспомнили, пристегнули к стремям и нарекли Малороссией или Украиной, то бишь малой окраиной великой Руси. И стали великороссами, сами так себя назвав. Заодно обзавелись предками — славянами, исконными обитателями тех земель, где зачалась Русь. Никаких славян в помине не было, а были словенские племена, пришедшие из центральной Европы. Патриотическая смекалка двух братьев духовного звания, живших в семнадцатом веке — буква «о» в заветном слове была заменена на «а» («он» на «аз»), так возникли первоисточники бескрайних пространств будущей Руси славяне, а засим великая триада: славяне, слава, православие...

Трудно любить тех, кого ты подчинил мечом и пулей, обездолил, ограбил. Не приходится ждать и любви от них, надо все время быть начеку («Не спи, казак...»), во всеоружии, в неотпускающем напряжении. Оттого и приучились русские видеть в каждом иноземце врага, непримиримого, хитрого, подлого. «Злой чечен ползет на берег, нечтит свой кинжал». А почему этот берег оказался так далек от славянских полей и лугов, и так близок к чеченским горам? И как вознегодовали москвичи, когда чечен приполз на берег Москвы-реки!

При таком отношении к инородцам легко представить себе гнев, ярость, недоумение, растерянность великороссов, когда они обнаружили, что инородная нечисть пробралась в их собственный дом, пока они помогали другим народам избавиться от своей зависимости. Без выстрелов и крови, со скрипочкой, с коробом разного товара да и с водочкой в шинке — будто своих кабаков, трактиров, кружал, пивных не хватало, с аршином портного, козьей ножкой зубодера прокрался супостат. Это мирное и поначалу малочисленное нашествие ничем не грозило, скорее помогало бытовому комфорту коренного населения, но разве думает о выгоде русский человек! Эти вкрадчивые длинноносые и картавые пришельцы распяли нашего... нет, ихнего... нет, нашего-ихнего Христа, и мало того, не могут произнести слово «кукуруза», и

нельзя их ни завоевать, ни покорить мирным путем, ибо нет у них своей земли, своего угла, тогда остается одно: гаркнуть во всю могучую великоросскую глотку: «Ату его!». И гаркнули... А он все лезет, и черта оседлости ему не указ. А как пала корона, то и вовсе никакой жизни не стало.

Тяжело обидели евреи Россию, да только ли они? А неблагодарная окраина, Хохландия, забыла, кто ее от ляхов спас? Кто в тридцатые годы помог голодом повальным извести под корень кулака, а с ним и еще несколько миллионов несознательного крестьянства? Мощный удар по идиотизму деревенской жизни поддержали химики и мелиораторы, прикончившие чернозем. На окисленных почвах исчез хвастливый украинский урожай. А теперь, порвав договор, скрепленный подписью народного героя Хмельницкого Богдана — воистину Богом был он дан, — Украина-мати заводит склоку вокруг груды ржавого железа, колышащего воды черноморского пруда, и вульгарный спор об атомных бомбах, истекающих в почву ядовитым гноем, да и других бесстыжих претензий хватает.

Русский народ никому ничего не должен. Напротив, это ему все должны за то зло, которое он мог причинить миру и сейчас еще может, — но не причинил. А если и причинил — Чернобыль, то не по злу, а по простоте своей технической. Кто защитил Европу от Чингисхана и Батыги ценой двухсотлетнего ига, кто спас ее от Тамерлана, вовремя перенеся в Москву из Владимира чудотворную икону Божьей матери, кто Наполеона окоротил, кто своим мясом забил стволы гитлеровских орудий? Забыли? А надо бы помнить и дать отдохнуть русскому народу от всех переживаний, обеспечивая его колбасой, тушенкой, крупами, картошкой, хлебом, капустой, кефиром, минтаем, детским питанием, табаком, водкой, закуской, кедами, джинсами, спортивным инвентарем, лекарствами, ватой. И баснословно дешевыми подержанными автомобилями. И жвачкой.

Но никто нас не любит, кроме евреев, которые, даже оказавшись в безопасности, на земле своих предков, продолжают изнывать от неразделенной любви к России. Эта преданная, до стона и до бормотания, не то бабья, не то рабья любовь, была единственным, что меня раздражало в Израиле.

Со мной произошло странное, а может, вполне естественное превращение. Как только я окончательно и бесповоротно установил свою национальную принадлежность, сразу началось резкое охлаждение к тому, что было мне вожделенно с самых ранних лет. Теперь я плевать хотел, за кого меня принимают, мне важно само-

му это знать. Я не горжусь и не радуюсь и вместо ожидаемого чувства полноценности испытываю чаще всего стыд. Мое окончательное вхождение в русскую семью пришлось на крайне неблагоприятное для морального тонаса этой семьи время. Почему-то падение тоталитарного режима пробудило в моих соотечественниках все самое темное и дурное, что таилось в укромях их пришибленных душ.

Народ, считавшийся интернационалистом, обернулся черносотенцем-охотнорядцем. Провозгласив демократию, он всем существом своим потянулся к фашизму. Получив свободу, он спит и видит задушить ее хилые ростки: независимую прессу и другие средства информации, шумную музыку молодежи, отказ от тошнотворных сексуальных табу. Телевидение завалено требованиями: прекратить, запретить, не пускать, посадить, расстрелять — рок-певцов, художников-концептуалистов, композиторов авангарда, поэтов-заумщиков, всех, кто не соответствует нормам старого, доброго соцреализма. И больше жизни возлюбил мой странный народ несчастного придурка Николая II, принявшего мученическую смерть. Но ведь недаром же последнего царя называли в старой России «кровавым». При нем пролилось много невинной крови, стреляли по мирным гражданам. «Патронов не жалеть!» — дворец не отменил приказа Трепова. Великий поэт Мандельштам, великий режиссер Мейерхольд, великий ученый и религиозный мыслитель о. Флоренский приняли еще более мученическую смерть, сами не повинные ни в единой кровиночке, одарившие страну и мир великими дарами души и ума, но о них народ не рыдал. Этот липовый монархизм можно сравнить лишь с внезапной и такой же липовой религиозностью. Едва ли найдется на свете другой народ, столь чуждый истинному религиозному чувству, как русский. Тепло верующих всю жизнь искал Лесков и находил лишь в бедных чудаках, теперь бы он и таких не нашел. Вместо веры какая-то холодная, остервенелая церковность, сухая страсть к обряду, без Бога в душе. Неверующие люди, выламываясь друг перед другом, крестят детей, освящают все, что можно и нельзя: магазины, клубы, конторы, жульнические банки, блудодейные сауны, кабаки, игорные дома. Русские всегда были сильны в ересях, сектантстве, их нынешнее усердие в православии отдает сектантским вызовом и перехлестом.

Я не был молчаливым свидетелем фашистского разгула, начавшегося с первым веем свободы, и, кажется, единственный из всех пишущих ввел тему национал-шовинизма в беллетристику.

И тут произошло странное: фашиствующие осыпали меня злобной бранью в своих дурно пахнущих листках, телефон с завидным упорством обещал мне что-то «оторвать», если я не перестану жить, а интернационалисты застенчиво помалкивали. Равно как и те, кого я взялся защищать. При личных встречах я слышал немало прямо-таки захлебных слов: мол, выдал по первое число черносотенной банде! Но на страницах газет — ни упоминания, будто этих моих рассказов и повестей не существует. Они не сговаривались, у единомышленников и одиночувствующих (в данном случае общее чувство — страх, нежелание дразнить медведя) есть таинственный, неслышимый и невидимый код, позволяющий держать единую линию поведения; здесь она состояла в том, чтобы не считать это литературой. Любопытно, что в нескольких отзывах, прорвавшихся на страницы пристойных газет, как раз подчеркивалось, что, хоть в сатирическом жанре Калитин не похож на себя прежнего, это настоящая и хорошая литература. То был прямой ответ — опять же без сговора — на фальшиво-брегзливую гримасу мнимых ревнителей изящной словесности. Один из сатирических рассказов перепечатали в Америке, два других в Израиле, но пугливо, словно боясь испортить с кем-то отношения. А моя бывшая соотечественница, талантливая новеллистка и прекрасный человек, говорила мне укоризненно: я никогда не поверю, что все так плохо, вы преувеличиваете, это слишком страшно. Мы встретились недавно в Париже, где издана в двух книжках моя сатира, она уныло признала, что я ничего не преувеличиваю.

У совкового гиганта — вся таблица Менделеева в недрах, самый мощный на свете пласт чернозема и самые обширные леса, все климатические пояса — от Арктики до субтропиков, а люди нищенствуют, разлагаются, злобствуют друг на друга, скопом — на весь остальной мир.

Затем случилось то, что заставило было поверить: не все пропало, есть народ, есть, он просто сбился с пути, потерялся, но вот он — горячие лица, сверкающие глаза, упругие движения, чистые шеи. Я говорю об августе 1991 года.

Как ни усердствовали сторонники проигравшей стороны в попытках скомпрометировать это событие, оно навсегда останется золотым взблеском в черной мгле проклятой нашей жизни. Бездарность, нерешительность и несостоятельность бунтовщиков ничуть не снижают героического порыва москвичей, в первую очередь молодежи, ставших в буквальном смысле слова, а не в агитационном, грудью против танков. То был ужасный и подлый

лозунг начала Отечественной войны, когда население, принесшее неисчислимые жертвы ради боеспособности своей армии, недоедавшее и недосыпавшее, чтобы боевая техника соответствовала хвастливой песне — «Броня крепка и танки наши быстры», призвали подставить немецкому бронированному кулаку свое бедное нагое тело. Сейчас все было не так: по своему почину мальчишки и девочки Москвы пошли грудью на танковые колонны своей армии, и молодые парни, сидящие в танках, пожалели сверстников, и в эти святые часы стали народом. Впервые столкнувшись с непонятным, необъяснимым для них явлением народа, организаторы путча, люди тертые, опытные, безжалостные, растерялись, пали духом. Они испугались не в житейском смысле слова, чего им бояться безоружных сосунков, они испытали мистический ужас перед неведомой им силой. Этим, а ничем иным объясняется воистину смехотворный провал затеянного отнюдь не в шутку переворота. Слишком быстрый провал путча дал повод противникам демократии назвать его опереточным. Их презрение к августовским событиям подкрепляется малым числом жертв: несколько раненых и всего трое убитых — разве это серьезно для России, привыкшей каждый виток своего исторического бытия оплачивать потоками крови? Да и сама Россия, похоже, так считает...

Моя очарованность вскоре минула. Возникший неведь откуда народ снова исчез. Его дыхание, его тепло, легшие на стекла вечности, смыло без следа.

Исчез, растаял народ в осенней сырости и тумане, лишь въевшаяся в асфальт близ туннеля на Садовой кровь напоминала, что он был.

Зато появился другой народ, ведомый косомордым трибуном Анпиловым, не народ, конечно, а чернь, довольно многочисленная, смердящая пьянь, отключенная от сети мирового сознания, готовая на любое зло. Люмпены — да, быдло — да, бомжи — да, охлос — да, тина, поднывавшая со дня взбаламученного российского пруда, называйте как хотите, но они не дискретны, они постоянны, цельны, их злоба и разрушительная страсть настояны на яростном шовинизме и, за неимением ничего другого, этот сброд приходится считать народом. Тем самым великим русским, богоносным, благословенным Господом за смирение, кротость и незлобивость, в умирительной своей самобытности так стойко противостоящим западной стертости и безликости. От лица этого народа говорят, кричат, вопят, визжат самые алчные, самые цинич-

ные, самые подлые и опустившиеся из коммунистического болота. Неужели мне хотелось быть частицей этого народа?..

А ведь в расчете именно на этот вот народ, с твердой верой, что этим народом населено российское пространство, затеяли в октябре 1993 года кровавый переворот, который уж никто не назовет шутейным, «патриоты России», властолюбцы, коммуно-фашистская нечисть. И поначалу казалось, расчет верен: тысячи и тысячи москвичей разного возраста, вооруженные заточками, ножами, огнестрельным оружием, двинулись штурмовать мэрию, Центральное телевидение, телеграфное агентство.

Законная власть, как положено, не была готова к такому повороту событий, хотя ничего другого быть не могло. Милиция и армия выжидали, чей будет верх, чтобы присоединиться к победившей стороне.

Когда-то Пушкин вопрошал, что спасло Россию в 1812 году: зима, Барклай иль русский Бог? Он пренебрег официальными мнимостями: гений Кутузова, героизм армии, народное сопротивление. Что спасло нас в ночь с третьего на четвертое от уже близкой победы фашистов? Погода была теплая, Барклая с его преданностью, выдержкой и твердостью в нашем командном составе не оказалось, а Бог явил-таки свою милость. Принесли из Третьяковской галереи в Богоявленский кафедральный собор чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, уже спасшей в давние времена Москву от нашествия Тамерлана, а ныне усилившей перед Господом святую молитву патриарха. Но Господь являет свои чудеса не жестом фокусника, а через физическое явление или через живое слово живого человека. Когда земля дрожала под копытами конницы Железного Хромца, выдалась ранняя осень с утренниками, солившими траву инеем. Тамерлан испугался, что лошади падут от бескормицы, и повернул на юг свою рать. А сейчас к народу обратился захаянный псевдопарламентом, снятый с поста, мужественный и умный Егор Гайдар и призвал москвичей защищать законную власть и демократию. И к зданию Моссовета, заполнив Тверскую, стеклись десятки тысяч безоружных, но готовых стоять насмерть москвичей. Казалось, они пришли из августа девяносто первого, только стало их куда больше. Генералы-матерщинники из Белого дома не отважились бросить на них свою грязную рать — и проиграли.

А дальше все пошло по знакомому сценарию: прекрасный народ сгинул, как не бывал, а побежденный охлос воспрял и с ходу

стал накачивать мускулы для реванша. И будто после громового кошмара Вердена на ветку прилетел демократический воробышек и зачирикал об общей (?) вине и что нет победивших и побежденных, и, Боже упаси, чтобы пострадал хоть волос в красивой прическе Руцкого, чтобы морщинка прорезала лоб Макашова под беретом Саддама Хусейна и чтобы наркотическая ломота не корежила обхудавшее тело спикера. Сидела бы эта проклятая птичка в свежедымящемся навозе, копалась бы в поисках овсинок и не чирикала!..

Господи, прости меня и помилуй, не так бы хотелось мне говорить о моей стране и моем народе! Неужели об этом мечтала душа, неужели отсюда звучал мне таинственный и завораживающий зов? И ради этого я столько мучился! Мне пришлось выстрадать, выболеть то, что было дано от рождения. А сейчас я стыжусь столь желанного наследства. Я хочу назад в евреи. Там светлее и человечней.

Что с тобою творится, мой народ! Ты так и не захотел взять свободу, взять толкающиеся тебе в руки права, так и не захотел глянуть в ждущие глаза мира, угрюмо пряча воспаленный взор. Ты цепляешься за свое рабство и не хочешь правды о себе, ты чужд раскаяния и не ждешь раскаяния от той нежити, которая корежила, унижала, топтала тебя семьдесят лет. Да что там, в массе своей — исключения не в счет — ты мечтаешь опять подползти под грязное, кишашее насекомыми, но такое надежное, избавляющее от всех забот, выбора и решений брюхо.

Во что ты превратился, мой народ! Ни о чем не думающий, ничего не читающий, не причастный ни культуре, ни экологической заботе мира, его поискам и усилиям, нашедший второго великого утешителя — после водки — в деревянном ящике, откуда бесконечным ленточным глистом ползет одуряющая пошлость мировой провинции, заменяющая тебе собственную любовь, собственное переживание жизни, но не делающая тебя ни добрее, ни радостней...

Стихийные бедствия слишком локальны, чтобы пронять современного человека, если он был далеко от эпицентра встряски. Даже уцелевшие жертвы не слишком переживают гибель родных стен, имущества, близких. Плачут, конечно, для порядка, даже голосят, требуют «гуманитарной» помощи но как-то не от души, словно актеры на тысячном спектакле. Истинно довлеет сердцу человеческому, жаждущему обновления, большая

кровавопролитная война, местные разборки не в счет. Первая и вторая мировые войны вполне потрафили современникам. Они ответили этим мясорубкам появлением новой поэзии и прозы, новой живописи и скульптуры, новым зодчеством и музыкой, новым театром и кино, новым способом мышления. Люди никогда так не любят друг друга всякой любовью: родительской, сыновьей, супружеской, братской, грешной, возвышенной, духовной и плотской, как во время массовых убийств, и, выходя из побоища, будто кровью умытые, готовы к тихой, глубокой мирной жизни, к творчеству и песням, которых не было. А затем все начинается сначала.

Люди часто спрашивают — себя самих, друг друга: что же будет? Тот же вопрос задают нам с доверчивым ужасом иностранцы. Что же будет с Россией? А ничего, ровным счетом ничего. Будет все та же неопределенность, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем случае. В худшем — фашизм. Неужели это возможно? С таким народом возможно все самое дурное.

Серьезные люди — Солженицын в их числе — считают аксиомой, что народ никогда не виноват. А почему, собственно? Не виноваты крысы, пауки, тарантулы, ядовитые змеи, яростные тасманские дьяволы, перекусывающие железный прут, никто не виноват в природе, ибо все совершенны в своём роде и не могут быть другими. У человека, увы, эта безвинность отобрана, в нем природа сделала попытку создать мыслящую материю. А раз он мыслит, раз способен выбирать из ряда возможностей, лучших и худших, то действия его не инстинктивны, и он отвечает за все, что делает. Отвечает перед самим собой, то есть перед совестью, перед окружающими, то есть перед обществом, отвечает перед законом, отвечает перед Богом, если он Бога обрел. Народ состоит из людей, он так же ответственен, как и отдельный человек, недаром Господь карал за общий грех целые народы. Немецкий народ осознал свою общую вину, покаялся в ней, вновь обретя нравственное достоинство.

Самая большая вина русского народа в том, что он всегда виновин в собственных глазах. Мы ни в чем не раскаиваемся, нам гуманитарную помощь подавай. Помочь нам нельзя, мы сжжем любую помощь: зерном, продуктами, одеждой, деньгами, техникой, машинами, технологией, советами и опять разверзнем пасть — давай еще!..

Может, пора перестать валять дурака, что русский народ был и остался игральным лежащим вне его сил, мол, инородцы,

пришельцы делали русскую историю, а первожитель скорбных пространств или прикрывал голову от колотушек, или, доведенный до пределов отчаяния, восставал на супостатов? Удобная, хитрая, подлая ложь. Все в России делалось русскими руками, с русского согласия, сами и хлеб сеяли, сами и веревки намыливали. Ни Ленин, ни Сталин не были бы нашим роком, если б мы этого не хотели. Тем паче бессильны были бы нынешние пигмей-властолюбцы, а ведь они сумели пустить Москве кровь. Руцкой и Макашов только матерились с трибуны, а перли на мэрию, Останкино и ТАСС рядовые граждане, те самые, из которых состоят народ. Но их сразу вывели из-под ответственности. Незаконные милости столь же растлевающи, как и незаконные репрессии.

Я взял бы в качестве эпиграфа первую строчку из стихотворения Печерина: «Как сладостно отчизну ненавидеть», рука не повернулась добавить к ней вторую: «И жадно ждать ее уничтожения». Когда-то русофил Константин Леонтьев в мучительном прозрении сказал: «Предназначение России окончить историю, погубив человечество». Печерин разделяет его точку зрения, он видит «в разрушении отчизны» денницу всеобщего спасения. До какого же отчаяния довела Россия двух прекрасных сыновей своих!

С этим связано и отношение к нам мира. До 1985 года — ненависть и боязнь; после 1985-го пропала боязнь, появилось расположение, сменившееся вскоре презрением; ныне к презрению вновь добавилась боязнь. На то есть все основания: в безумных и слабых наших руках — оружие, способное в два счета осуществить предсказание Леонтьева. Но еще хуже, что тысячи людей, владеющие секретом этого оружия, разбежались по странам, вождедеющим смертоносного атома и не обременным излишним человеколюбием.

А если не дать погибнуть всему миру и не уничтожить превентивно Россию — возможно ли это? Придется вспомнить святые, в зубах навязшие и ни на кого не действующие слова апостола Павла: «Несть эллин, несть иудей». Подставим под эллина русского, а под иудея все остальные нации, существующие на планете. Спасение только в одном: стать из народов многих, из вавилонского столпотворения, не прекратившегося по сей день, человечеством. Таким же честным единством, как львы, как крысы, как олени, как тасманские дьяволы, как орлы или воробьи. В единстве этом никто не лучше, не хуже, все делают одно дело:

спасают среду обитания, вместе стараются выжить в почти задуманной природе. А в свободные часы и праздники пусть каждый гуляет, как хочет. С одним условием, чтобы праздничный бифштекс был без крови.

Русские, конечно, перепугаются: пропадет богатство национальных красок. Ничего не пропадет, каждый волен бить дробцы или чечетку, орать в микрофон или петь жаворонком, носить сарафан или бикини.

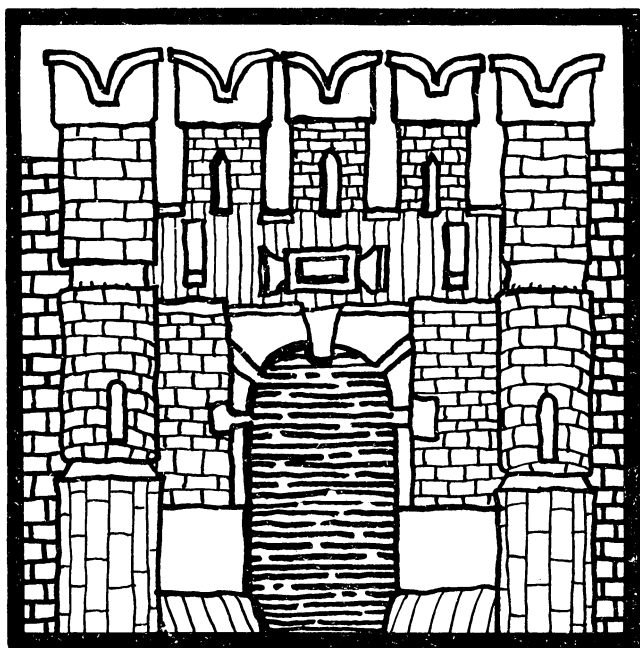
Как хочется поверить, что есть выход! Как хочется поверить в свою страну!

Трудно быть евреем в России.

Но куда труднее быть русским.

ПЕРЕКРЕСТОК

Ц О М Е Т



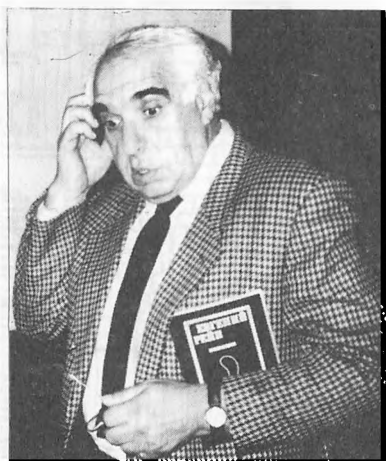
ФОТОАЛЬБОМ



Юрий Левитанский



Лев Разгон



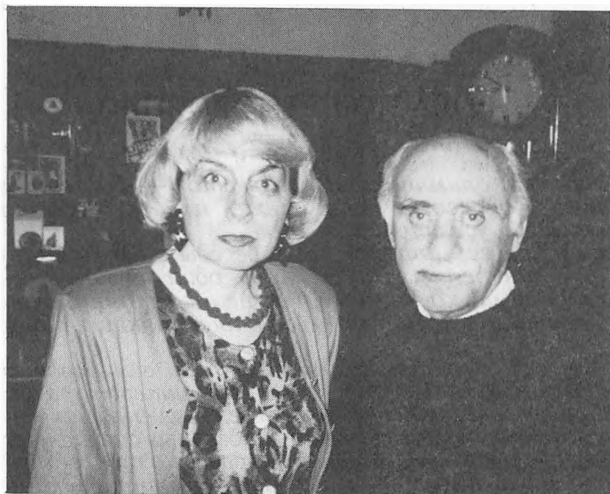
Евгений Рейн

ПЕРЕКРЕСТОК

ЦОМЕТ

*

ФОТОАЛЬБОМ



Рада Полищук и Семен Липкин



Лидия Либединская и Александр Иванов

ДОРОГА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Первый выпуск альманаха «Перекресток — Цомет» уже, похоже, дошел до своего читателя и вот вдогонку ему отправляется выпуск второй...

Отклики в прессе, а также наши беседы с авторами, специалистами и читателями высветили один фундаментальный вопрос, на который, конечно же, мы не в состоянии дать однозначного ответа, но поставить его отчетливо и ясно все-таки обязаны.

Вправе ли мы говорить сегодня о наличии в мировой культуре некоего феномена под названием «еврейская литература на русском языке»? Или это просто мираж: взглянул поближе — он и растворился. А что осталось? Лишь отдельные специфические темы в творчестве русских писателей — евреев по пятому пункту?

Замечательный писатель и глубокий мыслитель Семен Липкин считает, что ответ однозначный: «Нет и не может быть». Более того, в самом определении он усматривает логический нонсенс: «еврейская на русском» — такого не бывает.

Чтобы хоть как-то оправдать свое самонадеянное упращение в невольном споре с большим мастером я сошлюсь на авторитеты писателей и литературоведов известных — Эфраима Бауха, Владимира Глозмана и Симона Маркиша, придерживающихся прямо противоположной точки зрения.

И все же при всем многообразии авторских позиций содержание как первого, так и второго выпусков альманаха однозначного ответа на поставленный вопрос не дает. Что такое «еврейская тема» для Льва Разгона и Семена Липкина? Лишь одна из тем их творчества пусть и душевно близкая, но не главная. Для Юлия Крелина и Булата Окуджавы — не более чем, пусть порой и пристрастные, путевые заметки «русского путешественника» по Земле Обетованной. Для Аллы Гербер и Бенедикта Сарнова — повод взглянуть на прошлое, далекое и притом родное. Вопрос самоидентификации полукровки у Юрия Чернякова — вопрос важный и, вероятно, очень болезненный, но совершенно не еврейский. По-видимому, только у Асара Эппеля еврейское является подлинной творческой магистралью.

Другое дело — израильтяне. Приехав в Эрец Исраэль в семидесятые и девяностые годы, многие из них вошли в новую литературную струю плотно, всерьез и надолго. Оно и понятно: и Арнольд Каштанов, и Дина Рубина, и Светлана Аксенова пишут либо о том, что они сегодня видят вокруг, либо о том, что больше всего берedit их души из прошлых воспоминаний.

Совсем немногие, подобно Григорию Кановичу, ступили на израильскую землю уже состоявшимися мастерами, всегда творившими в русле еврейского мироощущения. И наоборот, проживший более двадцати лет в Тель-Авиве Илья Бокштейн как был, так навсегда и остался в своем творческом сознании убежденным космополитом.

Произошла удивительная метаморфоза: зародившись на российской почве (иначе и не могло быть!), еврейская литература на русском языке, а точнее, ее ядро, вместе со всем методологическим, интеллектуальным и философским хозяйством переместилась в Эрец Исраэль, ибо там для нее возникла наиболее питательная среда — около полумиллиона российских евреев, в одночасье перемахнувших Средиземноморье. А всего, стало быть, более семисот тысяч, почти пятнадцать процентов населения с родным русским языком!

Таким образом, повторю, эпицентр ныне утвердился в Израиле прочно, а вот волны разбежались от него по всему белому свету, никак не догонишь и не остановишь... Так может быть, мы все же пытаемся схватить за хвост очередного модного призрака?

Допустим... Но что ж это за люди такие, расселившиеся по миру, неугомонившиеся, не постигшие письменности новых своих пристанищ, откликающиеся на далекий зов непостижимой глубины времен и вслед за великим Вавелем пишущие на русском языке свои еврейские книги — израильтяне Игорь Губерман и Эфраим Баух, Елена Игнатова и Борис Камянов, Григорий Канович из Литвы (он совсем недавно переехал в Израиль) и Леонид Коваль из Риги, «американцы» Феликс Розинер и Эфраим Севела, «швейцарец» Симон Маркиш, «канадец» Григорий Свирский, россиянин Асар Эппель, наконец...

Может статься, что русская еврейская литература не более чем миг в истории мировой культуры, всего лишь пауза, возникшая в языковом сознании еврейства, пробел, образовавшийся в тридцатые годы после сталинского геноцида языков идиш и иврит и долженствующий непременно заполниться после неизбежного вхождения новых израильтян из России в национально-культурную традицию еврейского государства.

Но тем паче мы должны сохранить для будущего это завораживающе хрупкое дитя, зафиксировать его суть в сознании нашего и других народов, проложить дорогу по бездорожью, собрать на перекрестке разбегающиеся в мировую даль тропы!

Мы не беремся ничего утверждать окончательно, мы хотим лишь очертить проблему, побудить к размышлению, пригласить к беседе.

Леонид ГОМБЕРГ

ФОТОАЛЬБОМ

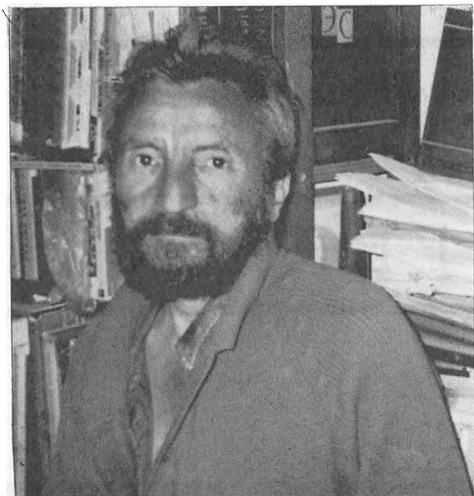


Григорий Канович



Михаил Козаков с сыном Мишей

ФОТОАЛЬБОМ



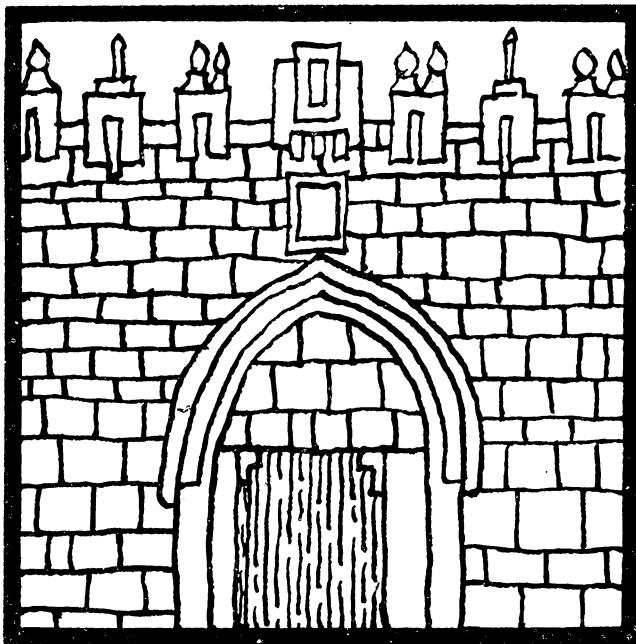
Илья Бокштейн



Марк Котлярский (слева) и Леонид Гомберг

Ц О М Е Т

П Е Р Е К Р Е С Т О К



значашее толкование истории как постижимого и необходимого, поступательного движения человечества. Я стремлюсь оставить вопрос открытым и допустить возможность новых подступов к познанию... Удивление перед тайной само является плодотворным актом познания, источником дальнейшего исследования».

В этом — весь Ясперс. С его верой в возможность общечеловеческой коммуникации в пространстве и во времени, поверх всех культурных, социально-политических и прочих барьеров. Это вера связана с его сокровенным, исключительно интимным и глубоко прочувствованным ощущением культурно-философской и нравственно-этической традиции как извечного братства мыслителей и людей доброй воли всех времен, ибо пока человек философствует, он чувствует себя, по словам Ясперса, звеном в бесконечно живой цепи свободно ищущих людей.

«Общим для этой эпохи, — указывает Ясперс, — является то, что в человеческих пограничных ситуациях встают последние вопросы бытия, что человек осознает хрупкость своего существования. И в то же время, сознавая это, он создает образы и идеи, которые помогают преодолеть страх перед небытием и продолжать жить далее. Именно в эту эпоху возникают мировые религии спасения, начинается, говоря словами Макса Вебера, рационализация».

Как бы мы ни относились к концепции осевого времени Ясперса, нельзя не признать, что философ с достаточной степенью убедительности показал, что пробуждение человеческого духа является не только своеобразным импульсом, но и началом общей, единой истории человечества, которое до сих пор было разделено на разные, почти ничем не связанные между собой человеческие культуры. Чрезвычайно ценной представляется в этом контексте мысль Ясперса, что подлинная связь между народами и культурами, подлинная общность людей — это духовная, а не родовая, не природная и — в очень малой степени — социальная общность. Истинная же духовность рождается перед лицом абсурдных ситуаций, последних вопросов, когда общение людей совершается на экзистенциальном уровне.

Безусловной заслугой Ясперса является и то, что он — один из немногих мыслителей XX века — сумел правильно понять и верно истолковать истинную, провиденциальную, роль еврейского народа, его пророков и религиозных вождей в истории человечества, в развитии мировой духовной культуры.

Эпоха, названная Ясперсом осевой, свидетельствует о конце непосредственного, импульсивного отношения человека к миру и к самому себе. Он начинает осознавать свои границы, свое бессилие в решении последних вопросов бытия — вопросов о своей смертности, своей конечности и конечности всего сущего, о трагической вине — тех вопросов, которые сливаются в один вечный, трагический вопрос о смысле Бытия, о смысле человеческого существования, о назначении Человека в мире, в который он заброшен.

Концепция осевого времени — постулат веры и одновременно допущение, своеобразная интенция разума.

«Может создаться впечатление, — пишет Ясперс, — будто, не признаваясь в этом, я хочу указать на то, что произошло Божественное вмешательство. Ни в коей мере... Ибо это было бы непростительной навязчивостью по отношению к Божеству. Я стремлюсь лишь опровергнуть удобное и по существу ничего не

но поэтому мыслитель как бы зовет на помощь, казалось, вполне забытую, сестру философской веры — веру религиозную. Ясперс мотивирует это следующим образом: «Религия, чтобы остаться правдивой, нуждается в совестливости философии. Философия, чтобы остаться наполненной, нуждается в субстанции религии».

Таким образом, речь, в сущности, идет не о собственно философской вере (как представляется Ясперсу), но о вере философско-религиозной. Эта вера, согласно Ясперсу, общая для всего человечества, имеет глубокие корни в исторической традиции; она много древнее христианства. Время рождения ее — это и есть искомая ось мировой истории, или же, говоря словами Ясперса, осевое время. Это время, примерно 800 — 200-е годы до н.э., когда возникли параллельно в Палестине, Китае, Индии, Персии, Древней Греции духовные движения, сформировавшие тот тип человека, который, по мысли Ясперса, существует и ныне.

В эту эпоху одновременно действовали израильские пророки и первые греческие философы, основатели зороастризма в Иране, буддизма и джайнизма в Индии, конфуцианства и даоизма в Китае. Иными словами, в эту эпоху рассмотрены все возможности философского постижения действительности — вплоть до скептицизма и материализма, софистики и нигилизма. В Иране Заратустра проповедовал учение о вечной борьбе двух начал — добра и зла; в Греции — это эпоха Гомера, Парменида, Гераклита, Сократа, Платона, время появления трагедий и первых исторических повествований.

Следовательно, осевое время — это время рождения и мировых религий, и философии. Именно тогда возникли все основные мировые религии: религия еврейских пророков — иудаизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм, а также были заложены предпосылки возникновения христианства и ислама.

Почти одновременно, на первый взгляд, независимо друг от друга, образовалось несколько духовных центров, внутренне друг другу во многом родственных. Главное, что их сближало и что, безусловно, является ключевой характеристикой осевого времени, — это порыв мифологического мирозерцания, составляющего духовный фундамент прежних доосевых культур. Человеческая личность словно впервые пробуждается к четкому, по сути своей рационалистическому мышлению, к мышлению философски ориентированному.

канонизации существующих текстов Торы, с тем чтобы передать будущим поколениям евреев всю совокупность ее идей и законов.

Подводя итог всему сказанному о раббан Иоханане бен Закайе, Ясперс подчеркивает, что благодаря деятельности великолепной плеяды израильских проросков и религиозных учителей, таких как раббан Иоханан бен Закайя, Израиль, как духовный феномен, на века стал для молодого, развивающегося Запада средоточием духовной и политической мощи, знания и соблазна.

Отмечая тот факт, что в процессе создания своей концепции осевого времени он вдохновлялся духовным подвигом израильских пророков и религиозных вождей и учителей еврейского народа, Ясперс утверждает, что его сближает с этими героями еврейства, кроме всего прочего, феномен иконоборчества. Афоризм «не сотвори себе кумира», пишет Ясперс, восходит к иудейской традиции, изначально боровшейся против идолопоклонства, характерного для язычества — для всех его разновидностей и форм. Впрочем, также и для некоторых монотеистических религий. Ведь и христианство не избежало некоторой идолизации (речь идет о иконографической абсолютизации образа Христа и многочисленных святых). Так, в католицизме (одно из направлений христианства) — ввиду чрезмерной ритуализации и театрализации в его обрядовом комплексе — была вынута живая душа подлинно личностной коммуникации человека с Богом.

Между тем в другом направлении христианства — протестантизме, в какой-то мере, как считает Ясперс, сближающемся с иудаизмом в плане своей обрядовой скромности, неприязательности и интимности отношений человека с Богом, отсутствия профанирующей театральности, личностная коммуникация (человека с Богом и человека с другим человеком) более полноценна, чем в католицизме, и — по своим ценностным качествам — приближается к той, которая имеет место в иудаизме. Именно в последнем, по мысли Ясперса, личностная коммуникация человеком с Богом и человека с человеком обретает свою сокровенную сущность.

Уже упоминалось выше, что в тридцатые-сороковые годы Ясперс ввел в свою концепцию понятие философской веры. На первый взгляд, идеал философской веры является модернизированным вариантом кантовского идеала религии в пределах одного только разума. Однако Ясперс острее, чем Кант, ощущает грозящую философской вере опасность переродиться из высокой надпредметности в пустую беспредметность. Имен-

научил человечество «основам нравственности, основам мировой морали и, по сути дела, цивилизации».

Говоря о выдающихся религиозных учителях еврейского народа, Ясперс более подробно останавливается на деятельности одного из них — «раббан Иоханана бен Заккайя, ученика мудрого Иллеля».

Именно раббан Иоханан бен Заккайя, считает Ясперс, обеспечил иудаизму возможность выжить в тот самый момент, когда римляне полагали, что уничтожили еврейский народ и все его будущее.

Бен Заккай (так он именуется в Мишне), помимо всего прочего, сыграл огромную роль в последние дни перед разрушением Святого Храма. Он, по складу своего характера, был человеком мягким и деликатным и не принимал участия в политических интригах. Но когда увидел бесплодность борьбы против Рима и осознал неизбежность падения Иерусалима, бен Заккайя решил во что бы то ни стало спасти Тору и иудаистское учение. Ему удалось тайно выбраться из осажденной столицы. Когда его привели к римскому полководцу, будущему императору Веспасиану, он попросил у последнего три вещи: разрешить ему и его ученикам обосноваться в городе Явне и открыть там академию для изучения Торы, не истреблять потомков царского Дома Давидова, оказать врачебную помощь рабби Цадоку, который постился сорок лет во имя спасения Иерусалима и Святого Храма.

Веспасиан довольно охотно выполнил все три просьбы: возможно, не подозревая, что, выполняя первую из них, он тем самым способствует сохранению евреев как нации, ибо сохранность и целостность еврейского народа неразрывно связана с Торой. Бен Заккайя, будучи гениальным стратегом и тактиком, наверняка предвидел такое поведение Веспасиана. Он прекрасно понимал, что устройство в Явне нового Центра Торы заложит основы духовного возрождения Израиля, что, в конечном счете, имеет громадное значение для будущего еврейского народа и еврейского государства.

Академия в Явне была наделена правами, которыми ранее пользовался Синедрион в Иерусалиме. Бен Заккайей был издан ряд важнейших указов в целях «подкрепления» религиозной жизни евреев в Иудее и во всех странах рассеяния. Эти указы подчеркивали, что к Явне перешли все прерогативы Иерусалима. Раббан Иоханан бен Заккайя вместе со своими учениками, среди которых одним из наиболее талантливых был рабби Элиезер бен Урканос, проделали исключительную работу в плане систематизации Предания Устного Учения, собиранию, комментированию и

и всего мира. Иными словами, индивидуальная эсхатология, согласно учению иудаизма, — существенная часть всемирной эсхатологии, реализующаяся внутри нее. В иудаизме наличествует мистическое осмысление всечеловеческой и всемирной истории, как разумного процесса, направляемого и руководимого волей личного Бога.

Ясперс утверждает, что всемирная эсхатология иудаизма сложилась в результате исторических катастроф, постигавших еврейский народ на протяжении всего существования его, в том числе таких, как вавилонское пленение (586 год до н.э.), разрушение Иерусалима римлянами в 70 году н.э., подавление восстания Бар-Кохбы и кровавые репрессии против иудаизма в 135 году н.э. В иудаизме, подчеркивает философ, задолго до появления христианства, возникли темы прихода нового неба и новой земли, согласно пророчеству Исайи, развитые затем в Талмуде и выразившиеся в формуле чаяния жизни будущего века. Наступление будущего века оказывается в контексте всемирной эсхатологии сроком для воскресения прежде умерших праведников (иными словами, решается проблема индивидуальной эсхатологии).

Следовательно, иудаизм интерпретирует эсхатологическое время как окончательное разделение добра и зла, утверждая победу первого над вторым. В послебиблейской еврейской литературе эсхатологическое время именуется Концом. Разрешение всех проблем переносится из настоящего в будущее. Конец будет осуществлять Бог и его посланник — помазанник (Мессия). С приходом Мессии наступит конец времени омрачения и еврейский народ соберется воедино.

Ясперс не только не скрывает, но, наоборот, всячески подчеркивает воздействие на его историософию комплекса идей иудаизма, в том числе на формирование концепции осевого времени.

При этом он указывает, что иудаизм дал миру систему понятий, уже давно ставших достоянием мировой цивилизации. Какие же это понятия? Во-первых, вера в Единого Бога; во-вторых, существование абсолютной морали, обязательной для всех без исключения людей; в-третьих, всеобщее равенство прав; в-четвертых, ответственность человека за свои поступки; в-пятых, необходимость любви к ближнему; в-шестых, слияние с природой и понимание чудес природы как Божьих чудес; в-седьмых, нравственность труда, его этико-эстетический смысл и значимость. По мысли Ясперса, еврейский народ в лице своих пророков и религиозных учителей, творцов великого иудаистского учения,

сокровенные глубины человека, что движет им, в чем человек возвышается над самим собой, соединяясь с истоками бытия.

Самопостижение веры, по мнению Ясперса, «совершается только в ее исторических формах; ни одной из этих форм не дано — если она не хочет быть нетерпимой, а тем самым ложной — считать себя единственной, всеисключающей истиной для всех людей (народов); однако всех верующих объединяет тайная общность».

Итак, принимая постулат веры, Ясперс, казалось бы, возвращается к христианской традиции понимания истории. Ведь именно европейская философия истории от Августина до Гегеля рассматривала исторический процесс как единую линию, имеющую начало и конец, то есть имеющую смысловое завершение. Она видела отправной пункт исторического развития в явлении Христа. Даже Гегель рассматривал христианство как наивысший кульминационный пункт мирового исторического процесса, а явление Сына Божьего он назвал осью истории.

Между тем именно здесь начинается расхождение Ясперса с христианской традицией понимания истории. Обращаясь к данной, линейной схеме истории, Ясперс отказывается усматривать ее ось в феномене Иисуса Христа, поскольку считает, что историческая ось должна иметь значение для всего человечества — однако явление Христа, по его мнению, имеет значение только для христиан.

Ясперс следует дальше, в глубь истории, и здесь он обращается к израильским пророкам — первоначальным провозвестникам иудаизма, его эсхатологии (учения о конечных судьбах мира и человека), специфических особенностях его мышления и мировидения. При этом он отмечает, что Иисус как пророк не сказал принципиально ничего нового по сравнению с его библейскими предшественниками. Более того, сам Иисус подчеркивал, что не претендует на роль основателя новой веры. Ясперс цитирует высказывание Иисуса Христа: «Не думайте, что я пришел нарушать Закон или пророков. Не нарушать я пришел, но исполнить!» (Евангелие от Матфея).

Ясперс отмечает преемственную связь, существующую между христианством и иудаизмом, всемирно-историческое значение последнего для судеб человечества. Он обращается к скрупулезному анализу ключевых моментов эсхатологии иудаизма, исходя из посылки, что лишь углубленное изучение ее, иудаизма в целом может способствовать подлинному пониманию истории, ее цели и смысла.

Мышление иудаизма сосредоточено не только и не столько на судьбах индивида, сколько на судьбах Израиля, избранного народа

различных типов человека. Следовательно, по отношению к ним не имеет смысла вопрос об истинности или ложности. Именно на нем основывалось стремление Гегеля и его последователей установить иерархию мировоззрений, располагая, к примеру, различные типы религиозности в порядке их исторического развития, соответствовавшем, согласно Гегелю, также их абсолютной ценности.

По мнению раннего Ясперса, ни одна из точек зрения на мир не может претендовать на абсолютную истинность. Рассматривать же любой предмет (в том числе и сами мировоззрения) можно только с определенной точки зрения — вследствие чего любая теория с необходимостью квалифицируется как выражение субъективной позиции ее автора, ибо определяется она его психологическим типом.

В зрелый период своего творчества (работы тридцатых-сороковых годов) Ясперс стремится если не к преодолению, то, во всяком случае, к радикальному корректированию данной скептически и релятивистски ориентированной философско-исторической установки. С этой целью он вводит в свою концепцию понятие философской веры, в котором, согласно его замыслу, скептицизм должен присутствовать лишь в снятом виде.

В двадцатые-тридцатые годы на Западе была популярна теория культурных циклов, развитая Освальдом Шпенглером, а позднее с некоторыми существенными изменениями — Арнольдом Тойнби, М. Херковицем. Культура здесь рассматривалась как замкнутый в себе, непроницаемый организм, обособленный от других, подобных ему организмов, то есть в работах названных авторов проводилась идея существования ряда равноценных локальных культур, характеризующихся цикличностью развития.

В отличие от творцов данной теории Ясперс делает ударение на том, что человечество имеет единые истоки и единый путь развития, несмотря на все различия в жизни отдельных народов и культур, а также несмотря на то, что многие факты, казалось бы, на первый взгляд, свидетельствуют против этого. Вместе с тем Ясперс утверждает, что научно обосновать выдвинутое им положение невозможно, равно как и невозможно доказать противоположный тезис.

Отказываясь от попыток научно доказать единство истории, Ясперс берет на вооружение постулат веры. Вера, подчеркивает он, «есть то всеобъемлющее, что руководит нами — даже тогда, когда рассудок опирается на свои собственные законы». Вера не тождественна определенному содержанию и догмату, поскольку догмат может быть выражением исторического содержания веры, но может вести и к заблуждению. Вера — это то, что наполняет

Новейшего времени, Ясперс настойчиво проводит мысль о том, что человеческая личность должна научиться жить и любить с постоянным сознанием хрупкости и конечности всего, что она любит, с постоянным сознанием незащищенности самой Любви. Научиться здесь и сейчас. Ибо все в этом мире терпит крушение уже в силу самой конечности существования.

Может ли быть если не преодолен, то каким-либо образом снят феномен трагичности человеческого существования, осознающийся человеческой личностью в процессе осознания ею своей земной конечности?

Может, отвечает Ясперс. Но только внутри истории. Что это значит? За ответом на этот вопрос обратимся к его философии истории.

III

Философия истории Карла Ясперса нашла свое наиболее полное выражение в его книге «Истоки истории и ее цель», вышедшей в свет в 1949 году, спустя четыре года после окончания второй мировой войны. Подобно другим работам Ясперса, опубликованным уже после войны («Проблема вины», «Ницше и христианство», «Философская вера»), исследование философа представляет собой своеобразный отклик на сложившуюся в послевоенной Западной Германии политическую и духовную ситуацию. Одна из ключевых тем его — тема нового гуманизма, возможностей взаимопонимания европейской и неевропейской культур. Автор ставит вопросы: возможно ли найти единство в сфере «последних ценностей» (Ясперс), которое служило бы условием коммуникации, общения и взаимопонимания людей разных культур, разных наций и разных вероисповеданий? Существует ли некое единство в огромном многообразии культур и религий, особенно религий мировых? Если же это единство существует, то в чем оно проявляется и как его обрести не только теоретически, но и практически, реально?

Не случайно поэтому Ясперс рассматривает «Истоки истории и ее цель» как свою программную работу. Еще в ранний период своего философского творчества, в книге «Психология мировоззрений» (1919 год) он (в известной мере под влиянием Макса Вебера) выдвинул идею о противостоянии мировоззрения научно-позитивному знанию, которое должно быть свободно от ценностных суждений, поскольку мир ценностей начинается по ту сторону рационально-научного мышления. Ясперс при этом исходил из того, что мировоззрения — это своего рода выражения

Соотнесенность экзистенции с другой экзистенцией осуществляется в акте коммуникации, соотнесенность же ее с трансценденцией (Бытием) — в акте веры. Термин коммуникация в системе понятийного аппарата Ясперса расширявается как глубоко интимное и личностное общение «в истине». Коммуникация (личностная) — центральное понятие всего мировоззренческого комплекса Ясперса. Она возводится в ранг критерия философской истины и отождествляется с Разумом. «Разум, — пишет Ясперс, — тождествен неограниченной воле к коммуникации. Поскольку Разум в своей всеоткрытости устремлен на Единое во всем сущем, постольку он противодействует прерыванию коммуникации». В этой же работе — «Здравый смысл и Разум в наше время» — он подчеркивает, что «только коммуникация дарит человеку его подлинную сущность». Здесь следует отметить значимость такого вида коммуникации, как художественная, то есть между художником-творцом и воспринимающим произведение искусства субъектом.

Прорывом объективированного мира является, по мнению Ясперса, как подлинно человеческое общение, так и сфера творчества — философского, религиозного, художественного. В то же время философ подчеркивает, что истинная коммуникация, в том числе коммуникация в области искусства и художественного творчества, помимо всего прочего, таит в себе своего рода трагический надлом, поскольку мир внешний, объективированный, постоянно грозит разрушить (и нередко разрушает) экзистенциальную коммуникацию, превращая бескорыстный процесс человеческого общения из самоцели в нечто, носящее глубоко инструментальный характер, в своеобразное средство для чего-то другого.

Как уже было сказано, одно из важных отличий религиозного экзистенциализма от атеистического заключается в том, что, если последний вообще отрицает возможность выхода человеческой личности (экзистенции) за свои пределы (то есть трансцендирования) и возможность подлинного общения (экзистенциальной коммуникации), мотивируя свое отрицание тем, что человеческое существование протекает — поскольку «Бог умер» — «перед лицом ничто» (Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр) и, значит, характеризуется фальшью и ханжеством — то первый (религиозный экзистенциализм — Ясперс, Шестов, Бубер) настаивает на том, что именно Любовь есть такое трансцендирование, которое реализует прорыв к другой субстанции — будь то субстанция человеческая или Божественная. Подобно Буберу, крупнейшему еврейскому философу-экзистенциалисту Нового и

профессором по ряду важных вопросов, затронутых в этой книге». В заключение Ульбрихт отмечает, что общественность ГДР рассматривает книгу Ясперса как определенный вклад в дело борьбы за мир и прогресс.

Ясперс не ответил на «Открытое письмо...» Ульбрихта. Подобным же образом он реагировал на множество других попыток коммунистических и прочих функционеров сделать его ангажированным профессором. До конца жизни (Ясперс умер в 1969 году) он оставался одиноким, «частным мыслителем» (Серен Кьеркегор), не связанным ни с одной из существующих в ФРГ политических партий. Боннский истеблишмент при жизни Ясперса относился к нему с едва скрываемым недоверием, впрочем, его это мало волновало.

II

Парадоксально, но факт: экзистенциализм, или философия существования (от позднелатинского *existentia* — существование), — направление современной философии, возникшее первоначально в сравнительно отсталой в экономическом и социально-политическом отношении России накануне первой мировой войны. Русский экзистенциализм (его творцы — Николай Бердяев и Лев Шестов) был религиозным. Экзистенциализм, зародившийся на Западе уже после первой мировой войны, подразделяется на атеистический (Хайдеггер, Сартр, Мерло-Понти) и религиозный (Ясперс, Марсель, Бубер). Демаркационная линия между ними проходит в плане так называемого феномена трансцендирования, иначе говоря, выхода экзистенции за свои пределы. Остановимся на этот моменте более подробно.

Согласно представлениям религиозных экзистенциалистов (Ясперса, Марселя, Бубера), трансцендентное — это Бог. Несмотря на то, что ОН непознаваем, все человеческое духовное творчество является, в сущности, выражением стремления человеческой личности к Богу, попыткой постижения Его.

По мнению Ясперса, личность предполагает существование сверхличного, того, что ее превосходит и к чему она поднимается в процессе своей творческой самореализации (впервые к этой мысли пришел Бердяев, но у него она не получила соответствующей четкости и завершенности). Бытие (подлинное), то есть трансценденция, по сути своей — сокровенное обиталище свободы, которая обретается в Боге. Выхода за свои пределы, личность (то есть экзистенция) реализует диалог с Богом, который представляет собой не что иное, как прообраз ее диалога с миром, то есть с другими людьми.

покидает Германию и до разгрома гитлеризма проживает в Швейцарии, где продолжает совершенствовать свою концепцию религиозного экзистенциализма (в противоположность экзистенциализму атеистическому, разрабатываемому Мартином Хайдеггером и его последователями).

В период нацистской диктатуры в Германии философские работы Ясперса воспринимались интеллектуалами-антифашистами на Западе как «бесстрашный призыв к восстановлению погранных фашистскими варварами гуманистических ценностей».

После 1945 года на гребне послевоенного либерального «отрезвления» значительной части немцев Ясперс приобрел большую популярность, в особенности в среде студенческой молодежи Германии и Западной Европы в целом.

В некоторых книгах, написанных для широкого круга читателей, в частности, в нашумевшей работе «Проблема вины. К немецкому вопросу», опубликованной в 1946 году, Ясперс выступает как политический моралист, призывающий свой народ к признанию «немецкой вины» перед человечеством, и прежде всего перед еврейским народом. «Допущение нацистов к власти, соучастие в зверских преступлениях, совершенных гитлеровскими головорезами» — именно в этом видит Ясперс главную вину немецкого народа, который он призывает к «покаянию и очищению».

В 50-х годах с позиций классического западного либерализма Ясперс подвергает основательной критике коммунистическую разновидность тоталитаризма. Он видит в агрессивном распространении коммунизма явственную угрозу для существования западной демократии.

Усиление реваншистских настроений в Западной Германии в конце пятидесятых — первой половине семидесятых годов вызывает гневный протест Ясперса. Его книга «Куда движется ФРГ», своеобразная философско-публицистическая инвектива, пользуется большой популярностью не только на Западе, но и на Востоке, в странах Варшавского договора, в том числе — в Советском Союзе. Это была первая работа Ясперса, опубликованная в стране развитого социализма в 1969 году. Правда, вышла она здесь мизерным тиражом в издательстве «Прогресс» с грифом «Для научных библиотек». В это же время к Ясперсу пытаются проторить дорожку идеологи и лидеры мирового коммунистического и рабочего движения. В частности, партийный вождь ГДР Вальтер Ульбрихт публикует в центральном органе СЕПГ (Социалистической единой партии Германии) газете «Neues Deutschland» (10 июня 1966 года) «Открытое письмо г-ну Карлу Ясперсу», в котором выражает свое «сочувствие и солидарность с господином

Здесь наличествует известное расхождение в трактовке сублимации между Фрейдом и его школой и Ясперсом. В отличие от Фрейда, Юнга, а также их учеников и последователей, которые считали, что сублимация желательна для любого индивида (*sublimatio* — возгонка — химический термин от латинского слова *sublimare* — возносить), Ясперс полагал, что последняя желательна только для истинно творческой личности, которая несет миллионам людей свет искусства, красоты и добра, даже если приносит в жертву при этом свои, собственно человеческие интенции. Что же касается обычного человека, лишённого подлинно творческих установок, то, по мнению Ясперса, в этом случае сублимация не только неплодотворна, но даже способна нанести человеку определенный вред, поскольку он не в состоянии переключить свои влечения в какой-либо вид творчества. Попытка сублимации в этом случае может привести индивида к безумию.

В 1921 году Ясперс стал профессором на кафедре философии в Гейдельбергском университете. Этот год — начало его интенсивного философского творчества, продолжавшегося в стенах этого университета до 1937 года.

В 1937 году по инициативе Альфреда Розенберга, «арийского мыслителя» (Адольф Гитлер) и главного идеолога Германской национал-демократической рабочей партии, автора книги «Мифы XX века», Ясперса отстраняют от преподавательской и научной деятельности в Гейдельбергском университете. Нельзя сказать, что нацисты не пытались приручить Ясперса. Незадолго до захвата гитлеровцами власти в Германии нацистские бонзы, так же как и к Мартину Хайдеггеру (второму, наряду с Ясперсом, крупнейшему немецкому философу-экзистенциалисту), подсылали к нему своих эмиссаров, предлагавших Ясперсу сотрудничество и суливших ему всяческие земные блага за поддержку национал-социализма.

В отличие от Хайдеггера, успешно сотрудничавшего с нацистами и оставшегося сразу же после прихода последних к власти в 1933 году ректором Фрейбургского университета, Ясперс отверг заманчивые предложения гитлеровских инстанций и был уволен из университета. Помимо всего прочего, ему инкриминировали брак с неарийкой (еврейкой).

Ясперс оказался в компании таких противников гитлеровского режима, как Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Герман Гессе, Франц Верфель, Карл Штернхайм, Рене Шикеле, Альберт Эренштейн, и других неугодных фашистской Германии деятелей науки, культуры и искусства, чьим уделом стала эмиграция. Он

В одном из писем к жене Ясперс отмечает огромный литературный талант Франца Кафки, его глубинное знание иудаизма, понимание Танаха, Талмуда, Мидраша. Он пишет также о том, что Кафка пригласил его посетить Прагу — культурный центр современного еврейства.

Очевидно, Кафка познакомил Ясперса и с некоторыми из тех своих произведений, которые стали широко известны читательской публике уже после смерти писателя. Думается, беседы Кафки и Ясперса о проблемах иудаизма явились для последнего своеобразным импульсом, сыгравшим немаловажную роль в его пристальном интересе к вопросам иудаизма в годы зрелого философского творчества. Интерес к психоаналитическим идеям Фрейда творчески реализовался в его «Избранных работах по психопатологии». Здесь Ясперс стремился дать свою, оригинальную интерпретацию понятия сублимация. Он пытался вычленить культурологический аспект проблемы сублимации. Согласно Ясперсу, сублимация поэта, художника, культурного деятеля — это всегда плодотворная творческая сублимация, иначе говоря — творческое вытеснение, или переключение своих сексуальных влечений художником-творцом в сферу того или иного вида искусства. Целые когорты и поколения мастеров, утверждает Ясперс, переключали свои влечения в область, которая вследствие этого достигла совершенства, становилась классикой. Такая классика стоит любой жертвы. И если, к примеру, классическая европейская музыка на своем стремительном пути к совершенству от XVI до XVIII века проглатывала своих мастеров, более похожих на служителей, чем на жертвы, она тем не менее всегда излучала свет, утешение, мужество, радость, являлась для тысяч людей, которые этого подчас даже не сознавали, школой мудрости, отваги, искусства жить.

И когда (делает вывод из сказанного Ясперс) одаренный человек, используя энергию своих влечений, создает подобные вещи, следует считать его существование и его деятельность в высшей степени ценными, даже если он, как индивид, обладает патологическими чертами.

«Но, — подчеркивает Ясперс, — сублимация представляется мне позволительной и даже чрезвычайно желанной лишь тогда, когда она результативна, когда жертва приносит плод». Так именно и происходит с большими художниками слова, с живописцами, музыкантами, то есть творцами новых, оригинальных эстетических ценностей, которые «совершенствуют истинную сублимацию не из честолюбия, не по волевому приказу, но из благодати...».

КАРЛ ЯСПЕРС И ИУДАИЗМ

I

Что сближает одного из крупнейших немецких философов-экзистенциалистов с иудаизмом? Прежде чем ответить на этот вопрос, представляется необходимым обратиться к некоторым ключевым этапам жизненного и творческого пути Карла Ясперса.

Карл Ясперс родился 23 февраля 1883 года в состоятельной бюргерской семье. Он рано понял, что философия является его призванием, но долго не решался сделать ее своей профессией.

Молодой Ясперс посещает Гейдельбергский университет, где изучает медицину, а затем специализируется по психологии. В 1913 году решением ученого совета ему присуждается ученая степень доктора медицины. В 1916 году (не без поддержки своего учителя, видного философа, творца «эстетики вчувствования» Теодора Липпса) Ясперс становится профессором психологии Гейдельбергского университета.

В том же 1916 году Ясперс приезжает в Вену специально для того, чтобы познакомиться с Зигмундом Фрейдом, которого в письмах к друзьям восторженно именует «венским пророком». Фрейд, в свою очередь, знакомит его с «принцем психоанализа» Карлом Густавом Юнгом и другими своими учениками, тогда же в литературно-художественном кружке поэта и драматурга Гуго фон Гофманстала он встречается с молодыми еврейскими интеллектуалами — Стефаном Цвейгом, Максом Бродом и Францем Кафкой.

Пражские литераторы Макс Брод и Франц Кафка производят на него очень хорошее впечатление. С далеко несправданным любопытством присматривается Ясперс к Францу Кафке. Этот замкнутый, нервный, болезненно впечатлительный человек представляется ему писателем с большим будущим. Многие вечера они проводят вместе, беседуя о еврейских древностях.

ворить, «культурологией». Дело это (особенно в то время) небезопасное... Результат понятен и, я бы даже сказал, для умного человека — естествен: в декабре 1961 года Исаак Савранский загремел на три года в ссылку — в таежное селение Кыштовку в Западной Сибири.

Здесь-то и приобщился к основам иудаизма (в Кыштовке! — воистину неисповедимы пути Господни). Первыми его просветителями были таежные крестьяне из «секты жидовствующих», предки которых исповедовали иудаизм еще при московском великом князе Иване III.

Наконец, вернувшись в Москву, он закончил университет, затем аспирантуру философского факультета, а в 1970 году защитил диссертацию с мудреным названием «Роль ассоциативности в словесном искусстве». В дальнейшем издал несколько книг, некоторые из них переводы на испанский, английский, португальский и немецкий языки.

Но семена, посеянные в душе Исаака «кыштовскими евреями», не зачали. Работая в ИНИОНе АН СССР (Институте научной информации по общественным наукам) он, с началом перестройки, получил доступ к «закрытой» литературе и познакомился с проблемами истории еврейства, а также с работами видных сионистов, в том числе и Зеева Жаботинского.

Кыштовские всходы, таким образом, были как следует удобрены, и в мае 1990 года вместе с женой, дочерью и зятем Савранский репатрируется в Эрец Исраэль. Здесь он активно занимается литературой и общественной деятельностью.

Мы познакомились в начале 1992-го. Исаак был членом правления Союза русскоязычных писателей Израиля. Я показал ему рукопись своей первой книги. Compliments в свой адрес я опускаю, Исаак вообще был щедр на комплименты. (Я же говорил: добрый человек...) Но, Боже мой, сколько же этих «щедрых на комплименты» я перевидал за свой недолгий, но бурный литературный век! Исаак же взялся за дело: он вдруг стал активно и совершенно бескорыстно (а что с меня было взять!) «толкать» меня и мою злосчастную рукопись... А скольким писателям-репатриантам он помог еще: словом, делом, душой своей...

Ну вот, пожалуй, и все. Исаака больше с нами нет...

«Савранский Исаак родился в Одессе в 1937 году» — так я хотел начать. Да не сложилось...

Леонид Гомберг

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ РИШОН-ЛЕЦИОНА

Знаете ли вы эти вечные еврейские разговоры: «ехать — не ехать»; «если ехать, то куда...», «если туда (в Израиль, Германию, Канаду), то там-то уж точно есть такие надежные люди, старые знакомые, которые не оставят в беде...»? А вы, опытный эмигрант, по полной программе вкусивший все прелести отъезда на ПМЖ¹, слушаете с испугом и вспоминаете себя таким же... взбудораженным.

Как расскажешь этим милым людям, отчаянно гомонящим за предотъездным столом, что все их предварительные выкладки, «выверенные и апробированные», окажутся горькими иллюзиями в самом скором эмигрантском будущем, что люди, о которых они сегодняя помышляют как о «надежде и опоре», скорее всего просто не обратят внимания на их существование, пройдут мимо, в лучшем случае одарив своих прежних приятелей милой ничего не значащей улыбкой и парой банальных, абсолютно бессмысленных советов! Как скажешь им эту правду?

И как сказать им о том, что эта правда — не вся правда: что вдруг отыщутся на их колдобистом пути люди (обязательно встретятся такие!), вовсе не знакомые, которые, едва сами встав на ноги, будут носиться со своими зачуханными соплеменниками, как с писаной торбой, куда-то звонить, проталкивать, приглашать... И вот эти-то неожиданные благодетели, сами (простите за соцреалистическую пошлость) «парии в мире чистогана», преподнесут вам веру в то, что не все еще потеряно, не все кончено, а может быть, чем черт не шутит — жизнь только начинается!

Именно таким человеком был мой покойный товарищ, новый израильтянин, доктор философии из Москвы Исаак Савранский...

И не надо, ради Бога, скептической улыбки по поводу того, что о покойниках — либо ничего, либо... Не надо!

Помимо работ по философии и культурологии, Исаак писал прозу и стихи. Не всем нравились эти его писания; скажу откровенно: из написанного им не все в равной степени по душе и мне. Что с того? Исаак был человеком, и не просто человеком, а Добрым человеком... Вот это уже талант!

Я отметил бы два факта в его непростой «биографической повести».

В 1959 году, будучи студентом филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Исаак знакомится с выдающимся ученым профессором В.Ф. Асмусом и начинает всерьез интересоваться философией культуры, или, как сейчас модно го-

¹ ПМЖ — постоянное место жительства.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Исаак САВРАНСКИЙ



никовых записях на отвратительный холод, боль в ноге и уже не покидающее его дурное настроение.

Лишь изредка повествование Бродского освещается живыми и терпкими деталями, как правило, мемориального свойства, связанными с памятью о дорогих поэту людях: «На красных плюшевых диванах, вокруг мраморного столика с кремлем бутылок и чайников, сидели Уистан Оден со своей самой большой любовью — Честером Калманом, Сесил Дэй Льюис со своей женой и Стивен Спендер со своей. Уистан рассказывал какую-то смешную историю, и все хохотали. Посреди рассказа за окном прошел хорошо сложенный моряк, Честер встал и, не сказав даже «до свидания», пустился по горячему следу. «Я посмотрел на Уистана, — рассказывал мне Стивен годы спустя, — он продолжал смеяться, но в глазах у него стояли слезы».

Но главное, что спасает прозу поэта от полнейшего крушения и скуки, — это хотя и несколько однообразная, но выстраданная интонация усталого иронического неверия в обольщение мира сего, разочарованного гедонизма и патрицианской надменности. Он пишет, как последний патриций, обреченный после крушения своего Рима (первого, второго, третьего, а четвертому не бывать) странствовать из отеля в отель, убеждаясь, что все вокруг, в сущности, одинаково хрупко, смертно и безнадежно, и нам остается только недолговечная, но по-прежнему сладостная любовь на фоне очередных постисторических руин да одинокое писательство, как призрачное лекарство от забвения. Эта интонация, по поводу которой, конечно, тоже можно немало иронизировать, тем не менее привлекательна и хорошо удается поэту. В ней ощущается к тому же бодрящий воздух незавербованного международного скитальчества и привкус свободы — чего, например, вовсе лишена архаичная поэзия и эссеистика Александра Кушнера («Аполлон в снегу»), который, подобно Бродскому, вышел из рукава все того же петербургско-ленинградского мифа, но, в отличие от «Иосифа Прекрасного», так и застыл в стародевичьих жеманных постакистических пределах: распахнутый взор, поджатые губы и невыносимое благоприличие в каждом произнесенном слове.

Именно таких поэтов, как Бродский, — банальных, «трагических» и надменных, доступных интеллигентному культурному восприятию, — особенно уважает и ценит транснациональный литературный истеблишмент. Именно этих людей он награждает лауреатскими лаврами. И в таком случае Бродский поистине заслужил свой беспрецедентный успех.

Византия, Константинополь, проливы — большая тема для традиционного русского культурного сознания. Это его кровоточащая рана. Его воспалительный процесс. Эрогенная зона, прикосновение к которой сулит наслаждение, а неосторожное движение вызывает боль, отдающуюся во всем теле этой культуры, во всем составе этой вождедеющей и несбывшейся политики. У Бродского была великолепная возможность написать метатекст поверх этого кровавого зияния, марлей и пластырем палимпсеста утишить вековую русскую боль, сделав ее очередным объектом своего иронического «постмодернистского» парения. Вместо этого он сграницился изложением собственных воззрений относительно широкого круга предметов, что провоцирует в читателе ощущение изрядной неловкости, ибо на сей счет нам доступны и другие источники, в которых означенные темы трактуются куда как острее и компетентнее.

То же самое уместно сказать и применительно к большому эссе о Венеции, давшему красивое название сборнику прозы поэта, — «Набережная неисцелимых». Пожалуй, самое лучшее и парадоксальное в этом произведении — раскавыченная цитата из Уильяма Хэзлита, который как-то обмолвился о том, что альтернативой Венеции был бы город, построенный в воздухе, да еще пронизанный глубокой, личной и потому вдохновенной злобой, — фрагмент об Эзре Паунде, навеянный воспоминанием о встрече с его бывшей подругой. В остальном же Бродский странствует в изъезженной колее привычных культурных ассоциаций и псевдометафизических рассуждений о том, что вода равна времени и снабжает красоту ее двойником, а мы служим красоте на тот же манер, и, полируя воду, город улучшает внешность времени и делает будущее прекраснее, ибо город покоится, а мы движемся, и слеза тому доказательство, ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее, а слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом, и слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому, и любовь, оказывается, больше того, кто любит, и прочее в том же духе. Все эти красоты были бы (и действительно были) простительны Джону Рескину и Джону Саймондсу, открывавшим Венецию для англоязычной публики в минувшем столетии, но уже Генри Деймс так не писал, и правильно делал.

Любопытно, что даже некоторые сугубо личные и физиологические ощущения Бродского в связи с Венецией — зимний холод в неотапливаемом помещении, нездоровье, тревога, неврастения, — уже отчетливо зафиксированы в культурной традиции, вовлекавшей в свои пределы неуютную итальянскую зиму. Сразу же вспоминается постаревший и желчный Стендаль, жалующийся в днев-

Но это, по крайней мере, некоторое интеллектуальное общее место (ни у кого не украдено и не свое, как говаривал в подобных ситуациях Ильф). Некоторые же пассажи сочинения озарены светом чужих идей, и остается неясным, намеренно ли автор не ссылается на предшественников или он не подозревает об их существовании. Он пишет, например, следующее: «Воевать с Востоком — или даже освобождать Восток — и жить на Востоке — разные вещи. Византия, при всей ее греческости, принадлежала к миру с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе, в каком бы языческом он ни был — Риме. Хотя бы уже чисто в военном отношении Персия, например, была более реальной для Византии, чем Эллада. И разница в степенях этой реальности не могла не отразиться в мироощущении этих будущих подданных христианского государства. Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь — целых три! — в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол или содрали бы с него живьем кожу, — и дело с концом, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего — как их действительно и не было на Востоке; был бы просто монолог корана...».

Этот изящный пассаж является вольным или невольным, но очень близким заимствованием из одной уже давней, начала семидесятых годов, статьи Сергея Аверинцева, в которой подробно и во всеоружии подлинной филологической эрудиции трактовалось о различном понимании плоти на античном Востоке и Западе и приводились сходные примеры. Если Сократ, согласно филологу, мог в последний раз в своей жизни насладиться демократической акустикой собственной публично развертывающейся защитительной речи, а самоубивающийся стоик имел напоследок возможность продемонстрировать собравшимся возвышенное зрелище стоической атараксии, то происходило это лишь потому, что оба они располагали обоснованной уверенностью в том, что их действия не будут прерваны пыткой — калечащей тело и унижающей дух.

Справедливости ради следует признать, что античный тиранический Запад тоже отнюдь не чурался пыток, — достаточно вспомнить, говоря словами философа Жоржа Батая, окровавленный язык Анаксарха Абдерского, перекушенный собственными зубами и выплюнутый в лицо тирану Никокреону, так же как язык Зенона Элейского, выплюнутый в лицо Демилосу, — после того как оба этих философа были подвергнуты ужасающим пыткам, в частности, первого из них живого толкли в ступе. Но не об этом идет сейчас речь.

безусловно, свойственны и тяжелая преддрешенность эмоциональных и психологических состояний, и очевидная стертость культурных сопоставлений, и нередкая тривиальность общей картины мира; ее слишком легкая распознаваемость — всецело в границах читательского ожидания. Тем не менее некогда сильное (с годами заметно ослабевшее) движение больших стихотворных масс в той или иной степени превозмогает эти органические недостатки, не позволяя, впрочем, забыть о них окончательно. В эссеистике же Бродского с ее покушениями на независимую от красот слога концептуальность, его писательское слово терпит полный провал. Здесь перед нами выступает просто банальный автор, безуспешно силящийся хоть как-то скрыть от посторонних глаз ужасные пустоты мысли, которыми сопровождается чуть ли не каждое его значительное интеллектуальное усилие. Необычайно показательный пример — обширное эссе «Путешествие в Стамбул». Автор не ограничивается лирическим дневником, но с необычайной, изнурительной неспешностью высказывает свои соображения относительно психологических причин, побудивших императора Константина учредить в Византии новую столицу Римской империи, Второй Рим (в разговоре с одним американским византинистом автору пришло в голову, что «крест, привидевшийся императору Константину во сне, накануне его победы над Максентием, — крест, на котором было начертано «Сим победиши», был крестом не христианским, но градостроительским, то есть основным элементом всякого римского поселения»). Затем следуют пространные рассуждения о Вергилии и линейном принципе поэзии и существования, потом — об александрийской поэтической школе, чуть после возникают в тексте и уже до самого конца повествования не покидают нас сравнительные характеристики язычества, христианства и ислама.

Во всем этом, разумеется, не было бы ничего дурного, если бы не одно чрезвычайно компрометирующее автора обстоятельство, — исключительная поверхностность и преддрешенность всех его культурных ассоциаций и сцеплений, банализация чуть ли не всех культурных контекстов, попадающих в произведение. Первый Рим сравнивается со Вторым, а Второй — с Третьим. Византия сопоставляется с Османской империей, а последняя — с империей Советской. Утверждается, что Востоку, как бы мы его ни идеализировали, невозможно приписать хоть какое-то подобие подлинной демократической традиции, — короче говоря, в этом тексте, за единичными исключениями, когда в авторе ненадолго просыпается поэтический азарт, нет ничего, о чем не был бы слышан и до чего не мог бы самостоятельно додуматься любой интеллигентный читатель.

совратить легион нестойких умов. Уж автор-то хорошо знает, что делает.

Так, Чичиков, незаметно подсовывая взятку чиновнику в присутственном месте, хотел дать тому знак, что вот, мол, они, деньги, посмотрите, но чиновник в ответ показал, что, дескать, не трудитесь, я все вижу.

Такая поэзия — очень умная, продуманная, умудренная, да вдобавок еще терпкая и внутренне просветленная, как благородное вино, — с легкостью отведет от себя справедливый упрек в том, что ее автор живет на культурную ренту и, находясь в бесконечном поиске культурных соответствий, избегает прикосновения к живым тканям мира. Можно подумать, скажет эта поэзия в ответ, что культура, даже самая клишированная и очевидная, не в состоянии служить подножным кормом для поэтического слова, которому якобы и невесть кем вменено в обязанность охотиться за непосредственными и естественными впечатлениями. Как заметил историк литературы, XX столетие, расставшись с романтизмом, осознало, что естественность и непосредственность — миф и что громоздкая сложность и противоречивая напряженность, предположим, римской цивилизации нам едва ли не понятнее тихой прелести греческого быта.

И уж тем более этой поэзии нипочем участвовавшие разговоры о том, что все культурные ассоциации в ней вопиюще поверхностны и банальны (Советский Союз, по словам моего приятеля, в обязательном порядке влачит здесь за собой истрепанный шлейф сопоставлений с Византией, Поднебесной и, разумеется, с Римской империей, а маршал Жуков сравнивается с Велизарием и Помпеем).

Поэтическое слово — не абстрактная интеллектуальная конструкция, а великолепная интонация патрицианской надменности, разочарованности и международного скитальческого гедонизма, с обреченной иронией примирившегося с калейдоскопическим однообразием доступных стран и народов и отсутствием посреди них Отечества, — эта интонация скрасит любую пошлость и превратит нужду в добродетель.

И не страшно автору, когда его называют поэтом-бухгалтером, скрупулезно рассчитывающим свои утомительные перечни-каталоги, каковые ни один нормальный читатель не то что не запомнит, но и глазом никогда не охватит, так далеко и бесхребетно они растекаются за все мыслимые синтаксические пределы. Во-первых, допустимо ответить на это, бухгалтерия там двойная (с двойным дном), а во-вторых, кому надо — запомнит, чему есть немало примеров.

Повторю во избежание недоразумений. Чрезмерно благополучной и давно уже энергетически неполноценной поэзии Бродского,

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРИЦИЙ

Эссеистика Иосифа Бродского, выходящая нынче то отдельными сборниками («Набережная неисцелимых»), то в собрании сочинений поэта, разглашает генеральные особенности его творчества с той же невольной клинической беспощадностью, с какой пациент, без утайки выложивший свое сновидение врачу, распахивает невротические глубины собственной личности. В своей эссеистике Бродский настоящий Мидас: до чего бы он ни дотрагивался, все обращается в банальность.

Его поэзии, значение которой для судеб современного русского слова безмерно преувеличено, это качество также присуще в высокой степени, но там оно отчасти нейтрализовано хоть и во многом инерционной, но сильной стихотворной формой — блуждающие, архаикомодернистские потоки иронического синтаксиса заглатывают на своем пути абсолютно все, в том числе банальность, создавая впечатление, что именно так и нужно. К тому же поэзии дозволено быть наивной, инфантильной, идиотичной (или, напротив, чрезмерно умной), лиричной или как будто вовсе этого лиризма лишенной, — только бы сохранялось в ней некоторое первоначальное артикуляционное могущество, намек не шевелящиеся губы и перехваченное волнением горло (даже если поэзия — визуальная). Почему бы поэзии не быть и «банальной»? Тем более, что сам автор нимало не скрывает этого свойства, но, осеняя текст слева и справа кавычками просторечия, скепсиса и пессимистической искушенности, демонстрирует нам всю глубину своих сознательных образотворческих усилий: ведь он уже конечно намеренно держит у лица маску говорящего человека, которому доставляет особое удовольствие произносить расхожие стихотворные истины, явленные в лукавом обличии этакого обольстительного авангардного классицизма — последнему удалось

На панихиде в Доме литераторов, где стоял гроб
вместо прощального слова я прочел его стихи:

Хочу, чтобы мои сыны
И их друзья
Несли мой гроб.
В прекрасный праздник погребенья,
Чтобы на их плечах
Сосновая ладья
Плыла неспешно,
Но без промедленья.
Я буду горд и счастлив
В этот миг
Переселенья в Землю.
Что уха мне не ранит
Скорбный крик,
Что только небу внемлю.
Как жаль, что не услышу тех похвал,
и музыки,
и пенья!
Ну что же!
Разве я существовал
в свой день рожденья?
И все же я хочу, чтоб музыка лилась,
Ведь только дважды дух ликует:
Когда еще не существует нас,
Когда уже не существует.
И буду я лежать
С улыбкой мертвеца
И неподвластный всем недугам.
И два беспаятства —
Начала и конца —
Меня обнимут
Музыкальным кругом...

22 апреля 1992 года
Тель-Авив

«Мечты, которые вдруг увядают...».

Никакие «мечты» в нем не увядали. Сколько бы жил — столько бы и писал! И истину он давно познал, но Господь продлевал ему дни. Умер — когда срок пришел, на Пастернаковском вечере. Гердт, бывший на сцене, услышал за кулисами звук упавшей самойловской палки и шум за кулисами, где сидел Давид Самойлович после выступления в ожидании своего друга, чтобы выпить с ним коньячок... Умер легко. «Легкой жизни ты просил у Бога, легкой смерти надобно просить...».

Настроение последних «перестроечных» лет:

«Стараюсь отложить на более отдаленный срок поездку в Москву... Здесь, у нас, довольно тревожно, но, думаю, до крайности не дойдет. Порядок и дисциплина соблюдаются... А в Москве боюсь погрязнуть. Там все сложнее и опаснее».

Дальше то, что я уже цитировал, — про стихи, «выходящие из моды», про «искусство — место неогороженное», «скучно быть либералом...». Помню одно из наших с ним последних совместных выступлений в Пушкинском доме на Кропоткинской. На какой-то вопрос о новых временах отвечал как бы нехотя, без особого либерально-демократического энтузиазма.

Поверить новым временам
 Не так легко при ста обманах...

 И неужели в том открытье,
 Что мы должны во все поры
 Правдиво освещать события,
 А там пусть хоть в тартарары?!

Слово «правдиво» хоть и не закавычено (я, недоверчивый к читателю, непременно бы его закавычил!), но звучит как-то закавыченно...

Были у него стихи в какой-то журнальной публикации той поры, не вошедшие ни в одну из книг. Не могу точно их воспроизвести (публикации у меня нет). Но мысль помню: а, мол, к чему это все приведет, к чему приведет нас нынешний экстремизм, «узнаем позже, в свой черед...».

Он не дождался многого — и хорошего, и дурного, и невероятно страшного, и невероятно интересного. Но еще при его жизни начала происходить смена эпох — понятий, категорий и ценностей. Уходили люди, друзья разных поколений. Одни навсегда, другие, вроде меня, отчаливали...

невольными участниками моего нескромного повествования. Что ж, появился такой «бесстыдный» жанр и утвердился в литературе второй половины двадцатого столетия...

В одном из самых, самых последних писем Д.С. ко мне:

«Понятны и твои грустные размышления о позднем ребеночке. Ребеночек — всегда прекрасно! Учти, что Пашку я породил в твоём возрасте. А он уже вон какой вымахал. По собственному опыту знаю, как радуется и омолаживает ребенок в доме, сколько от него свежих впечатлений. Поздние дети спасают нас от старческого эгоцентризма.

Ностальгические нотки твоего письма мне тоже понятны, но это проходит, а когда появится «третий» или «третья», совсем будет другое ощущение жизни. Беспокоит только, что ищешь для денег тебе много приходится. Приучи семью к аскетизму. Убеди, что ты не богатый, знаменитый актер, а просто бедный еврей, да еще и не полный еврей. К какому «тренингу» приучишь — такой и получишь.

А к общению, конечно, тянет нас, грешных. Но отчасти и по инерции. Можно довольствоваться тремя-четырьмя друзьями. А остальное — факультатив.

Очень больно было читать у тебя в письме о похоронах Арсения (Тарковского — М.К.). Упокой его, Господь!».

Сплошные прощанья! С друзьями,
Которые вдруг умирают...
Сплошные прощанья! С мечтами,
Которые вдруг увядают...

Это было написано еще до ухода Арсения Александровича.

Нет слова ужасней, чем это
Мучительное «никогда»...
Со дня сотворения света
В нем времени к людям вражда.
Отбытие в нем без прибытия:
Оно убивает и рвет.
Как зверь на загривке события,
Ломающий лапой хребет...

И еще, из любимой моей «Беатриче»:

Простите, милые, ведь я вас скоро брошу.
Не выдержит спина ту дьявольскую ношу,
Которую подкинул сатана...

И еще, еще, еще! Много всякого — про жизнь, про смерть, про все самое важное на свете. И все, все требует от меня быть учтенным, прочитанным и прочтенным!

Нам, милый Миша, быть дано
Игрушкой Воли Высшей.
Мы пьем вино, идем в кино,
Сидим под крепкой крышей,
Но происходит вдруг Оно —
Вот как с тобою, с Мишей.
Один знакомый книголюб
(Какой сюжет для Кафки!)
Сосулькой с водосточных труб
Был сбит у книжной лавки.
Другой, поклонник женских чар
И человек не слабый,
Был, выйдя на Тверской бульвар,
Придавлен снежной бабой.
Опасны вата, унитаз,
Кусочек эскалопа.
Опасно все. И даже таз
Не защищает жолд.
Конечно, трещина в тазу

И не видна народу,
Но, Миша, я тебе скажу,
Стесняет нам свободу.
Ни поклониться, ни вскочить,
Ни выпрыгнуть из спальни,
Ни даже водки проглотить
Из рюмки вертикальной.
А скажут вдруг: «Пошел ты на...» —
Пойти не можешь сразу,
Ведь ножки тоже, старина,
Внизу пришиты к тазу.
Мой Эруг! Большое дело — таз.
Так попроси Регину,
Чтобы купила тарантас
И мягую перину.
И надо укрощать свой пыл,
И ездить надо тише —
Вот сколько мыслей породил
Твой таз, любезный Миша!

Как видишь, успешно занимаюсь изучением философии. Все мои больны стригущим лишаем ввиду котенка...».

Господи, Боже мой! Еще и лишай «ввиду котенка» на их головы...

После разрыва с Региной, которая надорвалась со мной, не выдержала, отбыла в Штаты и осталась там навсегда, я обзавелся своей Анной. Уже при ней я снял драму Толстого, а потом и «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта. После трудных съемок в Таллине я привез Аню к Самойловым, у которых мы прожили тогда одну счастливую неделю. Я читал им дневниковые страницы о том, что произошло у нас с Региной. Историю всех наших предостъездных многолетних отношений они хорошо знали, а вот то, что предшествовало ее неожиданному для всех, а, главное, для меня решению затормозиться в Штатах, я как мог пытался осмыслить в этих записях...

«Миша, а ведь это очень похоже на прозу. Своего рода фактоид. Да, Галя? Как тебе показалось?». Галина Ивановна согласилась с мужем, и они вселили в меня надежду: все, что происходит с нами, — не зря. Ведь люди нашего ремесла рассматривают собственную жизнь всего лишь как материал для чего-то более существенного, в этом их всегдашнее утешение, надежда и вера, — авось пригодится! Другое дело, как у кого запишется. У Самойлова в стихах, у другого — например, у Макса Фриша — в документальной лирической повести «Монток». Что вышло у меня, — не знаю. Писал, ничего не сочиняя, лишь записывая за собой, откровенно, от первого лица, делая вторых лиц — реальных живых людей —

Корнеевну Чуковскую... В увлечении тыкал окурки в винегрет, вертел в руках веревочку («Вот она и завилась в Израиле», — заметил Самойлов). Один из главных издателей «Списков». Грозил каторга. Отъезд. Смерть. На этот раз здорово рассказывала Галя, а Самойлов только что-то добавлял...».

Сюда бы цитату из стиха Давида Самойлова о Якобсоне, про веревочку, но не нашел ни в одном сборнике.

Надпись на книге «Голоса за холмами»:

Ты, Миша, Фауст и Арбенин,
Был Гамлет, будешь и Полоний,
А для меня ты, Миша, ценен
Тем, что всегда не посторонний.
Готов тебя в стихах прославить,
Воздать таланту и уму...
Дай Бог тебе играть и ставить
(Но лучше «что-то», чем «кому»).

И тут же — Регине:

Регина — Миши Министерство
(Тяжелое Мишестроение!) —
Руководит без мини-стервства
И исправляет настроение.

Регине, действительно, тяжело давалось «мишестроение», а Мише не всегда казалось, что им руководят без «стервства». Я много ставил, пил вино, полагая, что в нем всегда таится вдохновение, часто болел «люмбагой», лежал в больницах, писал там свой «мемуар», а Регина многократно перепечатывала его на машинке, исправляя грамматические и синтаксические ошибки, переводила с английского пьесы (только одну из которых я поставил — «Дорогая, я не слышу, что ты говоришь, когда в ванне течет вода» Роберта Андерсона) и вообще немало намучилась с автором этих воспоминаний. А в 1993 году я по дороге в аэропорт Домодедово умудрился еще влететь в лобовой удар на шоссе и на пять месяцев вообще вышел из строя. Лежал в больнице с переломами и трещиной в тазу, и Регина помогала врачам поставить меня на ноги в буквальном смысле этого слова.

«Дорогой Миша! Будучи в Москве три дня, говорил по телефону с Региной. Твоя авария породила во мне стихи философско-го жанра. Их и посылаю:

ликация Чертока про воспоминания Полонской о Маяковском. Про Тарсиса с «его» «Братьями Карамазовыми» и одиннадцатью (!) неизданными томами (в Берне) — это просто маленькая, трагикомическая пьеса, особенно если вспомнить его биографию и шум вокруг него в те, шестидесятые годы, еще до Солженицына и Сахарова.

Судя по всему, замечательная книга Анатолия Яacobсона «Конец трагедии» — о Блоке во времени (целиком пока не прочел и вряд ли успею). Но целиком успел прочитать в той же книге об Анне Ахматовой. Замечательно! И в очередной раз проникся к Ней! Кстати, я заметил парафраз (замеченный ли кем-нибудь?) строк:

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника...

со строками другого времени, из «Реквиема»:

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо плывут по Неве корабли...

И вообще, весь финал «Реквиема» — трагический парафраз стиха «про лебедя». Интересно, что пишу я на обороте фото, сделанного после самойловского концерта семнадцатого августа. А восемнадцатого августа я приболел. Что же это все означает? Не знак ли, чтобы дальше что-то изменить и в жизни, и в ремесле? Погружаться глубже, не проскакивать в стихах мимо строк и понятий по поверхности? «Многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом моим...».

Если судьбе будет угодно, чтобы и моим голосом было что-то прочитано и сыграно, то, значит, — ЗНАК. 25 августа 1985».

«Днем зашел Д.С. Принес и читал стихи, написанные до «Бетриче», но после «Голосов за холмами». Есть потрясающие, и он их прекрасно читал. Видать, и ему сегодня лучше. Вечером обещали зайти с Галей послушать «Затонувший колокол».

Дальше запись от 27 августа, уже в Москве, после отъезда из Пярну, обмена стихами (его) и стишками (моими), объятий и провожания нас, садящихся в такси со слезами на глазах...

«...«Затонувший» решили не трогать, а просто потрепались. И получилось на славу! Много говорили об Анатолии Яacobсоне, о его книге. Он эмигрировал в Израиль и там покончил с собой. Яacobсон был на год моложе меня. Один из последних (теперь их почти нет) фанатиков литературы. Еврейский мальчик с нечесаной головой, уже с порога начинавший громко говорить о литературе. Ученик Самойлова, почитавший Тарковского, Лидию

Еще из моих дневников того пярнуского лета:

«Днем заходил Д.С., принес эстонскую книгу с оцаровательной и смешной надписью»¹.

Он, «выходит», слава Богу, но настроение еще не лучшее. Завтра с Галей зайдут попрощаться. А послезавтра начнется наш исход из Пернова. 25 августа 1985».

«За отсутствием бумаги пишу на обратной стороне большой фотографии... Сегодня мне полегчало. Все эти дни болезни и страхов вертелось в голове пастернаковское: «О Господи, как совершенны дела твои, думал большой...». Я этого стихотворения наизусть не знаю. Все пытался вспомнить: «Ты держишь меня... прячешь в футляр». И потом это, самойловское: «И когда расстонется за окном Борей...». А еще тютчевское, почти физически ощущаемое:

Как ни тяжел последний час,
Та непонятная для нас
ИСТОМА смертного страданья...

Нет, лучшие воспоминания не вымерли, но и не утешали...

Многое прочел. Хороша, доказательна книга Абрамович про Пушкина. И очень несуетлива. «Свяжск» Аксенова. Противоречивое ощущение. С одной стороны, вроде умно, благородно по замыслу, есть характеры (физручка, друг героя — Валевич), есть смешные сцены, например, — крестное знамение баскетболистов перед игрой с «танками», многое другое, очень хороша нянька, напомнившая мне мою (тоже девственница, вложившая себя в «дитятю»), но в целом вещь не получилась. Герой совсем не тренер баскетболистов, а нечто среднее между самим Аксеновым и образованным технарем, читающим «Самиздат».

«Яков Каша» Фридриха Горенштейна вроде лучше, талантливее. Есть грандиозные смешные куски. И мысль шире, свежее. Но опять-таки нет, как и у Аксенова, единства, органической целостности. Самойлов более строг, чем я, к Фридриху. «На антисоветскую, вполне понятную схему, на разные шампуры насаживаются, как шашлыки, хорошие, живые куски». Про Аксенова — отмахнулся. Я-то люблю Аксенова и не отмахиваюсь. Мне и в «Ожог» многое понравилось, а «Остров Крым» сразу захотелось играть и ставить. Но такое кино у нас невозможно. Вообще, этот номер «Континента» оказался для меня не пустым. Очень интересна пуб-

¹ Эту бабу — Эйну Выйт —
Мне пришлось переводить,
Разрешит тэбз на память
Эту книгу подарить.

В общем, как я понял, здесь у него нет настоящего общения. В Литве нравится в этом смысле больше. Там, по его словам, есть люди европейской культуры. Он называл незнакомые мне имена. Значит, минуя летние месяцы, когда кто-то приезжает, или редкие и трудные поездки в Москву, всерьез в Пярну — одна Галя. Им вдвоем интересно, они любят и умеют разговаривать, но для него этого, разумеется, маловато. Жить же в Москве им невозможно. Дом — проходной двор. Телефон. «А я человек любопытный, выключить или не подходить не могу, а какая уж тут работа!». Невозможна жизнь в Москве и для Гали. Там приходится беспрерывно метать на стол, а ведь без гостей самих пятеро. Потом, как в Москве быть с большим Петей? Горе!

Значит, выход один — Пярну.

Здесь и написалась им за эти годы большая половина сочиненного. Однако, как быть с Бореем?.. Пришли к выводу, что вообще-то лучшим для них вариантом был бы дом в подмосковном Переделкино. Но разве эти бандиты и мафиози из Союза писателей предоставят такую возможность? Горе!

А ведь еще болезни. Я ему как-то тут на днях сказал: «Вот когда прочтешь книгу Рассадина «Спутники», напиши ему.» — «Ты пойми, Миша, мне же теперь читать стало очень трудно. С глазами все хуже...». Горе! Горе!

Ему же всего шестьдесят пять, а выглядит на все семьдесят.

Ну, как тут не облегчить себе жизнь ВИНОМ? Вот и получается: сначала сто пятьдесят, потом еще сто пятьдесят, потом залакировал сухим и поехал... Пришел — глядеть страшно. На лице какие-то царапины, на лбу синяк. При этом вымытый, чистый, умный (!), а внутри все, что мне так хорошо известно. У нас с ним даже симптомы одни и те же, даже этапы опьянения похожи: сначала все лучшее активизируется — читаются стихи, рассказываются истории, байки, шутки, импровизации и тому подобное. Потом вылезают обиды, часто прошлые, подспудные, окружающим непонятные, выплескивающиеся почему-то сейчас, от того реакция на происходящее окружающим кажется неадекватной, пьяной.

«Я раньше пил и делался добрее, легче, а теперь опьянение злое», — признался он.

Ну, а потом «уходы из дома» с собиранием нехитрых пожитков, паспорта, бритвы... А вообще-то: «Удержите меня...». И конечно удерживают. Затем — беспмятство. Ох, как все это мне знакомо и понятно! Вот так мы с ним и поговорили, душу отвели. Потом ушел. Лестница у нас крутая, типа винтовой, только деревянная. Каждый раз страшно — не навернулся бы... 24 августа 1985».

Из моих дневников 1985 года:

«Август был интересным. Общение с Давидом Самойловым и его кругом. Членкор Б.И. Захарченя очень образован и умен; друг Самойловых Ю.И. Абызов — собиратель самоейловского «В кругу себя». Сам классик замечателен, пока не переберет. Но, увы, с каждым днем дозы увеличиваются. (Меня в то лето «строгая, но справедливая» держала на сухом пайке. — М.К.) Эгоцентризм, вообще свойственный поэтам (разве им одним?!), в этих случаях усугубляется. Прочсть ему и Гале «Затонувший колокол» (пьеса по переписке и стихам Пастернака и Цветаевой, которую я хотел играть — М.К.), по-моему, так и не удастся. Попробовал было, но... Зато читка «Клопова» прошла хорошо и серьезно. Тут Д.С. собрался и все «сек» по делу.

Цикл «Беатриче» очень хорош. Вообще июль-август были для него урожайными. Много забавного в «Кругу себя». Когда выпивал свой сто пятьдесят, был замечателен. Было легко и интересно. Потом приходил Захарченя, шло увеличение дозы, и тогда Д.С. уставал, я смывался и принимался за свои дела... 22 августа 1985».

«Вчера к ночи я опять разнюнился. (Я заболел, сам того не зная, «тремя почками» и постыдно дрейфил. — М.К.). Пришлось принимать рудотель, чтобы взять себя в руки. Слабый я человек. Регина говорит: «Это еще от того, что за окном ветер». Мы вспомнили строчку из «Беатриче»:

И когда расстонется за окном Борей,
Я боюсь бессонницы не моей — твоей.

Автор вчера навестил меня. Состояние его, как душевное, так и физическое, мне хорошо знакомо. Ох, как хорошо!

«Выход...» Смутные воспоминания о вчерашнем и позавчерашнем. Комплекс вины. Самокопанье и самоанализ. По кругу.

Потом поговорили о его положении, в каком-то смысле безвыходном. Десять лет они живут в Пярну. Зимой слова сказать не с кем. «Эстонцев я не полюбил, — сказал он. — Неконтактны, себе на уме, не интересуются русской культурой. Да никакой вообще, — добавил после паузы. — Весь свет в окошке: Финляндия. Какими были, такими и остались. Один их знаменитый писатель сказал мне: «Что вы носите с вашим Пушкиным сто пятьдесят лет? Значит, у вас никакого прогресса». А сами сто лет носятся с этой бабой, ну, знаешь, памятник которой в центре Пернова. А она не стоит старой подошвы пушкинского сапога...».

За всю свою долгую жизнь такого письма я никогда не получал и не получу уже никогда. Дело здесь не в оценке моих актерских данных, безусловно, дружеской и от того чрезмерно преувеличенной, а в серьезной заботе о том, чтобы я возвысился над самим собой и стал достоин того дела, которому посвятил жизнь...

Письмо не датировано, но время его написания установить не трудно: еще только пишется «Ганнибал», значит — это вторая половина семидесятых и мной еще не поставлены ни «Безымянная звезда», ни «Покровские» и еще очень далеко до «Фауста», «Маскарада», Толстого, Дюрренматта, «Случая в Виши» Артура Миллера, то есть до самых главных моих работ восьмидесятых, где я, сколько мог, старался приблизиться к тому, о чем писал Д.С.

Все последующие отзывы Самойлова о моих дальнейших работах, хотя, в основном, комплиментарны, но не содержат подтверждений того, что я достиг неких ступеней метафизики, и она стала моей органикой. Эти письма и стихи написаны в обычных тонах, разве что с Толстым дело обстояло несколько иначе.

«Дорогой Мишечка! Ты постоянно присутствуешь, как американский флот в Средиземном море.

1. Вчера видели твой «Маскарад». Бесплодный спор о возможности экранизации классики ты решаешь весьма убедительно. Стихи звучат прекрасно. Да и этих зайцев ты научил играть на барабанах: все читают стихи пристойно и даже с пониманием.

Евгения Симонова — моя слабость.

2. Прочитал внимательно твои летние заметки. (Осенью 1985 года я опубликовался в «Советской культуре». — М.К.). У тебя «легкое перо». Пора переходить в писатели...».

После «Маскарада» я поставил там же, на учебном ТВ, еще две серии «Фауста», первая была сделана мной еще до «Маскарада».

Твой «Фауст», Миша Козаков,
Прекрасный образец работы,
Ведь ты представил нам, каков
Был замысел Володи Гете.
Володя этот (Вольфганг тож)
Был гением от мачт до кия,
И он не ставил ни во грош
Любые ухищренья стили.
Он знал, что Зяма — это черт,
Что Дьявол он по сути самой,
Что вовсе он не Гердт, а Герт!
Что черт в аду зовется Зямой.
Он видел со своих вершин,
Что это все не затируха.

Ты и Кирилл — отец и сын.
А он поддал Святого духа.
И Гретхен — лакомый кусок,
Прелестный простоты образчик.
Такую хоть бы раз в висок
Поцеловать, а там хоть в ящик.
К тому же так переведен
Твой «Фауст», что не изувечен.
И до нутра пленяет он
Интеллигентским просторечьем.
Тебя поздравить, Козаков,
Стремится старый алкоголик.
(Я дал бы рифму «Табаков»,
Хоть вовсе не при чем здесь

Лелик).

Анна Андреевна Ахматова говорила, что есть наша читательская вина перед Пушкиным: за красотой звучания его стиха мы часто не слышим живой голос Пушкина-человека. Мне кажется, это относится не только к Пушкину — ко всем настоящим поэтам...

* * *

Басня: Мой друг Мишель,
С утра покинувши постель,
Спешит на студию картину ставить,
Чтоб людям удовольствие доставить.
Есть эволюции законы,
Которые понять нам не дано.
Когда-то ставил он пистоны,
А нынче ставит он кино.

Д.С. одним из первых и немногих поверил в мою режиссуру. Он, как настоящий друг, поддерживал во мне веру в мое право заниматься этим ремеслом. Прежде всего актерским, а потом уже и режиссерским. А позже укреплял меня в моих способностях «мемуариста». В 1978 году вышла обо мне небольшая книжица Э. Та-дэ. Я жутко рад был ее появлению. В этот период мне еще нужно было самоутверждаться в глазах моих коллег.

«Дорогой Миша! Спасибо за книгу и за надпись на ней. Книгу я сразу же прочитал. Не могу сказать, что мне открылось что-то новое о тебе. Но книга хороша и полезна тем, что собирает воедино разрозненные сведения о тебе как об артисте и заставляет самого подумать о твоей артистической судьбе...»

Ты один из тех редких актеров, для которых важно не умение перевоплощаться или умение оставаться всегда самим собой. Хотя доведенные до высшего артистизма эти качества уже сами по себе достаточны, чтобы быть большим артистом. Не так важна для тебя и «правда жизни», уже изрядно надоевшая в «правдивом» театре недавно минувшего времени.

В тебе есть потребность метафизики, то есть истины высшей. На это, я думаю, и следует ориентироваться. Метафизика, ставшая актерской органикой и не отделенная от всех свойств актерского ремесла. Это не все поймут, но все почувствуют, если и впрямь удастся тебе возвыситься до этого.

Но мы еще поговорим.

Мы здесь, в Пярну, живем тихо. Пишу прозу и поэму свою о Ганнибале Абраме Петровиче...».

Много унылой работы — переводы больших классиков из малых литератур. Хуже только модернисты из тех же литератур».

Классики, модернисты, современники из малых литератур кормили Самойлова и его семью. Ведь сам пятый! А еще была старенькая мама, сын от первого брака и много-много всякого, на что требовались немалые деньги. Боже, что на него валилось! Я просто не понимаю, мне не дано понять, откуда он черпал силы, чтобы все это вынести! А ведь он терял зрение и в письмах — не раз про то, что «читать становится все труднее, глаза болят», что читает ему вслух иногда Галина Ивановна. А надо было переводить классиков малых, а временами и больших литератур, и модернистов, и неоклассицистов, и прочих «истов». И он переводил. Делал переводы не просто добросовестно, а сверхдобросовестно. По крайней мере, никто в обиде на него не бывал... Что давало ему силы жить, работать, шутить? Полагаю, — кроме всего прочего, еще и несуетная уверенность, что в самом конце всяческих концов и он «увидит небо в алмазах», а при жизни следует лишь исполнять долг. Меру долга он определял для себя сам. ОПРЕДЕЛИЛ И ИСПОЛНИЛ. И Господь даровал ему легкую мгновенную смерть праведника. Хотя он-то праведником себя не считал.

Я в этой жизни милой
Изведаль все пути.
Господь, меня помилуй,
Господь, меня прости.
Но суеты унылой
Не мог я побороть...

Господь, меня помилуй.
Прости меня, Господь.
Да, в этой жизни, Боже,
Не избежал я лжи.
Карай меня построже,
Построже накажи.

В чем только он себя ни обвинял!

Любить не умею,
Любить не желаю.
Я гложу, немею
И зренья теряю.

И жизнью своею
Уже не играю.
Любить не умею —
И я умираю.

Это — правда? Он не умел любить? Он?! Кокетство, наговор на себя перед Богом и людьми? Нет! Адская работа души. Попытка разобраться в себе, отделить в самом себе семена от половы. Его от него...

Повесть тихая тайно казнит,
Совесь тихая тайно карает.
И невидимый миру двойник
Все бокальчики пододвигает.

привожу здесь предназначенное исключительно мне, шуточное и за секунду сделанное, да еще не всегда «зрелым, ясным и трезвым»... Не грешно ли это с моей стороны? Но как избежать соблазна облегчить себе труд воспоминаний о человеке и, вместо мучительного для меня поиска слов, которые должны «передать, описать и выразить», не воспользоваться документом? Так что этот грех, Дзэик, я беру на себя, и уж ты не суди меня за это. Пусть придирчивый и требовательный читатель обвинит во всем только меня и скажет: «Вольно же было Самойлову довериться Козакову».

* * *

Из разных писем конца семидесятых — начала восьмидесятых...

«Дорогой Мигуэль. Рад был получить твое письмо, из которого явствует, что ты в деле. А это единственное спасение в наше время, где нет даже бесплодных чайний. Запретный список стихов Пушкина на радио и ТВ, приведенный в твоём письме, меня печально позабавил. Он подтвердил мою давнюю идею, что просачиваться можно только сквозь щели. А их, как ни задраивай, все несколько останется».

«Дорогой Миша! Радуюсь твоим английским успехам и бодрости духа. (В 1977 году я с театром на Малой Бронной гастролировал в Англии на Эдинбургском фестивале. — М.К.) В большинстве писем, которые я получаю, описываются неудачи и унылое состояние. Твоя манера жить мне нравится, даже со всеми поправками на виски без содовой. Наши пороки — продолжение наших достоинств. Мне приятно, что это понимает мудрая Галина Ивановна и, уверен, что эта мысль близка строгой, но справедливой Р.С. Другой на твоём месте на сто фунтов купил бы какой-нибудь МАХЕР (я, правда, не знаю, что это такое, но звучит приятно), а ты купил пояс с бляхой и пропил все фунты с Олегом Далем... У меня внешних новостей мало. Пытаюсь усовершенствоваться. А тут начинается красная осень. Пусто. Просторно. Тихо. Хочешь, не хочешь, а слагаются строфы...

Холодно. Вольно. Бесстрашно.
Ветрено. Холодно. Больно.
Льется рассветное Брашно,
Я отстрадал — и довольно!
Выйти из дома при ветре
И поклониться отчизне.
Надо готовиться к смерти
Так, как готовятся к жизни.

* * *

Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала,
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.

«А эту зиму звали Анна, она была прекрасней всех!». У Самойлова Анна — почти муза. Мне же в письме он писал так:

Много я писал про Анн,
Обучаясь на поэта.
Я водил их в ресторан.
Было то и было это.
Что за Анны, Боже мой!
Я их помню по приметам:
Этих я любил зимой,
А в других влюблялся летом,

Были глупы и умны,
Добродушны, простодушны,
И большой величины,
И легки, полувоздушны.
Расставался с ними я
То с печалью, то с обидой.
У тебя теперь своя,
Так что, Миша, не завидуй!

Анна, Анна! Что же ты раньше положенного срока врываешься в это повествование? Еще не время. Пока я все еще в 1985 году в Пярну, в Пернове...

* * *

Коньяк? Он в «Кунгле» слишком дорог.
А дома нету ни хрена.
Съедим при наших разговорах
Мороженое, старина.
Возьмем рублишко у Регины
И вместо пьяней мишуры
Съедим с тобою витамины,
белки и прочие жиры.
Мороженым мы будем сыты,
Закурим — ярые курцы!
Здесь покупатели — семиты,
Нордические продавцы...

Все же нашлось несколько рублишек, и мы в тот же день дернули по сто граммов коньяку, несмотря на его дороговизну. Потом пришел Захарченя, принес бутылек, добавили, и Д.С. тут же за столом накатал приведенное выше. Сейчас, когда пишу о Самойлове, разбираюсь в его письмах, напечатанных на машинке, написанных от руки, датированных и без даты, натыкаюсь на такие вот импровизации, задаюсь вопросом — имею ли я право выносить весь этот милый сор из нашей хаты? Не повредит ли это памяти поэта? Ведь он по сто раз переделывал то, что предназначалось для печати, доводил строку, рифму, деталь, знак препинания до кондиции перед тем, как подписать верстку. А я

Иногда кажется, что стихи Д.С., адресованные нам — тем, «кому посвящен опыт». — еще до опыта жили в нас. Это, конечно, самообман, но обман, возвышающий нас. Иначе с Бродским. Когда отмучаешься (если мучился, ибо охотно допускаю, что другие, более восприимчивые читатели вообще посмеются надо мной), когда проникнешься, наконец, его образами, его системой мышления, услышишь музыку его стиха (последнее мне, кстати, дается легко), его поэзия тоже обернется твоими собственными «чертами». Вопрос в том — стоит ли мучиться? Стоит! Лев Толстой сказал: «По моим страницам на коньках не прокатаешься...». По стихах Бродского — тоже...

Кажется, только в одном стихотворении Самойлова есть прямое упоминание о Бродском:

Спят каминьы, соборы, псалмы,
Спят шандалы, как написал бы
Замечательный лирик Н.

Самойлов любил поэму Бродского «Большая элегия Джону Донну». Я когда-то включил ее в композицию по стихам Бродского, которую составил из самого-самого любимого и, как мне кажется, понятного мной и записал на пластинку. Иосиф Бродский отреагировал на ее выход словами: «И это при живой жене!». Читал-то не он сам, а всего лишь я, — но ведь именно я пробил эту первую в России пластинку с его стихами. Врать не буду, стало обидно, когда я прочитал в статье его друга Гордина о такой реакции поэта. А потом подумал: «Да какое это имеет значение! Я что — исполняю его стихи в надежде понравиться самому Бродскому? Ведь я читаю даже не для публики. В первую очередь, я получаю удовольствие сам. Понравилось еще кому-то — слава Богу!». Однако, положила руку на сердце, все же приятно, когда тебя хвалит автор. Когда Бродский эмигрировал, я подружился с его родителями, бывал у них в Ленинграде. Однажды даже позвал их (это было в семьдесят третьем году) на концерт, где читал стихи их сына, которого они уже больше никогда не увидели. Бывает, что в концертах я показываю манеру чтения того или иного поэта. Манера у Бродского очень характерная и показать ее не сложно. Мария Моисеевна и Александр Иванович (на которого до жути похож «Нобель-Бродский») потом неоднократно просили читать (уже у них дома) стихи сына в его манере. Разумеется, я всегда с охотой это делал. Затем, кроме пластинки, я не раз возвращался к разным формам работы со стихами Бродского, снял маленький телефильм, читал на радио, в концертах, а потом поставил и моноспектакль, где читал документы, собственные воспоминания о поэте и даже спел два-три романса на его стихи. Еще два пела Анна.

писал Евтушенко, чтобы узнать, как это делается. Ответа пока не получил.

Привет милой Ане. Скажи ей, что каша гораздо вкусней, если при изготовлении ее все время помешивать. Пусть не ленится. Обнимаю тебя. Твой Д. 1.12.88».

А в письме от 28 февраля 1989 года:

«Лауреатский значок на вечер позабыл, как, впрочем, и галстук.

Пришлось выступать без них. Я к тому же не умею вывязывать галстук и не знаю, с какой стороны надевать медаль...».

Про некую Аню, сменившую в письмах «строгую, но справедливую» Регину, пока опустим, а вот про «всемирную славу» продолжим.

Одни, как Рассадин, например, имеют полное право и все к тому основания предпочитать (любимых и мной) Семена Липкина и Олега Чухонцева Тарковскому или Бродскому, другой предпочтет Евгения Рейна или Александра Кушнера, третий — Беллу Ахмадулину или Юнну Мориц. Ну, а я? Во мне много лет идет боренье в любви: Бродский — Самойлов, Самойлов — Бродский! Люби хоть еще два-три десятка поэтов... В чем, собственно, дело? Ты сомневаешься в «теплоте души» Нобелевского лауреата? Ты переживаешь, что Самойлову дали всего лишь «Серп и молот»? Или все-таки дело в том, что почти каждый, особенно новый стих Бродского представляет для меня лично огромную трудность в постижении, прямо-таки иссушает мозг, пока дойду не то что до сути, а просто до понимания какой-нибудь фразы? Вот оно! Да, признаюсь, моего серого вещества, моего уровня явно недостает для того, чтобы читать про себя (не говорю уже — с эстрады) все стихи Бродского, получая при этом сиюминутное наслаждение. Как правило, я сижу над его стихами, как над загадочными лабиринтами, что время от времени появляются в журналах или газетах. В этом смысле стихи пушкинианца Самойлова не требуют труда такого рода. Они входят в тебя, как будто они уже жили в тебе до их возникновения. Как про такое сказано у другого Оси, Осипа Эмильевича?

Быть может, прежде губ
Уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты...

восьмидесятых) мой «мемуар» — «Рисунки на песке». К мемуару, судя по всему, он отнесся серьезно, и доказательство тому — выше приведенное стихотворение про характер и грань, которая и впрямь весьма тонка. Мой характер и размышления о «шири» привели меня в Камерный театр, где я сейчас играю Тригорина на иврите в городе Тель-Авиве, в дом, где живу теперь на улице Баруха Спинозы, в новый мой кабинет, за столом которого пишу эту растрепанную прозу, погружаясь в воспоминания о поэте, который советовал мне судить «себя в себе». Но невозможно все держать в себе: лопнешь! И я, лишь отчасти вняв его дружеским наставлениям, продолжу рассказ, стараясь поменьше осуждать кого бы ни было, как это делают теперь ораторы в первопрестольной...

Помню, по просьбе Самойлова я прочитал тогда «мудрому Стасику» Рассадину и нашей компании только что написанную Д.С. «Беатриче». Рассадин — один из последних рыцаей русской литературы. Полагаю, что он и по сей день думает, что поэт в России всегда больше, чем поэт. Я, кстати, разделяю эту точку зрения, оттого мы с ним и дружили и дружим даже на расстоянии, хотя далеко не всегда и во всем соглашаемся друг с другом. Компании, помню, понравился прочитанный мною тогда новый самоейловский цикл — Натан Эйдельман, например, сразу оценил «Бабочку», — однако восторга в адрес стихов Д.С., которого я привычно ждал, увы, не было, врать не буду. Может быть, я плохо прочитал? Не думаю. Так в чем же дело? Мне кажется — в восприятии позднего Самойлова и поэзии вообще. Времена менялись в начавшей видоизменяться России, и Самойлов уже не находил должного отклика в сердцах читателей и критиков, живших в ритмах перестройки...

* * *

А потом пришло время наград. Бродский удостоился Нобелевской премии. Самойлову вручили Государственную премию уже не существующего Советского Союза. Бродский во фраке присутствовал на королевской церемонии в Стокгольме, Самойлову в Кремле вручили значок с серпом и молотом.

«Эстонцы после премии меня зовут, приглашают, интервьюируют, показывают, печатают и т.д. Так что здесь я стал знаменитее тебя. Начал добиваться всемирной славы. На-

тоже из самых-самых близких и любимых мною поэтов. С двумя из трех меня связала многолетняя дружба, которой они меня удостоили. Бродского «живым» я видел всего два раза. В моей книге «Рисунки на песке» я, как мог, набросал черты к портрету нобелевского лауреата. Если добавить, что благодаря моим родителям я слышал двух гениев, из тех, что «смежили очи», — Анну Андреевну и Бориса Леонидовича и однажды Николая Заболоцкого, то мне есть с чем сравнить и о чем подумать. Причем стихи всех упомянутых поэтов я не только знал, а имел счастье исполнять — на эстраде, на радио, на телевидении, создавать композиции для пластинок на фирме «Мелодия». Понятно, что речь сейчас лишь о тех, кого я знал в той или иной степени лично. И Юрий Левитанский, и Борис Слуцкий, Белла Ахмадулина, Павел Антокольский, Александр Межиров, поэты-барды Булат Окуджава и Владимир Высоцкий тоже входят в круг моих сегодняшних (всегдашних) размышлений. Однако три поэта: Самойлов, Тарковский, Бродский — всерьез оказали влияние на формирование моего мышления. Давид Самойлов однажды написал мне уже совсем нешуточные стихи, опубликованные впоследствии в его двухтомнике:

Михаилу Козакову

Что полуправда? — Ложь!
Но ты не путай
Часть правды с ложью.
Ибо эта часть
Нам всем в потемках не дает пропасть —
Она ночной фонарик незадутый.
Полухарактер — ложный поводьрь,
Он до конца ведет другой дорогой.
Характер скажет так с мученьем и тревогой:
«Я дальше не иду! Перед тобою ширь,
И сам по ней ступай. Нужна огага,
Чтобы дойти до блага. Но смотри:
За правды часть и за частицу блага
Не осуди, а возблагодари!»
Ах, грань тонка! На том горим!
Часть... Честь... «Не это» путается с «этим».
Порой фонарик правды не заметим,
За полуправду возблагодарим.
Все наши покаянья стоят грош,
И осуждения — не выход.
Что ж делать? Не взыскуя выгод,
Судить себя. В себе.
Не пропадешь.

Поводом к написанию этого стиха, который я получил в письме из Пярну, послужил лишь наполовину прочитанный им тогда, напечатанный на машинке и невозможный к изданию (середина

каком-то смысле имеет отношение и к людям всех иных вер — не случайно в их лучших нравственных постулатах так много общего. А если и Моисей, и Христос, и Магомет, и Будда в каком-то смысле — всего лишь посланные Богом популяризаторы Его единой идеи, своего рода «гиды», ведущие разные племена, народы и расы разными путями к общей цели, то как опять же не задуматься над самойловским, быть может, еще более страшным, чем у Бродского:

Цель людей и цель планет —
К Богу тайная дорога.
Но какая цель у Бога?
Неужели цели нет?..

Мы, Д.С., Галя, я, часто толковали о Бродском. Поэзия Бродского всерьез захватила меня где-то в самом начале семидесятых. То есть до этого я тоже читал его стихи — разумеется, в списках, знал и стенограмму судебного процесса, учиненного над Бродским, сделанную Фридой Вигдоровой, но «заторчал» на нем со сборника «Остановка в пустыне». Д.С. иногда просил меня почитать что-нибудь из Бродского. Он сидел, закрыв большие глаза рукой, и слушал. Потом говорил: «Выпьем за него».

Когда ему, Самойлову, кто-нибудь из нас, друзей, после услышанного из вновь им сочиненного говорил: «Дэзик, ты чудо!» — или, как сказано у Шварца, прямо, грубо, «по-стариковски»: «Дэзик, ты понимаешь, что ты великий поэт?!» — он усмехался (кому не приятно услышать о себе такое, пусть даже от близких людей?) и не то чтобы спорил, а вроде бы пропускал мимо ушей. А раз бросил в ответ: «Но Бродский пишет лучше». И Г.И. прекрасно разбиралась в поэзии Иосифа, знала и любила его стихи. А я так просто слыл «бродскоѐдом» в нашей компании и был ярым популяризатором его стихов. Я читал их всем, кто соглашался меня слушать, по поводу и без оного, читал, как заведенный. Рискуя, исполнял их еще в семидесятые годы с эстрады, не называя, правда, имени автора. Потом, «по стуку», приходили работники органов — выяснять, чьи стихи Козаков вчера читал «на бис». Именно так случилось в московском Доме композиторов (причем я даже знал, кто стукнул и почему: от страха моя же ведущая, вполне милая и интеллигентная дама, проводившая этот концерт от Московской филармонии). Меня «отмазали» интеллигентные девочки из концертного отдела Дома композиторов, убедившие пришедших на следующий день гебистов, что «Козаков «читал на бис» раннего Пастернака».

Самойлов — Бродский. Так почему же я, боготворя одного, все же истинно люблю другого? А еще ведь к этим двум следует добавить незабвенного Тарковского, Арсения, Арсюшу. Этот третий,

В 1980 году я попал в жуткую автомобильную катастрофу и — чудом уцелел. Булат Окуджава тогда сказал: «Значит, Миша, ты еще не достиг истины». Сегодня 1992 год, сегодня я уже кое о чем догадываюсь. Не только вычитываю у других — и самому уже что-то приоткрывается. Или кажется? Что не покажется, когда «допиваешься» до каких-то открытий в самом себе, в других, в жизни! Когда, осмелев, обращаешься с самыми главными вопросами к Чему-то или Кому-то в себе и порой, сдается, слышишь ответы...

На днях одна моя давняя знакомая, тоже живущая теперь в Израиле, услышав по телефону радостную, эйфорическую интонацию в моем эмигрантском голосе, сказала: «Миша, кажется, Бог тебя не оставил... Ему уютно в тебе». Фраза, безусловно, дамская. Даже слишком дамская. Оно и понятно: дама — балерина. Правда, балерина выдающаяся. К тому же много страдавшая. Женщина умная, честная и мужественная. И мне захотелось ей поверить. Совсем не потому, что как раз накануне я здорово надрался. Хотя и поэтому тоже, отчасти...

«Не мешай мне пить вино, в нем таится вдохновенье!». И я, осмелев, твердо решил, что и завтра, трезвый, задам себе те вопросы, которые накануне задавал себе, пьяный. Глядя в самойловскую поэзию, как в некое зеркало, я пытаюсь хоть в чем-нибудь разобраться. Если в самообольщении поверить, что «Он во мне, и Ему во мне уютно», то я просто обязан задаваться этими вопросами! Это и есть главная Работа души. У Самойлова как раз об этом предостаточно, хотя и нет хрестоматийного, как у Заболоцкого — «не позволяй душе лениться». Но отчего же я все-таки охотнее всего (и все чаще и чаще) гляжусь именно в самыйловское зеркало, а не в зеркало того же Заболоцкого или боготворимого мною Бродского?

Так вот — о самом трудном, самом болезненном. Кто в нас? И в Самойлове, и в Бродском, и в каждом? Я думаю: и Он, и он. Как не перепутать? Кто ведет тебя, кто диктует тебе твои желания, мысли, поступки? Это-то и есть главный труд души: постоянно мучиться такими вопросами. Ибо все остальное, все прочие ответы на вопросы, которые ставят перед нами жизнь, работа, ремесло, — в правильном ответе на первый, главный! Где-то я прочитал, что Бродский сказал или написал: «Возможно мы, сами того не замечая, живем уже в постхристианскую эпоху...». У меня даже мороз прошел по коже от страха. Кажется, — что такого страшного он сказал? Что для правоверного мусульманина, не говоря уж об иудее, — Христос, христианство, а стало быть, и постхристианство? Слова, слова, слова... Но дело-то в том, что Бог — един. А тогда страшное — и, возможно, верное — наблюдение Бродского в

Стало быть, письмо написано в апреле 1973 года. Уже сочинены «Ганнибал», и «Струфиан», и «Старый Дон-Жуан», которых Д.С. тут же просит меня прочитать на вечера в ЦДЛ двадцать пятого мая. Зачем я так долго уточняю дату? Да только для того, чтобы понять, сколько еще до появления «Беатриче», которую по приезду из Пярну осенью 1985 года я, конечно же, читал и «мудрому Стасику», и Натану Эйдельману с их женами, и — кому же еще? Ага, вспомнил, — главному режиссеру театра имени Ермоловой Валерию Фокину, которого тогда же знакомил с самойловской пьесой «Клопов» в надежде увлечь его идеей ее постановки. Но о пьесах Самойлова позже, сейчас мне хочется досказать о своем отношении к «Беатриче» и вообще к позднему, зрелому, но далеко не «ясному» и не «трезвому» Самойлову. Думается, недооцененность зрелых самойловских стихов была связана еще и с тем, что творчество позднего Самойлова, публикация той же «Беатриче» пришлось на время, когда «одна заря сменить другую» спешила, не давая времени на осмысление происходящего. 1985 год, 1986... Еще не издан в России солженицынский «Гулаг», не издан даже еще ахматовский «Реквием», не возвращен из ссылки Сахаров, но уже чем дальше, тем возбужденнее, запутанней, сложнее... А Самойлов именно в эти дни, расходясь со многими, пишет мне: «Скучно быть либералом». Не странно ли? Да нет, для меня вполне понятно. Как понятно и то, что будет написано позже, в июне 1989 года:

«Все последние дни сижу у телевизора и смотрю съезд. Зрелище для нас новое и небывалое. Впечатления разноречивые. Ясного прогноза, какое влияние это окажет на наше будущее, пока нет. Но хоть раз в жизни подышали чем-то, похожим на парламентаризм. И то слава Богу. Москва, говорят, кипит и митингует.

И мы не жалуемся
И не хвалимся.
Как поужинаем,
Спать завалимся...»

* * *

Когда-то он писал:

Допиться до стихов,
Тогда и выпить стоит,
Когда, лишась оков,
По миру сердце стонет...

Допиться до таких стихов, через которые приоткрывается некая истина или хотя бы подобие ее!..

Но я разрешил себе писать, как Бог на душу положит, — и не отступлюсь.

Стало быть, Рассадин. Он написал десятка два книг и сотни статей, о русской поэзии в том числе, о поэзии Самойлова в частности. Однажды, в книге «Испытание зрелищем», он даже объединил Самойлова со мной. Есть там глава «В поисках автора», и в ней он анализирует стихотворение Самойлова «Пестель, поэт и Анна», которое я часто читал в концертах. Вне зависимости от его, рассадинского, субъективного и весьма лестного мнения о моем исполнении, позволю себе заявить, что, на мой взгляд, рассадинский анализ этого стихотворения — блестящ. На восьми страницах, на примере одного-единственного и сравнительно небольшого произведения Рассадин ухитряется распутать сложнейший и тугой узел взаимоотношений: поэт как исполнитель своего стихотворения — актер как ученик поэта — актер как интерпретатор и «соавтор» поэта. Именно там, кажется, Рассадин впервые и нашел определение одного из свойств самойловской поэзии как лирической эксцентрики или (в другом месте) — лирического эксцентризма. (Мне же, устно, Рассадиным было дано еще третье определение моей манеры исполнения стихов Самойлова: лирическая эксцентриада. У меня самого было для этого другое, рабочее определение: театральная поэзия. Но мне нравится определение Рассадина). Была у Рассадина еще большая статья о Самойлове, кажется, в «Вопросах литературы», по поводу которой я, помнится, написал Д.С., на что он отозвался примечательным ответным письмом:

«Ты спрашиваешь о статье Ст. Рассадина обо мне. Она, по моему, забавная. По нему выходит, что я какое-то необычайное соединение Пушкина с эквилибристом. А если эквилибриста вынуть, то останется, следовательно, Пушкин. Для меня это звучит лестно. Про кого еще из наших поэтов скажут, что он — Пушкин, пусть даже с изъясном. Вообще, про меня последнее время пишут, что кому Бог на душу положит. Но мне это нравится. По крайней мере, перестали талдычить, что я зрелый, ясный и трезвый...».

Письмо не датировано, но сообразить несложно — там еще есть про только что появившийся эфросовский спектакль «Женитьба» и последнюю премьеру на ТВ:

«Вчера закончили трехнедельный труд: просмотрение по ТВ всех тринадцати серий «Хождения по мукам». Ничего хорошего про этот фильм не скажешь. Приятно только, что героини двигаются, как сонные мухи. В таком темпе можно только чай пить. А между тем обе дамы миловидные, только простоватые. Хвалили мне несколько лиц ваш гоголевский спектакль. Тебя отдельно».

Я посмотрел, куда они мне показали, и увидел. У всех нормальных людей по две почки, а у меня — три! Целое богатство. Хотя если все три большие, так это ж, пожалуй, даже хуже, чем две? Ну, на это они мне ничего определенного не сказали. А вот Д.С. откликнулся немедленно:

Доктора дошли до точки
И у Миши, например,
Обнаружили три почки.
Хорошо, что не три-ппер!

Ну, а если б (для примера)
Не как у простых людей
Обнаружили три хера,
Что бы делал он, злодей?!!!

И дальше, в прозаической приписке: «Так я отозвался «В кругу себя» на твою, Миша, необычайную особенность. Можешь бросить театр и выступать в цирке с аттракционом «Три почки». При современном твоем реквизите это возможно. Я напишу конференс. У нас событий никаких. Все уехали. Без вас скучно. Стихи обрыдли. Пишу кое-какие статьи: о Глазкове, о рифме и т.д.

...Если ответишь на письмо, пропиши: кому читал «Беатриче» и кто чего сказал, особенно мудрый Стасик...».

* * *

«Мудрый Стасик». По ходу моего растрепанного рассказа всплывают в памяти все новые люди и события и требуют, требуют комментария...

«Мудрый Стасик» — Станислав Борисович Рассадин — в моей жизни лицо первостепенное. Как избежать соблазна и не пуститься в рассказ о нем? Но ведь и троллейбус, как говорят, не резиновый. Ума не приложу... Впрочем, есть «отмазка». Окромя «себя, любимого», все остальные в этом рассказе — лишь на вторых ролях, главный — Самойлов. Поэтому о Рассадине сейчас совсем кратко, хотя он-то — почти единственный, кто обо мне не только писал всерьез, но и был вдохновителем и редактором моих писаний, негласным соавтором многих моих поэтических композиций. Запишу лишь самое важное, относящееся к Самойлову. Впрочем, как отделить здесь рассказ о Самойлове от рассказа о себе? Иосифа Бродского как-то попросили в Штатах рассказать об Ахматовой. Последовала долгая пауза, просто почти физически ощутимо было, как шла у него в мозгу стремительная и напряженная прокрутка, а потом последовало: «Рассказывать об Ахматовой занятие неблагодарное: волей-неволей получится рассказ о себе...». Вот и у меня: рассказ о Самойлове невольно становится рассказом о себе, мало того — о своих женах, детях, друзьях. Вот вроде Рассадина.

сохранились и многие другие памятники того пярнуского лета, в том числе прощальные стихи Д.С., датированные двадцать шестым августа:

До свидания, Миша с Региной!
С вами кончилось лето.
Пред зимою печальной и длинной
Надо б выпить за это.
Но вы оба сегодня «в завязке»,
Выпить нечего, кроме
Отвратительно-трезвенной «Вярски», —
Это здешний «Боржоми».
Ну и что же, ведь мы не шакалы,
И это годится.
Так поднимем же с вами бокалы
Минеральной водицы.
Все равно будем пить по-гусарски.
(Кто из нас алкоголик?!)
Пью бокал отвратительной «Вярски»
Против почечных колик.
И скорей приезжайте обратно
И неоднократно,
Потому что без вас отвратно,
А с вами приятно.

Но мы с Региной уже никогда не навестили Самойловых вместе — навестил я их уже с другой женой, рыжеволосой Анной, спустя три труднейших для меня года. Но об этом пока рано, это, как говорят на иврите, другой «сипур» (другой рассказ). А тогда, после этого удивительного лета, я сразу же по приезде в Москву попал в больницу — ту самую, на улице Дурова, где уже до того не раз лежал с постоянным моим спутником радикулитом, или «люмбаго», как его часто именовал Д.С. в шуточных своих посланиях Льву Копелеву, да и ко мне тоже. Но в этот раз меня прихватило не «люмбаго», а почки, да так, что я было уже решил — вот и настал конец моей непутевой жизни. В больнице и произошел со мной поразительный случай, который впоследствии дал Д.С. кучу поводов шутливо надо мной поиздеваться. Врачи сделали мне рентгеновский снимок, взяли его в руки, стали рассматривать и вдруг возбужденно загалдели. Я лежу на столе, еще в «неглиже», как говорится, и здорово трушу: что они там такое нашли? Потом слышу — они смеются. Тогда я им: «Что вы там смешного увидели в моем брюхе? Может, я Крамарова вот-вот рожу?» — «Нет, — отвечают, — Крамарова вы не родите, а вот поднимайтесь-ка, вы, Михал Михалыч, со стола, подойдите сюда и взгляните сами — может, чего интересного увидите. Вас до этого никогда не снимали фрагментарно? Нет? Ну, тогда посмотрите!».

Была на том совместном пярнуском вечере маленькая одиннадцатилетняя девочка Таня Столярова, которая следующим образом описала его в своих безыскусных детских стихах:

Козаков читал стихи Самойлова Давида. Шутил, смеялся просто так, Для вида. Но знали все, он был влюблен В поэта. И мы несли ему цветы За это. Он был так прост, Он снял пиджак, В карманы брюк он руки сунул, Официальность ветер сдунул, — Он был в кругу друзей. А кто же он, творец стихов, Что здорово читает Козаков?	Он сказочный старик, Он мудрый и седой, Стихам он в такт Качает головой. А по стихам поэта видно, Какой души он человек... Он очень долгий прожил век, Войну прошел, живым остался И в этот вечер нам признался, Что молод он, стихами полон, Как будто море бурных волон, Из сердца не ушла любовь. Стихи катятся друг за другом И тонут, и всплывают вновь.
---	--

С тех пор прошло, стало быть, целых семь лет, — значит, Таня Столяровой уже восемнадцать. Что с тобой сейчас, Таня? Ни Самойлов, ни я так тебя и не увидели, только письмо твое прочли, написанное ломким детским почерком, с этим неподдельно искренним «полон — волон», с этой поразительной звуковой перекличкой со строчками из самойловского «Ганнибала», которого я в тот день читал в библиотеке:

Однажды на балтийском берегу,
Когда волна негромко набегала,
Привиделся мне образ Ганнибала.
Я от него забыться не могу...

Или, может, Таня, тебе запомнилось другое, прочитанное самим «сказочным стариком»:

Когда-нибудь и мы расскажем,
Как мы живем иным пейзажем,
Где море озаряет нас,
Где пишет на песке, как гений,
Волна следы своих волнений
И вдруг стирает, осердясь...

Хвалю себя, что, не доверяя памяти, веду дневники и, следуя примеру покойной моей матушки, кое-что аккуратно складываю в папку с надписью: «Все, что заинтересовало». Вот так и сохранилось танино письмо семилетней давности. Так

них не обойтись. Но уж если я объявлял концерт Поэзии в той же Уфе, то этим средством никогда не пользовался — нельзя! Обозначено правилами игры, содержанием афиши. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Когда бы зрители знали, сколько раз по ходу таких концертов артиста охватывает паническое чувство провала, когда так и хочется сбежать со сцены!.. И только профессиональное отношение к ремеслу, профессиональное достоинство и воля заставляют довести начатое до конца. Чего бы это ни стоило...

Самойлов, кстати, отлично это понимал — он ведь не только сам читал, но еще и ставил как режиссер программы Р. Клейнеру, участвовал в создании «Павших и живых» на Таганке.

А в то лето 1985 года в Пярну Самойлов впервые читал вслух свой лирико-философский цикл «Беатриче». Стихи замечательные, но очень трудные для публичных чтений, а тут еще — душный зал с «пляжной» пярнуской публикой (были и дети) и отсутствие микрофона, и открытые окна, через которые врвался уличный шум. Сколько раз Самойлов обращался к пярнуским властям с просьбой предоставить ему и нам, исполнителям его стихов, нормальный зал — так никогда и не добился! Только единожды довелось мне читать его стихи в более или менее просторном зале местного кинотеатра. Тогда был мой сольный концерт, а Д.С. и Галя сидели в публике. Когда я отчитал, публика стала шумно приветствовать автора, кто-то даже притащил корзину цветов. Мы еще потом, после концерта, гуляя по набережной, сетовали, что лучше бы вместо цветов подарили «бутылочку», и вдруг, к неопишуемой нашей радости, обнаружили искомое на самом дне корзины! Разумеется, мы ее тут же и опорожнили — «миз горла винтом». Фронтвики — они все умели: и воевать, и творить, и водку пить! И Саша Володин, и Юра Левитанский, и Давид Самойлов, и мой горячо любимый, уже ушедший из жизни Вика Некрасов, даже воспевший как-то радость этого процесса «оттыкания» в своей «Эпиталаме водке» в «Записках зеваки»...

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые.
Война гуляет по России,
А мы такие молодые...

«Они» были такими молодыми! Именно «они». И хоть это и не наша вина, невоевавших, но как бы и вина — тот непраздник, который всегда со мной...

«Беатриче»... С этой поэмой у меня связано воспоминание о самом удивительном времени, проведенном мною в Пярну, — летних месяцах 1985 года. Я и до этого не раз бывал там с Региной, но это лето было самым насыщенным и по плотности, и по задушевности наших застольных и незастольных — даже не знаю, как их назвать: разговоров? чтений? откровений? — с Самойловым. (Он обычно именовал все это «культурабендом»). Виктор Перелыгин, пярнуский друг Д.С., школьный учитель в русской школе, замечательный философ и просто нежнейший человек, многое из того, что произошло в то лето, запечатлел на фотопленку. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, передо мною на столе, на книжных полках десятка полтора фотографий того лета. Глядя на них, я ощущаю, что «на старости я сызнава живу...». Два месяца, насыщенных поэзией, чтением стихов, застолья в саду, в наших домах с приезжавшими на короткий срок Гердтами, с писателем Юрием Абызовым, с неизменным гостем — членкором Борисом Захарченей с его же обязательной ежевечерней бутылкой «чего-нибудь» и столь же обязательными "вумными" рассуждениями на общемировые темы...

Тогда же был и тот, всем нам врезавшийся в память концерт самоейловских чтений в пярнуской библиотеке. Библиотечный зал крохотный, народу набилось — яблоку негде упасть! Открыли окна и не вместившиеся в зал так под окнами и прослушали весь концерт. Что уж они там смогли услышать, понятия не имею, но простояли от начала до конца, не шелохнувшись... Читал Самойлов, читал я, потом вытащили из публики Зиновия Гердта и его тоже уговорили почитать. Он, впрочем, по своему обыкновению, больше говорил. Говорил, как всегда, умно, эффектно, эстрадно, по ходу дела что-то вворачивая из стихов Самойлова. Он эти стихи знал, любил, но почти никогда не читал с эстрады большими блоками. Он даже стихи Пастернака, которого знал блестяще и читал, как никто, никогда не выносил на публику. У Гердта была на сей счет собственная мотивация, своего рода философия, сверхинтеллигентская скромность в подходе к вопросу, позволительно ли кому-нибудь, кроме самого поэта, читать его стихи на публике. Так ни разу и не «сподобившийся» на участие в марафоне сольного поэтического концерта, он не мог понять, что испытывают чтецы, вроде Сергея Юрского, Якова Смоленского или меня во время такого концерта, чего это стоит — отчитать целый поэтический вечер, ни разу не сбиваясь на очаровательные байки типа «поговорим об искусстве» или на разговоры о детях, теще и жене... Иногда и мне приходилось прибегать к таким байкам где-нибудь в Уфе или Семипалатинске, если чувствовал, что без

Открывать порою кран.
Наши нервы не резина,
А мозги не парафин,
Значит, следует, Регина,
Оттыкать порой графин.
И, конечно же, мужчина —
Не скотина, не шакал.
Значит, следует,
Наливать порой в бокал.
Наша вечная рутина
Портит связи меж людьми.
И поэтому, Регина,
Если надо, то пойми!
По решению Совмина
За вином очередь.
И поэтому, Регина,
Вся надежда на тебя.
Понимаю: водки, вина
Раствлевают молодежь...
Ну, а все же ты, Регина,
Нам по рюмочке нальешь.
Мы садимся мирно, чинно,
Затеваем разговор.
И при этом ты, Регина,
Нам бросаешь теплый взор.
И пышнее георгина
Расцветает ты порой,
Предлагая нам, Регина:
— Наливайте по второй...
Тут уж даже и дубина
Должен громко зарыдать:
«Так и следует, Регина!
Ведь какая благодать!»
А на блюде осетрина,
А в душе — едрена мать...
И начнем тебя, Регина,
После третьей обнимать!

«Неужели такая картина не проймет твою жену?» — вопрошал Самойлов уже в прозаической части своего письма. И как бы понимая, что «строгую и справедливую» уже ничто не может «пронять» (пройдет всего три месяца после этого письма, и она навсегда уедет в Штаты — по целому ряду причин, лишь одной из которых была злополучная «оттычка»), добавлял: «Тогда придется мне написать ей философский трактат «О пользе оттычки».

И тут же, поставив жирную точку, сразу о другом: «Инсценировку «Живаго» закончил. Надеюсь вскоре дать тебе ее почитать. Или, может, подъедешь на читку? Мне важны будут твои замечания. 18 января у меня будет вечер в Москве, в Пушкинском музее. Давно там не читал. Если будет время и охота, приходи. Прочитал бы «Беатричку» для разгона! Я ее читать не умею... Твой Д.»

Милый Миша! В Соловьевке
Ты недаром побывал.
Психов темные головки
Ты стихами набивал...

Я ведь, действительно, возвращался к жизни через стихи. Сначала бубнил про себя, потом кому-нибудь, кому доверял, потом в курилке многим, а под конец — настоящие концерты во всех отделениях, за исключением, разве что, буйного. И это, конечно, стало известно Самойлову:

Там растроганные психи
Говорили от души:
«Хорошо читаешь стихи,
Рифмы больно хороши»...

Сам того не зная, он делал заслуженный комплимент самому себе: «психи», действительно, легко воспринимали именно его стихи, хотя до этого даже не подозревали об их существовании, да и к поэзии, как правило, имели весьма отдаленное отношение.

Но он-то, разумеется, не к «психам» адресовался в своем письме, а ко мне, именно меня хотел поддержать и ободрить:

Нынче ж, Миша, на досуге
Покажи, что не ослаб.
И, пускай они и суки,
Заведи себе двух баб.
Чтоб тебя ласкали обе,
Ты им нервы щекочи.
Прочитай им «Бобэ-обэ»
и «Засмейтесь, смехачи».

Пусть, подлюги, удивятся
И, уняв любовный зуд,
Перестанут раздеваться,
Посмеются и уйдут.
И тогда вдвоем с Региной
Где-то на исходе дня
Тешьтесь ласкою невинной
И читайте из меня.

Регина, Регина Соломоновна, или, как ее всегда именовал Самойлов, «Регина Сулеймановна» (она была полуеврейкой-полутатаркой) — моя третья (и не последняя) жена. Мы прожили с ней семнадцать лет и часто общались с Самойловыми и в Москве, и в Пярну. Самойлов называл ее в письмах «строгая, но справедливая». Иногда, правда, понимал, что слишком строгая и далеко не всегда справедливая в непримиримой борьбе с моим влечением к бутылке. И, понимая, наставлял ее шутивно:

Если старая плотина
Ощущает перегруз,
Значит, следует, Регина,
Открывать порою шлюз.
Ежели кинокартина
Не выходит на экран,
Значит, следует, Регина,

А вот — о Соколове:

Стихи читаю Соколова —
Не часто, редко, иногда,
Там незаносчивое слово,
В котором тайная беда.
И хочется, как чару к чаре,
К его плечу подать плечо —
И от родства, и от печали,
Бог знает, от чего еще!..

Поистине, он всегда умел отдать должное настоящему и стоящему, всегда готов был признаться в любви и уважении к собрату, всегда руководствовался чеховским «всем хватит места... зачем толкаться?». Не признавал он лишь тех, кто поддавался соблазну и суете.

Меня, как, уверен, и многих других, всегда интересовал разговор поэтов «на воздушных путях», их диалог «поверх барьеров». Еще Пушкин говорил, что следовать за мыслью великого человека — истинное наслаждение. А если ты еще лично знаком с поэтом, жил с ним в одно время, знал или читал тех, с кем он вел этот диалог, тогда это вдвойне интересно. Невольно сопоставляешь прочитанное со своим восприятием этих людей, с их, своей и нашей общей жизнью. Есть замечательные, но замкнутые поэты, но я, по чести сказать, будучи сам человеком общительным, предпочитаю поэтов открытых, общительных, ведущих этот непрестанный разговор с соратниками по поэзии. И неважно — живыми или мертвыми. Ведь в каком-то высшем смысле живы все и всегда будут живы — и великие, и малые мира сего. Иногда я это ощущаю почти физически. В этом нет ни мистики, ни модной нынче парапсихологической зауми. Ведь каждый из нас тоже ведет свой непрерывный диалог с кем-то или с чем-то, тоже советуется, вопрошает, кается, делится сокровенным. А когда утрачиваем эту связь, ощущаем себя до ужаса одинокими и беспомощно ничтожными. Вот тогда и говорим: «Боже, Боже, за что ты меня оставил?». Тогда-то начинает по сто раз на дню прокручиваться в моей памяти: «И я подумал про искусство: а вправду — нужно ли оно?». Так приходит черная депрессия.

* * *

Так случилось со мной в восемьдесят седьмом году. Сначала Бехтеревка в Ленинграде, потом Соловьевская психушка в Москве. И как это было здорово — к выздоровлению, словно последнюю порцию животворящего лекарства, вдруг получить письмо Самойлова:

выпендриваться, нить по поводу и без оно, шить модные штаны за машинкой «Зингер», строчить вирши для молоденьких недоумков, которым в кайф, что пришло время митрофанушкино: «Не хочу учиться, а хочу выпендриваться!». И пошла эквилибристика в неогороженном пространстве! И критикам лафа: есть, о чем поговорить, самовыразиться, напридумывать, благо бумага все стерпит — и митрофанушкину рифму, и скотининские рассуждения о ней...

* * *

Арсению Тарковскому Самойлов писал:

Мария Петровых да ты
В наш век безумной суеты
Без суеты писать умели.
К тебе явился славы час,
Мария, лучшая из нас,
Спит, как младенец в колыбели.
.....

Среди усопших и живых
Из трех последних поколений
Ты и Мария Петровых
Убереглись от искушений
И втайне вырастили стих...

Три последних поколения. Где черта между ними? Поколение послевоенное: Бродский, Чухонцев, Кушнер, Ахмадулина, Высоцкий. Военное: Слуцкий, Твардовский, Левитанский, Окуджава, сам Самойлов. Довоенное: Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Заболоцкий. Гении начала века: Блок, Анненский, Хлебников — в стихах Самойлова в расчет, очевидно, не берутся. Что же он и в самом деле считал, что из трех последних поколений только двое «убереглись от искушений»? Но разве Ахматова или Заболоцкий писали «в суете»? Конечно же, он так не думал. Просто гениев он — выносил за скобки. Они «смежили очи». Мысль его, о суете и соблазне искушений, была обращена к соратникам и ровесникам. Вот его стихи поэту Юрию Левитанскому, человеку, с которым он прошел войну, дружил, пил, спорил, так и хочется сказать — писал вместе с ним:

Все, братец, мельтешим, все ищем в «Литгазете» —
Не то, чтоб похвалы, а все ж и похвалы!
Но исподволь уже отцами стали дети,
И юный внук стихи строчит из-под полы.
Их надобно признать. И надо потесниться.
Пора умерить пыл и прикусить язык.
Пускай лукавый лавр примерит ученица
И, дурней веселя, гарцует ученик!

чешь новый стих послушать?» — «Разумеется!». Так я впервые услышал «Старого Дон-Жуана» и, мало сказать — обалдел, но тут же попросил продиктовать его мне по телефону и через два-три дня уже читал друзьям наизусть. До этого я читал и играл двух других Дон-Жуанов — гумилевского и мольеровского; с самойловским образовался трилистник, и мне его хватило на всю оставшуюся жизнь. С него я начал свою концертную деятельность и в Израиле, где тоже обнаружил множество читателей и почитателей Самойлова. А сколько таких концертов было в нашей необъятной доисторической! Я исколесил с его стихами всю Россию. Но вот что интересно — больше всего мне запомнились наши совместные выступления. Они были совершенно разными, непохожими друг на друга — этакие вечера-импровизации, своего рода музицирование, которое так любил Самойлов, сам — блестящий знаток музыки. На этих вечерах он всегда читал что-нибудь новое, сочиненное недавно, я же — лишь дополнял, уравнивал, создавал, так сказать, контрапункт основной теме, на ходу ображая, что для этого уместней всего прочитать. Бывали и вечера больших совместных чтений: Д. Самойлов, Р. Клейнер, З. Гердт, Л. Толмачева, Я. Смоленский, А. Кузнецова, В. Никулин... Мы заранее улавливались, кто что будет читать, и вечер превращался в своеобразный дружеский «турнир чтений». Как ни различны были темпераменты и вкусы, поэзия Самойлова всех примирила друг с другом. Потом, как правило, садились за стол, но и тут еще долго продолжалось чтение стихов или разговор о поэзии. Да, в те годы она еще была нужна людям, и не только самим поэтам или их чтецам. Были еще переполненные залы — Политехнический, ВТО, ЦДЛ, Октябрьский зал Дома союзов... И не только в шестидесятые, но и позже — в семидесятые, даже еще в начале восьмидесятых. А потом все пошло на убыль, и все необязательней стали эти чтения, и сами поэты стали уходить один за другим — хорошие и разные. Уже давно ушли гении. Последней из них была Анна Андреевна...

Я не знал в тот вечер в деревне,
Что не стало Анны Андреевны,
Но меня одолела тоска.
Деревянные дудки скворешен
Распевали. И месяц навешен
Был на голые ветки леска...

Потом, говоря словами Самойлова, «жаловали и чествовали» (ей-Богу, не слишком жаловали, тех немногих, кто был того достоин!). Чествовали тех, кто «тянул слово залежалое» и умел налаживать себе разного рода чествования. Стало все «разрешено» и безболезненно можно было не искать незаменимые слова, спекулировать чем попало: государственностью и антигосударственностью, почвенностью и беспочвенными рассуждениями,

Боже мой, сколько же лет прошло со времени написания этого письма?! «Безымянная звезда» появилась в 1979 году. Сегодня, когда я пишу эти строки, сидя на своем тель-авивском балконе, — апрель 1992-го... Да, не так уж много, оказывается, — всего каких-нибудь тринадцать лет. Но, Боже, Боже, как давно это было и как много за это время с нами произошло! Вот еще строки из его письма, совсем, кажется, недавнего, времени «перестройки»: «Стихи вышли из моды... И это, может быть, к лучшему. Как говорил Коненков, искусство — место неогороженное, всяк туда лезет, кто хочет... Может, хоть в поэзию теперь лезть перестанут за ее ненужностью...». Последнее слово надо бы подчеркнуть. «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», — писал когда-то Самойлов. Сегодня мною владеет странное и страшное ощущение, что и Пушкин стал уже как бы не нужен. На наших глазах произошла смена эпох. Наступило время распада. Голод, рознь, кровь... И жуткое, стремительное раскультивание общества. «Миша, ты заметил, что «пушкинский бум» кончился?» — спросил меня как-то другой, теперь уже тоже покойный друг Натан Эйдельман. Я вздрогнул. Будем молить Бога, чтобы все это оказалось лишь временным. Чтобы свеча все так же тлела на вызывающем озноб ветру. Ведь истинное — непреходяще: и Пушкин, и пушкинианцы...

* * *

Пытаюсь вспомнить, — когда я полюбил стихи Давида Самойлова? Какое первым запало в память и выучилось наизусть? «Сороковые, роковые...»? Нет, не это... Что же? Его довоенные и военные стихи я узнал значительно позднее, когда уже всерьез увлекся его поэзией. Правда, вполне естественное (во всяком случае, для меня) ощущение отдельности его военной темы от меня, не воевавшего, жившего тогда в детском лагере на Урале, не позволило мне и впоследствии по-настоящему прикоснуться к стихам его фронтовых лет. На фронте воевал и погиб мой старший брат, артиллерист, не я. Присваивать чужие чувства стыдно. А чтец, волей-неволей, хотя бы на время, их неизбежно присваивает. Так что же все-таки «присвоилось» первым? Вспомнил! Конечно же вот это, о Пушкине: «... и задохнулся: Анна! Боже мой!». Да, именно этим стихотворением я и мучил каждого, кто готов был слушать, — и дома, и в коридорах Ленфильма или Мосфильма, и даже в ресторане. А потом уже пошло — стихи стали запоминаться целыми циклами. Ох и досталось от меня друзьям-собутельникам! При каждом удобном (и неудобном) случае я читал им — сначала с листа, потом наизусть — все, во что в данный момент был влюблен: «Цигановых», «Беатриче», «Ганнибала»... А случалось и так — вдруг звонок из Пяруну: «Миша, хо-

мне настолько существенным разговором об искусстве вообще, что я полагаю уместным привести его почти целиком:

«Милый и дорогой Миша!

Ты на меня не сердись за отзыв о фильме. Конечно, если брать в сравнении, то у него множество достоинств и свойств, не присущих современным телефильмам. Но я думаю, что нам с тобой уверенность в таланте и прочем, любовь и уважение можно уже выносить за скобки. Иначе бы мы не дружили.

Я просто хотел выразить несколько иную точку зрения на назначение современного искусства. Циник Кожин в недавней «Литературке», рассуждая о Юрие Кузнецове, сказал, что задачу пробуждения лирой добрых чувств русская поэзия уже выполнила. Это точка зрения негодяйская. Но, возможно, она и произносима только потому, что «чувства добрые» в прежнем понимании «не работают» в современном искусстве. Им нужны более глубокие определения. Наша беда не в том, что «чувств добрых» у нас нет, они есть в каждом человеке. И искусство, разглядев их даже у свиньи, начинает восхищаться, вот, мол, и у свиньи есть доброе нутро!

Наша беда в том, что мы не делаем следующего шага и не говорим себе и другим, что этого мало. «Чувства добрые», которые пробуждены, чтобы тут же уснуть, сникнуть, поблекнуть под влиянием обстоятельств, в наше время мало что дадут и не восхищают.

Личности нашего времени надо судить не по возможности проявить себя человеком, а по возможности им оставаться. Вот в чем дело.

Смеяться в твоей комедии надо не столько «над ними», сколько над собой, за то, что мы настолько еще сентиментальны, что можем всерьез относиться к слабому проявлению «добрых чувств». Тут смех обратным ходом. И, конечно, балаган должен быть тонкий, чтобы не сразу раскрылся объект смеха — мы сами. «Добрые чувства» должны быть хорошо замешены на беспощадном знании человеческой натуры.

Прости, если мои соображения изложены не очень толково. Но я писал тебе о твоей последней постановке именно с этих «предельных» позиций и пока еще не осуществленных в искусстве.

Спасибо за согласие участвовать в моем вечере. С радостью отдам тебе все, что ты захочешь прочитать. Теперь скоро увидимся.

Будь здоров. Привет Р.С. Галка Вам кланяется.

Твой Д.С.»

Я «Покровские ворота»
Видел, Миша Козаков.
И взгрустнулось от чего-то,
Милый Миша Козаков.
Ностальгично-романтична
Эта лента, милый мой.
Все играют в ней отлично,
Лучше прочих — Броневой.
В этом фильме атмосфера
Непредвиденных потерь.
В нем живет не так серо,
Как живет нам теперь.
В этом фильме перспектива,
Та, которой нынче нет.

Есть в нем подлинность мотива,
Точность времени примет.
Ты сумел и в водевиле,
Милый Миша Козаков,
Показать года, где жили
Мы без нынешних оков.
Не пишу тебе рецензий,
Как Рассадин Станислав,
Но без всяческих претензий
Заявляю, что ты прав,
Создавая эту ленту
Не для всяких мудаков,
И тебе, интеллигенту,
Слава, Миша Козаков!

Д.С., 1982

Здесь надлежит оговорка. Наверно, это использование примеров из нашей переписки может показаться нескромным, чем-то вроде саморекламы с моей стороны. Пусть читатель простит: письма в альбом всегда грешили преувеличением достоинств адресата. А самойловские письма ко мне — именно стишки в альбом, на публикацию они не были рассчитаны. Впрочем, иногда, на его поэтических вечерах, в которых я нередко тоже принимал участие, он вдруг просил меня прочесть иные из них — развлечь аудиторию. Он любил, когда публика смеялась. Чинная, скучная атмосфера благоговейного слушания была ему не по нраву. Его поэтические вечера зачастую превращались в искрометно веселые спектакли, где он был и режиссером, и главным исполнителем.

Я думаю, что в добавление ко всем прочим его талантам был в нем еще и несомненный, нереализовавшийся талант режиссера, человека театра. Он ведь очень много работал для сцены: писал пьесы в стихах и в прозе, перевел «Двенадцатую ночь» Шекспира, сотрудничал с «Современником» и «Таганкой», делал песни для телеспектаклей (в одном из них, по «Запискам Пиквикского клуба», мне довелось сыграть мистера Джингля и спеть его песенки), создал стихотворную версию «Ифигении», ставил поэтические программы чтецу Р. Клейнеру. Я думаю, что, если бы он почему-либо не стал поэтом, то, наверняка, мог бы быть профессиональным режиссером или даже актером. Его многочисленные суждения о театре заставляли всерьез задумываться. Со мной, например, так было после фильма «Безымянная звезда», который я сделал по Михаилу Сабастияну. Фильм был хорошо принят зрителями, и тем не менее это не помешало Самойлову придирчиво указать мне на все минуты моей постановки. Я, помнится, далеко не со всем согласился, о чем ему тут же написал. В ответ он прислал мне второе письмо — все о том же. Оно кажется

стихах! Впрочем, он часто писал такого рода шуточные послания. Прозой, видать, было лень, а в стихах слова, «как солдаты...».

Михал Михалыч Козаков,
Не пьющий вин и коньяков,
И деятель экрана.
Как поживаешь, старина,
И как живет твоя жена,
Регина Сулейманна?
Уж не зазнался ль, Михаил?
Иль просто ты меня забыл?
Иль знаясь неохота?
Ты, говорят, стяжал успех,
Поскольку на устах у всех
«Покровские ворота».
А я успеха не стяжал,
Недавно в Вильнюс заезжал,
Отлеживался в Пярну
(Поскольку я еще не свят),
И потому признаюсь, брат,
Живется не шикарно...

Все время гости ходят в дом,
Свои стихи пишу с трудом,
Перевожу чужие.
А перевод не легкий труд.
Весь день чужие мысли прут
В мозги мои тугие.
К тому ж в июне холода.
В заливе стьялая вода,
Померзла вся картошка.
Как тут не выпить, Мигуэль?
На протяжении недель
Все веселей немножко.
Пиши, пиши, мой милый друг,
Весьма бывает славно вдруг,
Как в душе пребыванье.
Пиши, а я пришлю ответ.
Поклон от Гали и привет
Регине Сулейманне...

А у меня на душе ох как хреново! «Покровские ворота» только и смог показать близким знакомым в зале Мосфильма, да на премьере в Доме кино, а дальше — сплошное «непроханже», и не только «Воротам», но и другой моей работе — по комедии Островского «Последняя жертва», и поди ж ты, тоже с участием Лены Кореновой. Вот про все, что приключилось, я ему и отписал — в его же размере и стиле:

Пярнуский житель и поэт!
Спешу нашрайбать вам ответ
Без всякой проволочки.
Хоть труден мне размер стиха,
К тому же жизнь моя лиха,
И я дошел до точки.
Я целый год снимал кино
Две серии. И сдал давно
(Не скрою, сдал успешно).
Потом комедию слудил
Островского. И в меру сил
Играют все потешно.
Кажись бы, что тут горевать?
Нет! Как на грех, едрена мать,
Случилась катаклизма:

Я целый год потел зазря,
Артистка Коренова — фря! —
Поставила мне клизму!
Американец и русист
(Чей предок, верно, был расист)
Заводит с ней романчик.
К замужеству привел роман,
И едет фря за океан.
За Тихий океанчик.
Я две работы сделал, друг.
Она сыграла роли в двух,
Заглавнейшие роли!
На выезд подала она,
И в жопе два моих кина,
Чего сказать вам боле?

Шуточная эта переписка имела продолжение. История с Кореновой как-то рассосалась, вышли в свет «Попечители», потом «Покровские ворота», и я вновь получил от Самойлова стихотворное послание:

Самойлов — поэт культурных традиций. И не просто традиций — он в постоянном диалоге и с классикой: Данте, Петраркой, Державиным, Пушкиным и с поэтами-современниками. Когда читаешь позднего Самойлова, когда вслушиваешься в этот его диалог с теми, кого он любил, ценил и к кому прислушивался сам, это открывает многое в «повести поколения» и помогает понять и осознать самого себя. А ведь мы, читатели, в конечном счете, жаждем понять себя и то, что с нами происходит во времени и пространстве.

И вот я встал, забыл, забылся,
Устал от вымысла и смысла,
Стал, наконец, самим собой,
Наедине с своей судьбой.
И стал самим собой, не зная,
Зачем я стал собой. Как стая
Летит неведомо куда
В порыве вешнего труда.

«Стать самим собой...». Здесь не только переключка с Гете, но и подспудный диалог с Арсением Тарковским, у которого есть стихотворение с тем же названием. А в подтексте — грустное, типично самоейловское «Зачем?». Ну, стал, а — зачем?

Нет, еще не прочитан, не оценен до конца поздний Давид Самойлов...

* * *

В одном из почти сотни пярнуских писем Самойлова, которые у меня хранятся, — лестный комплимент: «Очень жду твой прозы. Уверен, что ты выдающийся мемуарист. Если помнишь, ты однажды читал мне кусок ленинградских воспоминаний с письмами Эйхенбаума. Было весьма интересно... Я же никак прозу двинуть не могу: какой-то возник страх перед прозаической фразой, где не знаешь, куда деть подлежащее или сказуемое. Любезное дело — стихи. Там слова сами становятся на место, как солдаты по команде. Да и мыслей особых не надо, был бы «гул»...».

И еще во многих его письмах — о моем якобы «легком перере». Однажды, обнаглев от его похвал, я даже рискнул зарифмовать ему что-то в письме — разумеется, в шутку, ибо всерьез я не написал, а уж тем более не напечатал ни одной стихотворной строчки, Бог спас, что называется. Но тогда просто «подперло»: не выпускали на экран сразу два моих телефильма, «Покровские ворота» и «Попечители», а тут — письмо от Самойлова, да еще в

Уж лучше на покой,
Когда томит бесстишие.
Оно — великий пост,
Могильное затишие.
И двери затворив,
Переживает автор

Молчание без рифм,
Страдание без метафор —
Жестокая беда!
Забвение о счастье.
И это навсегда.
Читатели, прощайте.

К счастью, «великий пост» продолжался у него недолго. В сущности, то была не столько немота, сколько необходимое любому художнику время интенсивнейшей внутренней, душевной работы. Не случайно после каждого такого затишья, как правило, снова следовал поток стихов. Так, летом 1985 года, когда мы с женой в очередной раз жили в Пярну по соседству с Самойловыми, я буквально каждое утро слушал новое стихотворение из цикла «Беатриче».

Много позже в белом двухтомнике Давида Самойлова я увидел маленькое предисловие автора: «Откуда Беатриче? Да еще не под синим небом Италии, а на фоне хмурой Прибалтики?.. Один критик, сторонник поэзии «простодушной», уже успел обвинить меня в книжности, наткнувшись в моем цикле на имена Беатриче, Лауры, Данте, Петрарки и Дон-Кихота...». И чуть выше: «Мой цикл сложился как ряд переживаний, связанных с категорией чувств...».

В чем дело? Почему Самойлов счел нужным пускаться в объяснения? Ведь обычно он никогда не отвечал на критику, не вступал в литературную полемику на страницах газет, был в этом отношении крайне брезгливым, почти высокомерным. А вот, гляди-ка, по поводу «Беатриче» объяснился. Кратко, изящно, однако не пренебрег несколькими фразами.

Думаю, это было связано с теми спорами, которые шли в нашей доперестроечной критике о творчестве «позднего» Самойлова. Литературоведение — не моя епархия, поэтому рискну высказать всего лишь одно соображение, основанное на наших с ним неоднократных разговорах. Нет, не то чтобы Самойлов излишне нервничал, не доверяя себе «новому»: просто он знал, что читатели (и критики в том числе), как правило, предпочитают привычное. Мне этот феномен известен по выступлениям на эстраде: хочешь успеха — составь программу так, чтобы рядом с новым и сложным прозвучало и что-нибудь такое, что слушатель знает чуть не наизусть... Отсюда и попытки «объяснения с читателем» у позднего Давида Самойлова. Давние его стихи, что уже прочно были на слуху, привычная музыка и тон мешали многим понять и принять новое в его стихосложении.

Язык еще не обработан,
Пленяет мощным разворотом
Звучаний форм и ударений —
В нем высь державинских парений...

Так с тобой повязаны,
Что и в снах ночных
Видеть мы обязаны
Только нас двоих...

Не расстаться и во сне
Мы обречены,
Ибо мы с тобою не
Две величины...

Часто так сидели мы там, в Пярну — Галя, друзья, случайные гости — за деревянным столом во дворе самойловского дома и слушали, как «Он» читает свои стихи. И каждый из нас с гордостью поглядывал на другого: «Черт, а ведь мы первыми слышим строки, что наверняка войдут в антологию русской поэзии!».

И разлился по белу свету свет.
Ему глаза закрыла Цыганова.
А после села возле Цыганова
И прошептала:
— Жалко, Бога нет.

А потом... а потом неизменно появлялось на том столе угощение, и начинался обычный треп, выпивка-закуска, и словно забывалось только что услышанное. Пожалуй, больше всего способствовал этому сам автор — он и пил, и шутил охотнее других, и то и дело просил меня почитать что-нибудь смешное. Впрочем, не всегда только смешное, бывало и так: «Михал Михалыч, ну-ка, из Бродского нам что-нибудь, а?!». Так, в веселом застолье проходил час-другой, но потом кто-нибудь из гостей непременно обращался к нему самому: «Дэзик, давай, если не трудно, прочти еще раз...». И он, порой уже слегка заплетающимся языком, читал «на бис», иногда даже путая слова. Галя в таких случаях сердилась и поправляла, а он с хохотом отвечал: «Сам написал — сам имею право менять!» — «Нет, не имеешь! А имеешь право пить сейчас коньяк!». И опять поднимался общий шум, смех, разговоры...

Дай выстрадать стихотворенью!
Дай вышагать его! Потом,
Как потрясенное растенье,
Я буду шелестеть листом.
Я только завтра буду мастер,
И только завтра я пойму,

Какое привалило счастье
Глупцу, шуту, Бог весть кому.
Большую повесть поколенья
Шептать, нанизывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы смахивая с губ.

* * *

Мне кажется, что в такие минуты первых застольных чтений он уже понимал, «какое привалило счастье». Этим-то ниспосланным свыше счастьем и осознанием этого Дара в себе он и держался в своей многотрудной и суровой жизни. Не случайно так боялся немоты:

факта: случилось, мол, то-то и то-то... так-то и так-то... И все. Он никогда не обременял окружающих своими бедами, болезнями, настроениями и прочими личными неприятностями, сотой доли которых многим из нас вполне хватило бы, пожалуй, чтобы посыпать голову пеплом и превратить жизнь своих ближних в кромешный ад. В этом смысле — как, впрочем, и во всех других — Давид Самойлов был подлинно интеллигентным человеком.

Страдания его — в его поэзии. Но и тут безупречный вкус неизменно диктовал ему меру, сдержанность и стиль. В его стихах есть много поистине трагических размышлений о смысле всеобщего и его личного, самоейловского, бытия. Но вот что удивительно: судьба провела его по всем девяти кругам ада, а стихи его неизменно дают читателю ощущение радости жизни, подчас даже обманчивой легкости бытия. И в этом смысле Самойлов — пушкинианец.

Помню, у критика Станислава Рассадина я вычитал как-то про «лирическую эксцентриаду» поэзии Самойлова и тут же с этим определением согласился. В то время все мы восхищались только что написанными «Струфианом», «Сном о Ганнибале», «Старым Дон-Жуаном». Было это в семидесятые годы, я тогда часто отдыхал в эстонском Пярну (русском «Пернове») и был в числе чуть не первых слушателей этих вещей, созданных Самойловым там же и тогда же:

Чего Россия нам не посылала —
Живой арап! — Так, встретив Ганнибала,
Ему дивился городок Пернов.
Для этих мест он был больших чинов...

Сам Самойлов для этих мест тоже был «больших чинов», хотя войну закончил (дойдя до Берлина) в не очень высоком воинском звании. Помню, однажды — кажется, на вечере в Политехническом, — когда его «достали» с расспросами, бывал ли он за границей, в Парижах и Ниццах, он шутливо ответил: «Я вообще-то не турист. Один раз вышел случайно из дома и... дошел до Берлина».

В Пярну, в его доме на улице Тооминга, 4, мне не раз доводилось слышать, как он читает с листа новое, еще «тепленькое», только сегодня или накануне законченное стихотворение. Одной лишь жене, Галине Ивановне, Гале, оно уже было известно, ибо ей всегда и все — первой, она — и первый слушатель, и первый редактор, и первый критик. Муза? Беатриче? Да, конечно. Но больше — друг. Был, помню, такой рассказ про композиторскую жену, заявившую: «Мы с хозяином вместе музыку пишем...». Нет, Г.И. не писала стихи с «хозяином». Но, чтоб они написались, должна была быть у него такая вот Г.И. Писал он, конечно, и до нее, но именно о ней сказано:

РАСТРЕПАННЫЙ РАССКАЗ

Были у него и такие стихи:

...Я вдаль ушел, мне было грустно,
Прошла любовь, ушло вино.
И я подумал про искусство:
А вправду — нужно ли оно?

Когда мне становится совсем невмоготу, эти строки начинают прокручиваться в моем сознании по сто раз на дню, как у пушкинского Германна его «тройка, семерка, туз»: «А вправду — нужно ли оно?.. А вправду — нужно ли оно?..». И я уже знаю: если эти строки пришли на ум, значит подступает то, чего я больше всего в себе боюсь, — черная депрессия. Это четверостишие кажется мне тем более точным и страшным, что я же отлично знаю — написал его не какой-нибудь меланхолик или кокетничающий мизантроп, лелеющий свою а-ля-блоковскую тоску, а Поэт и Человек невероятного мужества, многократно это мужество доказавший на протяжении всей своей прекрасной и суровой жизни. Именно суровой, не пощадившей его буквально ни в чем. Судьба словно проверяла его на стойкость, посылая такие испытания, что остается лишь удивляться, как он не только не сломался, но еще и продолжал жить и писать. И мало этого — слыть, вдобавок, легким, веселым человеком, пушкинианцем, таким везунчиком, чуть ли не баловнем судьбы...

Он и сам как бы подыгрывал этому твердо сложившемуся мнению: выпивал, балагурил, острил в кругу друзей, а то и просто случайных застольных знакомых. И не знаю, как другие, а я лично за все годы нашего знакомства, перешедшего потом в прочную дружбу, никогда, ни разу не слышал от него не то чтобы упрека судьбе, сетований на жизнь, проклятий в адрес власти поддерживающих или сановных обидчиков, но даже просто бытовых жалоб. А если и прорывалось иногда, то лишь как констатация

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Михаил КОЗАКОВ
Александр ГОЛЬДШТЕЙН

Нет, критик их не жаловал.

Они,
Приведенные ради назиданья,
Меж всяких фраз запомнились одни,
Вошли в меня частицей мирозданья.
Как в пыльных окнах вынули стекло —
Какое небо рядышком цвело!

Из отрочества я. Из той поры
Внезапностей и преувеличений,
Где каждый, может быть, в эскизе — гений
И неизвестны правила игры.
Где любят, всхлипывая... И навек.
И как ни вырастает человек,
Он до себя, того, не дорастает —
Кожуркой сердцевина обрастает.

* * *

Сонечке и Анюте

Распахнутость чайки возьмете с собою,
И мокрую гальку, и бубен прибора.
Но что вам приснится? Никто не предскажет,
Что сбоку ложится, что на сердце ляжет.

Бурьян по откосам, где тихо и глухо,
Казался мне волей —

поэтому снится.

И с Бугом братается речка Синюха,
И песня на идиш касается слуха,
И низко кружит безымянная птица.

В АРИЭЛЬСКОМ ДВОРИКЕ

Сонная наполовину,
Посреди курчавых трав
Я — на утлой раскладушке,
И не нужно мне подушки,
Так как руки запрокинув,
Кверху голову задрав.

Глыбы рыжие вылазят
Из прилипчивой травы,
И навеки хватит мази —
Густотертой синевы.

Но не впрок пока леченье.
В этот миг душа глуха
Ко всему без исключенья,
Кроме русского стиха.

И живя, и пропадая,
Он мечтал об этом крае
(Озираться. Припадать).
А стоит над ним родная
Сосен сень и благодать.

Мне в ночи Россия снится.
Но негоже ошибиться:
Упокойный будет день.
Тут она, моя земляца.
Там моя блуждает тень.

1992

* * *

А я — из отрочества. И из строк,
Что в отрочестве на глаза попали,
Что дождиком нечаянным упали
И что душа впитала, как песок.

* * *

О, это сопряжение линий
И вознесение холмов,
И небосвод, в зените синий
И побледневший у краев.

Какой простор.

Светло и грустно.

А дали все зовут: гляди!
И собственническое чувство
Шевелится в моей груди.

Здесь жили первые евреи.
В шатрах.

Задолго до стропил.

Здесь солнце ближе и мощнее,
А кровь и море — солонее,
Для этих мест нас Бог лепил...

По красной глине дождь лупил.

* * *

Зажать мелодию в зубах,
Ну, наподобье сигареты.
А скрипка слишком нараспах
И рвется выболтать секреты.

Я вовсе не из недотрог,
Но у частот моих порог —
Надрыва ухо не выносит.
А шелестящая листва,
Прибежище для естества,
Тиха и жалости не просит.

Я не умела про любовь.
Ладоней, губ и душ сближенье,
Планеты головокруженье...
Уймись, струна. Не суесловь.

Вот разве соло на трубе.
Не о тебе, но о судьбе.

1993

Все торжественно и скупю,
Ось вращается без скрипа.
И огромный синий купол
За несуетность мне выпал.

Каменистые террасы.
Пятна крон. Внизу — посеы.
В мире нет древнее красок,
Чем оливковый и серый.

Ветер с маху налетает.
Паруса белья мотает,
А над вами снег кружится
И в душе моей не тает.

1991

* * *

Я начинаю с откоса,
с обрыва.
С камня над узкой петлистой дорогой.
И своевольна. И терпелива.
Гида не надо. Сама понемногу.

Цабры¹ красивы — как розы в колючках
Ствол у оливы столетьями кручен.
Нет здесь черемухи. Нет и жасмина.
Вспыхнувшим порохом
пахнут хамсины.

Я отвалила родимую глыбу
И получила право на выбор.
Выбрала небо синего цвета.
Длинное лето.
Нерусское лето.

Что еще выбрала,
твердо не знаю.
Сердце — открыто. Как рана сквозная.

1991

¹Цабры — вид кактусов.

СКРИПКА НАРАСПАХ

* * *

Когда я покидала отчий дом,
Как, помнишь, Лотова жена Содом,
И все оглядывалась на деревья,
Не утешало, что Москва — деревня,
Душа кровила под тугим бинтом.

Весь пай удач одною исчерпав,
Давно лишилась на удачи прав.

И все же — право слово! — повезло.
Неизбалованной по части странствий,
Достались мне,
 библейские пространства
И дали дальнотокрое стекло.

1991

* * *

Мы теперь — самаритяне.
Озираемся безмолвно.
Горизонт, как в океане,
И холмов застыли волны.

Все эти дни, и месяцы, и год
К себе не подпускаю неудачу,
Удачу развеселую зову.

Усердно абсорбируюсь, и вот —
Еще живу я, но уже не плачу,
Уже не плачу, но еще живу.

Я музыку по радио нашла...

1992

* * *

*Памяти Георгия Ашкинадзе,
поэта-переводчика, нового репатрианта*

Глаза с каждым днем становились огромней,
Слабели слова, заострялись черты.
И шли мы, один другого бездомней,
К постели его, к очагу доброты.

Приехал — и вдруг навалилось такое:
Болезнь за болезнью, больниц череда...
И вот он в последнем приемном покое.
И принят покоем уже навсегда.

Приехал для жизни и, не протестуя,
А только надеясь и веря, угас.
И лег неожиданно в землю Святую,
Пронзительно рыжую, — первым из нас.

1993

* * *

Израиль! Так устроено пространство
На узенькой мучительной земле
Бинокля времени, что возникает ясно
Дым вечности. И свет лица во мгле...

1991

У ДРУЗЕЙ В РАМОТЕ

Как сердце занесло на повороте,
Когда открылся город на горах!
Впервые Иерусалим в моих стихах.
А я впервые у друзей в Рамоте.

То кремовый, то розовый, то синий,
Находка для художника — Рамот,
И он здесь поселился и живет —
Оле хадаш¹, художник из России.

Он молча водит ежедневной кистью,
Но не Рамот и не Израиль тут —
Холсты его заполонил галут.
Чем смысл грустней, тем краски золотистой.

Незримая подсвечивает свечка
Внезапные проемы бытия.
Еврейское местечко. Мать моя —
Из этих мест, из этого местечка.

Ушла судьбе и дочери навстречу
И не вернулась больше в зыбкий дом.
Как веет от холстов забытым сном,
Забытой верой и забытой речью!..

Пути господни неисповедимы.
В какие, мама, ты ушла места?
А дочь твоя... В крутой обрыв холста
Глядит она из Иерусалима...

1992

* * *

Я музыку по радио нашла.
В окне кухонном краска с неба сходит.
Порядок в доме наведен почти.

И в друг оцепенела — поняла.
Что все на самом деле происходит
И никуда от боли не уйти.

¹Оле хадаш — новый репатриант.

ХЕДЕР АТУМ¹

Вой сирен по ночам. А днем —
Обязательный круг души:
Сын, работа, холодный дом,
Унизительный шук² в йом-шиши³.

Терпит сердце. Бездействует ум.
Даже снов не вижу давно.
Жизнь похожа на хедер атум,
На закленное окно.

Я узнала, как стены дрожат,
Отзываясь на чью-то беду.
Но сегодня суббота, шабат.
Я на море сегодня пойду.

1991

* * *

Не слишком ли это много
для одного-единственного дня —
и конец войны, и Пурим,⁴
и солнечное утро после дождливой ночи,
и живые, правдивые звери в долгожданном сафари,
и стремительная страна перед глазами,
и наше с тобой осторожное
пронзительное родство?..

Мог ли столько вместить в себя
один-единственный день?
Вместил.
Но вот результат:
до сих пор не могу опомниться.

1991

¹ Хедер атум — герметически закрытая комната, где укрывались израильтяне от бомбовых атак Ирана во время войны в Персидском заливе.

² Шук — рынок, базар.

³ Йом-шиши — пятница.

⁴ Пурим — еврейский праздник.

ОБЕЩАНИЕ

Мысли тяжки, шаги легки
В этом чужеродном краю.
Восстанавливаю стихи.
Вспоминаю душу свою.

В настоящем — и крах, и взмах.
Жизнь застывшая позади.
Я — не здесь. Я еще в небесах.
Озираюсь на полпути.

Нет вчерашнего дома и дня.
Есть сегодняшний день и дом.
Есть обрывки души у меня.
Расскажу, что будет потом.

1990

* * *

В эти дни, когда все боятся ночи,
грустно жить в Тель-Авиве.
Чрезвычайное положение
на пустынных дождливых улицах
чем-то смахивает на рассвет.
Целыми днями — нелепый рассвет,
ведущий к сумеркам,
к восходу страха.

Но проходит ночь,
иногда без ракет,
и натуральный рассвет
делает свое дело.
И я — живая,
и я остаюсь в Тель-Авиве...

1991

Я ОСТАЮСЬ В ТЕЛЬ-АВИВЕ

КОРНИ

Я очень мало знаю об отце.
Да и о матери я знаю мало.
Все дедушки и бабушки мои —
В такой тени, что их совсем не видно.

Каракалпакского не знает языка
Язык мой. И еврейским не владеет.
Я родилась в такой большой стране!
Такая шла война на белом свете!..

И мне ли нынче сетовать на то,
Что мне корней родители не дали?
Деревьев не бывает без корней.
Я родилась! Мне удалось родиться!..

Я — это жизнь! И собственным корням
Незримым — бесконечно доверяю.
Каракалпак, еврейка — имена
Одной и той же тайны бессловесной.

1983

Может быть, это к лучшему:
нечем и не о чем плакать,
я легка, как лунатик,
шагнувший над пропастью лжи,
над банальностью быта,
где каждый из нас — одинаков,
и реальнее жизни
ночные мои миражи...

1992

Деревянная будка пустует.
И крылечко давно не скрипит.
И российский ошейник тоскует
По тебе. По тебе, вечный жид!

1993

* * *

Никуда. Низачем. Ниоткуда.
Ни о чем. Ни к чему. И ни с чем.
В беспросветности схем и систем
Мы навьючены, точно верблюды,
И песчаное, плоское блюдо
Окружает затерянный Шхем.¹
Осторожно! Осколки веков
И тоска исторической смерти.
Но, очнувшись от пут круговерти,
Из галутных срываясь оков,
Оживляем ислевшие сети,
Осмысляем пророчества снов.

Разве можно вернуть колыбель,
Если выросли вечные дети,
Если даже мудрец не ответит,
Отчего умирает Рахель,
Не открыв заповедную дверь
Очага своего. На пороге.
По дороге, мой друг, по дороге.

1992

* * *

Каждый день — как последний. Посредник
меж мною и бездной.
И кручина крутая. А нужно крутиться,
дела затевать!
От предчувствий пьянею,
а в жизни, безудержно трезвой,
ничего не осталось.
Чужие — и кров, и кровать!

¹ Шхем — город в Израиле.

* * *

Я праздник Субботы узнала,
Но праздновать власть — не могу!
Российскую свалку вокзалов,
Российскую злую пургу,
Российские топи и хляби,
Судьбу — по колено в снегу,
С российской щедростью бабьей
В испуганных снах берегу!
И некуда, братцы, деваться —
На Этом и Том берегу
Я буду чужой оставаться
В сиротском кругу, на бегу.
Здесь — кровь мою вычислят люто,
Там — душу мою не поймут:
Смурную российскую смуту
Не втиснуть в уютный приют!
Я маюсь, спекаюсь, я — каюсь
За эту беспутную связь,
За то, что не отрекаюсь
От родины, что — отрекаюсь!
И нас отпускает и гонит —
Навзрыд и взахлеб, и взашей.
Но потная память погони —
Привычное чувство, еврей!
Легко ли — парить над тщетою
Усилий своих, человек!
За новой какою чертою
Оседлой — остынет твой бег?..

1990

* * *

Посторонний. Потусторонний
Этот воздух. И этот свет.
Мы еще — не внутри. Мы — возле,
Как собаки, не взявшие след!

Мы не знаем, что делать на воле —
Без цепей и костей на обед.
Мы хозяина ищем и воем,
Потому что хозяина нет!

где художник краски слишком щедро
разбросал, не думая о вкусе,
где цветы похожи на искусство
импрессионистов самых буйных,
где плывет по голубому небу
пышное, раскормленное солнце,
плещется неправдашнее море,
и растут неправдашные пальмы.
Воздух раскален, как в русской бане —
до остервенелого озноба
памяти, ныряющей в сугробы
белого, неправдашнего снега.
Парься, задыхаясь в схлипах сленга,
этой смеси неправдоподобной
хриплого восточного с расейским,
бесшабашно оглушившим звуки
в многозвучной тишине разлуки.
Прошлое местами поменялось
с будущим. И невозможно слиться
с тенью, что сквозит легко и тихо
по лилово-розовым аллеям.
...Мне понятно, почему однажды
ты покинул этот мир нарядный
и ушел туда, где только камни —
высохшие слезы поколений —
изгнанных, растаявших, упавших
в гулкую, глухую прорву неба.
Здесь тоска лежала неподвижно,
дожидаясь твоего прихода.
И казалось в пустоте, что слышен
невесомый стон тысячелетий.
А теперь — зеленый и беспечный
город возвышается над бездной
шумного, неправдашнего мира,
как мираж — над путником усталым,
жаждущим общения в пустыне.
К миражу — надежно прислониться,
потому что Вечность доказала:
миражи прочней любых строений,
городов, правителей и храмов.
Миражи пустыни иудейской
и холмов библейского Шомрона,¹
миражи истории еврейской,
книжной разрушительной идеи —
спутницы любого созиданья!

¹Шомрон — столица Израильского царства в начале I тысячелетия до н.э.

* * *

Это жизнь проходит. А время стоит неподвижно,
Окуная меня, возвращая в Эдем невозвратный.
Это старые ставни скрипят в моих снах предзакатных,
Это воет собака, срывая истлевшие цепи,
и неясные тени тоска полуночная лепит,
ненасытный хамсин теребит бездыханное лето
и потеет в экстазе своих наслаждений привычных.
Это солнечный диск к равнодушному небу привинчен.
Оживают века. И предчувствия девочки книжной
проступают, чернеют, как в комнате — плесени пятна
от израильских ливневых зим, непохожих на зимы.
Это сердце щемит. Это бродит любовь пилигримов.
Это гаснет маяк, и срывается с якоря пристань.
Это в горле комок, нерастраченной нежности приступ —
так врывается ветер в задуманный стенами дом,
так смываются слезы вселенским слепым сквозняком,
так не знают — Зачем, забывают — о Ком и о Чем,
И звенит трын-трава. И становится все нипочем...

1994

* * *

Нет, не журавлем и не синицей,
я была перелетной птицей,
серым воробьем под серым небом
городским, где серые асфальты,
где в ошметках суеты и фальши
мы искали крохи наслажденья
невозможной и чужой свободой
запредельных стран, страстей и странствий,
за которой остальные птицы
улетали осенью туманной,
для чего-то снова возвращаясь
к серым небесам и серым лицам.
Я была перелетной птицей!
А потом взяла и улетела.
Обморок восторга затянулся!
Непонятно, можно ли очнуться
и себя почувствовать живую
в этом нарисованном пейзаже,

Я боюсь приближаться
к внезапному знаку подарка.
Уползаю в озноб.
Закрываю железную дверь,
За которой песок.
И хамсин.
И тревожно.
И жарко...

ИЕРУСАЛИМ

Ничего себе ветер — стремительней аэроплана,
Ничего себе город — летящий на смуглых холмах!
Может, это входило в Его грандиозные планы,
Может, это сквозило в моих человеческих снах.

В синагогах печальных, где таяли тихие свечки,
Изначальная тайна томилась в звучанье стиха.
И стояли евреи — заблудшие мира овечки,
И ни с кем не хотели делить своего Пастуха!

Только вечную Книгу с собой уносили в изгнание,
Только щит беззащитный — Давида земную звезду,
И веселую грусть, и тревожный покой Мироздания,
Что сквозит над землей, по которой сегодня иду.

Запоздало свиданье. На тысячи лет запоздало.
Застревала не встреча моя в неподвижных веках,
Застывала в чужбинах холодных, в чужих языках,
В ненадежных домах с бесприютным уютом вокзала.

Я не знаю, зачем и какую стихийною силой
Перепутаны в жизни моей времена и миры.
И внезапный озноб этой лютой восточной жары
Непонятно похож на заснеженный воздух России...

* * *

представляюсь прохожим
среди башен брожу
не важен, но сложен —
в служенье вхожу
сражению слова
со стаей страстей
свидетель улова —
цветенье сетей.

* * *

счастье — это держать
на ладони куколку
своей бывшей безличности.

* * *

латынь —
аккордеон поэта
любовь —
во всех сезонах
лего.

* * *

В одном ученом дневнике
прочел я имя:
Авиценна.
Душа моя
по доброте
моей собаке
равноценна.

* * *

Душа твоя —
потемки
своя — еще темней
каким бы ни был
тонким —
не выйти из теней

* * *

не соразмерен я своей природе,
природа — на меня пародия.

* * *

Вспышка на окне искрится,
озарая дальний лес,
летит, в форточку стучится,
слезы веток на стекле.
Сквозь замок так больно светит,
дверь так жалобно скребет,
снежный ветер меня встретит
и за вечер позовет.

* * *

скрипнула дверь
на пороге
обнял меня
ночной ветер...
черная даль
чуть светится
всеюром
недотроги
озером
у дорро-оги

* * *

осень
о листьев
безлесинь
о сотки
бессолнечных
просек
о лоси без злости
весенней
сини
оград огородных
разини
безрогих дорог именины
осин синеоких смотрины
осень
о песен безлесинь
бесптичьих озер заголосень
загадки без песен девичьих

* * *

Я арендовал улыбку вашу
Для большой арены лжи,
Ложе мертвой любви тяжело!

* * *

клетку выдумала
птица —
быть свободной
и... резвиться.
клетка в перьях
золотится
ветка в черепе
искрится.

* * *

Снежной веткой нежность удалилась.
Листья — ленты талых звезд.
Ночью сетка мошкеры поля покрыла,
Месяц в ней — мишинный хвост.
И такая тишина,
Будто незаметно дверь открылась.

пробки прогорели —
праздники не робки
пронесли апрели
соловья в корробке
в коридорах разносили
на тарелках
ложки, или лилии в сапожках

в коридорах разносили на тарелках
ложки, или лилии в сапожках
пробки прогорели — праздники не робки
пронесли апрели соловья
в корробке

* * *

скрипнула дверь
на пороге
обнял меня
ночной ветер...
черная даль
чуть светится
нежностью
недотрро-оги

* * *

Дом веткой окрылен —
Вечер на крыше.

* * *

на стволе
переплетающихся рук
зеленеет между
пальцами
листающийся звук

хоть сам он — результат болезни,
что вызвала его предчувствием
за ним стоящим,
как за экраном, мысли настоящей
закрашенное бездною
окно.

ЛИЦЕРТЫ

лицерт сочинений Саши Соколова
фарфоровый король трагикомедии комфорта
лицерт поэзии Геннадия Айги
белополе засеяно красноизбы
лицерт поэзии Севы Некрасова
листья листья листья ли
лицерт поэзии Станислава Красовицкого
серебристолиния из-под краскарандаша
осени красноголовый монастырь
лицерт стихотворения Леонида Аронсона
«Увы, живу, мертвецки мертв...»
 мрак
 тьень
 тонкоперстень
с зеленокамешком
лицерт живописи Райоля Дюфи
ветхий оставлен на балконе
ветром красный полутон
мимфа из стихотворения
под названием: «Дюфи»

* * *

На мглистых
островах
в дупле
колдуют дикари
Дикарики —
жучки Дивлицы
Длинны —
касаются ресницы
Зрачки за тучей
усмотри —
лечу на личико
зари

Хочу разорвать всю душу,
вмиг ожить, вмиг умереть
иль выдумать казнь мне похуже,
чтоб жизни не смог я стерпеть.
Но это — мираж, наважденье,
а смерти ладонь глубока.
Язык проглотив, иступленье
повисло на строчке стиха.

* * *

Пространство меня обнажает,
в протрацию входит восход
не солнца. Чего? Я не знаю.
Секрет океаном растет,
претит описание жизни —
холодного ветра пятно,
в плаще словотворческой мысли,
что высится храма окном.
И все, что любовью хранимо,
на тайном холсте заволнит,
плывут мне навстречу — незримы —
предчувствия знаков одних,
крик пропасти, что окрыляет
прорывы затверженных слов,
в обрыве вниманья вздыхает,
ступени убрав у шагов,
и разум от них улетает
в уныло крылатый простор,
что ангелам видится раем,
а змеям узорами нор.

* * *

Ночь пришла. Углится мгла.
Пасть крыла меня взяла.
Тень легла на край стола.
Трель на краешке росла.
За окном на ели
выросла игла.
Интеллект давно
мне обещает исцеленье,

* * *

Оботру твои ноги,
А в лицо не взгляну.
Свет небесный с дороги
Присмотрелся к окну.
Предусмотрена юность
Пересмотренных книг,
Под склоненной главою
Тих сияющий лик.

ФАНТАЗИЯ СТРАСТЕЙ

Округлившись у вершины убежали трубачи.
Леденеющий танец вошел
со свечой, мне ладонь протянул.
Я оглянулся —
наступающий сумрак
просунул в окно мне
тень ветки.
Догорающий вечер
мне на волосы отблеск кладет горячо.
Я наклонился —
на столе обнажила плечо
статуэтка на солнце;
статуэтку накрыл удивлением,
а в ней
зеленее камней засветились
ее лисьи глаза в камне скрытых морей.
Над морями огромным цветком
раскалились
плечи белеющих птиц,
листьями речи лились.
В тревоге язык не продумать —
трудно созвучье тоски
в словах — равнодушные трюмы.

* * *

Все чувства у них — номерки —
чудовищных вымыслов числа
нелепой игривости грез.
А вместо безмерности мысли
одних ожиданий вопрос.

НЕ СОРАЗМЕРЕН Я СВОЕЙ ПРИРОДЕ

МОЕМУ УЧИТЕЛЮ ДАНТЕ

Пройдя середину пути земного,
я очутился в лесу, он сумрачноптицый.
Путь потерял или с первой страницы снова
свист. Лань легла. В лапах раскаты мрака.
Вопросы лесов — из величия дичие силы.
Так мысль обновилась объятием страха.
Обилье любви — только шаг ее до могилы.
Лик — клик забот, тонкой порою приходишь
к тому, что без ярости мысль —
бесплодицей хилой
флаг без крыла в пламени веры проходишь
от сна многоэра над точкой
ночи безмерной,
путь ясный утратив кружа в хороводе.
Кому я оставил следы бесколменно?
Где отдохнуть, человече?
И сердце так сжалось словно в рассказе
раскаянье за сценой.
Чти лик-латынь и у притчи
Флоренции плечи.
Платья сверканье ровное,
кроны косящие речи
режут колонны величья одеждами птицы.
Краснее ладони на хрупкой странице,
цветок на плече — расцвела Беатриче.

ПОЭЗИЯ

Илья БОКШТЕЙН
Светлана АКСЕНОВА
Зинаида ПАЛВАНОВА
Сара ПОГРЕБ

- Дима удрал... с надзирательницей, — пояснила я.
- Куда?
- Когда удирают, не оставляют адреса.
- Она поперхнулась. Но потом все же проговорила:
- А как же его родители?
- Вероятно, обойдется без них.
- Но я без него не смогу.
- Как... и ты тоже?

Что можно гарантировать в нашей жизни, на этом свете?
Что?!

Приташил мебель, кем-то выброшенную за порог, и сделал ее привлекательнее новой. Укрепил расшатавшиеся решетки, чтобы Мирру не обокрали, а на балкончик приволок в мешке землю и посадил цветы.

— Откуда он взял цветы?

— Со своего балкона... Сказал, что они мне нужнее.

Тут не возникло никаких опасных мыслей. Поскольку не могло быть опасности! А возникла, наоборот, мысль виноватая: «Почему мы не верим, что у человека, действительно, может существовать совесть? И бескорыстная доброта? Почему все благородное протыкаем знаком вопроса? И знаком сомнения? Сомневаемся, когда неспособны ни на что подобное сами! Вот и я...».

— Он замечательный, — тихо сказала Мирра. — Поверь мне.

Ей-то уж я не могла не поверить.

Ранним, почти предрассветным утром с улицы позвонили. Незнакомый мужской голос попросил в домофон открыть ему дверь. Я со сна послушно нажала на кнопку, и через минуту на пороге возник неказистый бизнесмен, сдававший Диме квартиру. Очки его были еще очкастее, а лысина стала еще лысее.

— Они удрали, — сообщил он голосом, который безнадежно пытался как бы стискивать сам себя, сдерживать. — Удрали вместе, вдвоем... И оставили записку: «Не ищите нас — не найдете!».

А в следующий миг я, хоть и была ошеломлена, все же сообразила, что для него украденными были прежде всего купюры.

— Вы гарантировали. И должны мне вернуть, все, что он задолжал. Для вас это, я осознаю, немалая сумма. Но что поделаешь? И вас обокрали. Не надо было давать «гарант»! Он расплатился лишь за три месяца... Она же прихватила с собою все драгоценности. Даже фамильные! Их обоих найдут... Но когда это будет? Вы должны со мной рассчитаться. Обязаны по закону!

Дверь, которую он нервно захлопнул, неуверенно дернулась и приоткрылась: у Мирры был комплект ключей от моей квартиры, и она обычно по утрам навещала меня, поскольку чужих детей нянчила лишь с полудня.

— Вы тоже гарантировали! — обратился к ней покинутый муж.

поручиться никто. Мое просто желание переплелось с желанием отомстить.

Дима же, оказывается, пробился ко мне сквозь преграду своей обостренной совести, мучительно разрушил плотину своих нравственных убеждений и представлений о законах порядочности. Я услышала от него обо всем этом, хотя сама его мук и преград не заметила.

— Скрытный ты!

Потом Дима стал разрушать эту плотину весьма регулярно. Разрушать заново ему приходилось из-за того, что, по его словам, он ее всякий раз восстанавливал. Но то ли строительный материал был непрочен, то ли стремление разрушать оказывалось слишком уж мощным и неуправляемым...

Вообще, согрешив, Дима любил поразмышлять о святнях. Главной же святыней для него были родители, с которыми он мечтал поскорее соединиться.

Белокурой, голубоглазой бестии Лотте он не мог простить ее преступление (Дима так и говорил — «преступление»!) перед матерью и отцом мужа. Бестию он прозвал надзирательницей. Так как концлагерей уже не было, она надзидала за капиталами мужа.

— Дернуло же меня при ней починить телевизор, — сокрушался Дима. — Теперь что ни день просит что-нибудь починить: то пылесос, то кофемолку, то какой-то особый зонтик, то старинные часики...

— Ты и это умеешь?

— Я уж боюсь афишировать! Из гостиницы, где они на полтора месяца остановились, тащится на третий этаж. Лучше бы навещала родителей мужа в доме для престарелых.

Опасная мысль снова шелохнулась, но сразу притормозила.

— Я содрогаюсь, когда вижу ее, — сказал Дима.

К нему, на третий этаж, после того, как он туда въехал, я ни разу не поднялась: что подумали бы обо мне соседи, столь почитавшие «милых людей»? А его посещения выглядели естественными: хочет что-то узнать, спросить, посоветоваться со старожилкой.

Ироничным отношением к Диме я старалась защитить себя от любви. Но внезапно хрупкая Мирра разрушила плотину моей ироничности с той же силой, с какой Дима сокрушал плотины своих моральных устоев.

Дима навестил ее однокомнатную квартирку в доме напротив — и к вечеру все чудодейственно преобразил.

добры! Кстати, странное выражение — «Будьте добры!»: его ведь человек обращает к тем, кому сам дарит добро. Призывает, что ли, последовать своему примеру? Те, ради кого Мирра творила добро, чаще всего ее примеру не следовали. Но она продолжала откликаться, мирить, содействовать, предоставлять... Вот и в Тель-Авив последовала по первому моему зову и «гарант» предоставила Диме по первой же моей просьбе. Напоминать Мирре о своих нуждах не приходилось. Хотя сама она пребывала в тяжелой нужде: невропатолог, прежде укрощавшая нервы не только своим врачебным искусством, но и человеческим поведением, она второй год подрабатывала нянькой в семье, богатой деньгами, но не слишком богатой по части порядочности: за ту же — нянькину — плату мою безотказную Мирру использовали и как врача. Конечно, лишь в случае надобности и вроде бы ненароком.

Всегда казалось, что Мирра только что перенесла изнурительную болезнь: худенькая, изможденная, она словно бы нарочно сжималась, чтобы занимать на земле поменьше пространства, уступая его другим. Всюду, а не только в автобусах, норовила она уступать людям свое место. И они эти, освобожденные ею, места занимали.

Завершив оформление квартирной аренды, вполне удовлетворенный Дима вечером заявился ко мне с бутылкой лимонной водки. Чтобы это дело отметить! Я почувствовала, что его квартирная удовлетворенность внезапно потребовала удовлетворенности вовсе иной... Прежде всего он предложил мне выпить на брудершафт. Я знала, что брудершафт — привычная для мужчин увертюра ко всему остальному, что это, как прямая линия в геометрии, кратчайшее расстояние... в данном случае между замыслами банальных страстей и их воплощением.

Честно говоря, я готова была отдаться Диме и без брудершафта. Но он, столь непримиримо отвергавший Германию, воспользовался для самооправдания немецкой традицией. Она ведь очень удобна: вроде, и всего-то собираются перейти на ты, а потом вдруг, как бы само собой... Игра в неожиданность... Начинается вполне безобидно, а каков результат!

Сыграв в эту почти беспроегрешную игру, и Дима добился обычного результата.

В моем сознании муж не стоял уже между нами. Я не уважала его: он послал в разведку меня, а не пошел в нее сам. Но зато сам подослал, думалось мне, явного Дон-Жуана, за которого я должна была поручиться, но за отношения которого с женщиной не мог

сродни. Он также, подобно главам Белого дома, не обнаруживал своих негативных потрясений. Если они вообще его когда-нибудь настигали. Удивление было для него крайним проявлением взволнованности. Именно удивление выразил он, сбежав ко мне по лестнице с третьего этажа.

— Она засадила его родителей в стариковский дом!

— Кто она?

— Немка! Жена еврея, сдавшего мне квартиру...

Накануне я познакомилась с этой супружеской парой. Он был маленьким, очкастым и лысым, а она — стройной, с застывшей на лице красотой и потоком светлых волос, который выплеснулся с головы на плечо — кажется, правое — и находился в состоянии безмятежной зыби. Никакой волнистости в этом густом потоке не наблюдалось.

Ни он, ни она в квартире на третьем этаже никогда не жили. Там — не всю свою жизнь, но довольно долго — жили его родители. О них все в доме отзывались с редким для людей, оценивающих соседей, единодушием:

— Милые люди!

Не милы они оказались лишь невестке, которая подцепила их сына где-то в Германии. Но подцепила так крепко, что отцепиться у него ни малейшей надежды не было. Впрочем, он, видно, и не собирался этого делать, поскольку был пылко влюблен в нее. А эна — в его капитал. Не в очки же и лысину, в самом деле!

— Снова Германия на евреев напала, — не пересекая рубежа удивлений, продолжал Дима. — Навалилась на двух стариков-инвалидов! И с помощью еврея же — да еще сына родного! — загнала их, словно в гетто, в дом для престарелых. Чтобы не лечить, не заботиться... «Наш бизнес к медицине и благотворительности отношения не имеет!» — сообщила мне сама эта белокурая и голубоглазая bestия Лотта.

«Заметил, что голубоглазая и белокурая!» — мелькнула еще одна опасная мысль.

Другие опасные, но еще не осознанные мысли, побудили меня не только предоставить Диме «гарант», то есть поручиться за него тому, с виду неказистому, бизнесмену, но еще и отыскать второго гаранта.

Им стала моя московская подруга Мирра. «Мирра во имя мира!» — называли ее в институте, поскольку она спешила на выручку даже тем, кому еще не стало плохо, но могло бы стать в будущем. Мирра подмахивала свою подпись, не читая под чем подписывается: если это кому-то надо, принесет пользу, — будьте

Когда молодые мужчина и женщина долго пребывают в отдельной квартире наедине, возникает ощущение не зависящей от них напряженности. Если только она не страшна как грех и может считаться женщиной (на внешность и даже возраст мужчин эта оговорка почему-то не распространяется). Дима снял напряжение упоенными восхвалениями Лешы, моих и, главным образом, своих родителей. Он так восторженно и подробно их характеризовал, будто они тоже нуждались в «гаранте». Без своих мамы и папы Дима, я поняла, дышать был не в состоянии. Кислород ему подавала только надежда вызвать их в скором времени на Обетованную Землю. И тем избавить от земли тоже великой, но, увы, не обетованной. Иначе бы он задохнулся! Дима также не мог жить без Лешы, с которым, как оказалось, вместе работал на одном из новорожденных совместных предприятий российского бизнеса. Не знаю, кто с кем совместился там на деловой основе, но на дружеской Дима, по его словам, навсегда совместился с Лешей. Если он, думала я, проявлял на русской почве ту же хватку, что на еврейской, их совместное предприятие процветало.

Дима без хвастовства, а просто реалистично сделал вывод, что был главным гарантом успеха того московского бизнеса, который он покинул во имя исторической родины. Вторым же гарантом бизнеса был мой Леша.

— Когда и он прилетит сюда, предприятие развалится, — констатировал Дима.

За несколько дней Дима преобразил мою квартиру так, будто сам собирался в ней жить: покрасил решетки на окнах, поклеил обои, привел в полную боевую готовность радиоприемник, стиральную машину и газовую плиту, которые, оказывается, доживали свой век. Так как в нашей семье мужчиной была я (поэтому меня и послали в разведку!), димины качества сшибли меня с ног. Но не настолько, чтобы я упала к нему в постель. На что он, кстати, не намекал.

Преображая мою квартиру, он продолжал с полуслезами в голосе восхищаться Лешей и своими родителями, которые его всему на свете и научили. В том числе, отправиться в Тель-Авив.

«Уж он-то бы меня в одиночестве не оставил!» — промелькнула опасная мысль.

Из всех президентов Соединенных Штатов, кажется, только Франклин Делано Рузвельт не демонстрировал нерушимость своего здоровья: он с детства был прикован к коляске полиомиелитом. А все остальные давали понять, что неподвластны болезням и возрасту. Дима не был похож на Франклина Делано Рузвельта, остальные же президенты — в этой своей манере! — были ему

Осталось только, чтобы он стал моим. Тоже «в доску»! Такой доски в моем скромном тель-авивском жилище не было, а у него, естественно, не было и жилища. Чтобы Дима его поскорее обрел, меня попросили предоставить ему «гарант», то есть за него поручиться. А домочадцы ручались на десяти страницах! Дима, оказывается, был добрейшим (мои родные и близкие тяготели к эпитетам в превосходной степени!), был и надежнейшим, и мастером на все руки. В последнем я убедилась сразу, как только руки его обняли меня с такой — разумеется, дружеской! — силой, будто мы были знакомы не какие-то там минуты и даже не месяцы и годы, а долгие и прочные десятилетия.

Дима вообще все делал стремительно... Стремительно заметил, что я выгляжу на миллион долларов (чем мое миллионерство, увы, и кончалось), что двухкомнатная квартира моя, хоть и невелика, но прекрасна, что стол на кухне слегка накренился и его надо незамедлительно поставить на все четыре ноги. Он вылечил стол за какие-нибудь четверть часа: благо, в спортивной сумке оказались все необходимые инструменты.

Семья наша гарантировала, что я могу доверять Диме, как самой себе. Мои домочадцы отличались такой доверчивостью, что оставляли ключи от квартиры без разбору всем «честным людям», в результате чего нас трижды обворовали. «Доверять, как самой себе...». Эта фраза тоже была идилической, потому что самой себе я доверяла меньше всего.

Оказалось, что на третьем этаже моего дома как раз сдается квартира.

— У меня всегда бывает «как раз», — сказал Дима без всякой самонадеянности. — Везет!..

На оформление требовалось несколько дней. И все эти дни он жил у меня. Я предложила одну из двух смежных комнат, но он, чтобы не стеснять, предпочел спать на кухне.

Проснувшись в первое утро уже не вполне одинокой, я его не увидела. Дима явился через час в шортах и майке: оказывается, ему, как и американскому президенту, требовались утренние пробежки. Он вообще был похож на президента Соединенных Штатов: высокий, безупречно белозубый, улыбчивый (вероятно, даже в драматических ситуациях!). И напоминавший еврея не более, чем я китайянку. Единственное, что отделяло его от Белого дома, это отсутствие поддержки американских избирателей. Но поддержку жильцов нашего дома он к вечеру уже полностью завоевал. Я учила иврит более года, и довольно-таки безуспешно, а он, кроме чемоданчика и спортивной сумки, привез с собой и приличный иврит.

ГАРАНТ

В разведку обычно посылают мужчин. К тому же самых отчаянных и бесстрашных. Но моя семья отправила в разведку меня. Как разведчик я должна была выяснить, в каком израильском городе удобнее поселиться и смогут ли мои домочадцы устроиться на работу. То, что устраюсь я, сомнений не вызывало: в повседневности нужней всего те врачи, которые заменяют отслужившие части людского механизма новыми, запасными или ремонтируют старые. А я была стоматологом.

Разведчик, глядя в глаза собственной смерти, прокладывает дорогу своему воинскому подразделению. А я прокладывала дорогу своей семье, глядя в глаза собственному одиночеству.

Спасти разведчика от гибели чаще всего не может никто. Меня же спасти от моего одиночества мог Леша, назвать которого слишком высокопарным словом «супруг» или слишком коротким «муж» почему-то не поворачивался язык, но сердце там, в уже далекой Москве, «поворачивалось». Могли спасти и мама с отцом, которые годами размышляли ехать или не ехать, но перестали сомневаться, как только расстались со мной.

И все-таки мои домочадцы решили сначала избавить меня от одиночества с помощью Лешиного приятеля Димы. Пока в нашей московской квартире рождался громоздкий план перевозки бесчисленных — за целую жизнь накопленных! — вещей, Дима взял чемоданчик, перебросил через плечо спортивную сумку и явился ко мне. Главной его ношей были рекомендательные письма от Леши и мамы с папой. Они гарантировали, что Дима, который успел покорить их уже после моего разведывательного отлета, это «исчадие рая» (исчадием ада моя восторженная семья вообще никого не считала!), что Дима «в доску свой», а, стало быть, и их парень.

Я прошел путь, который прошли все уцелевшие евреи, непопавшие под немецкий каток, — почти тот же самый. Жизнь достаточно многоцветная и пестрая, если говорить по правде. Жизнь писателя — в особенности.

Я стал писателем случайно. Никакой ангел надо мной не летал, крылья не простирали, на ухо не шептал, но потребность рассказать о том, что происходило с нашим народом, у меня была всегда.

Вероятно нужен Шекспир для того, чтобы рассказать о том, что мы пережили до образования государства и что переживаем сейчас, когда государство уже создано. Нужен человек неслыханных способностей.

Но у нас нет Шекспира, зато у нас есть Танах, у нас есть Тора. Там всё есть: все крики, все мольбы, все проклятия, все пути, прошлые и будущие, все конфликты — всё собрано в одной книге. Может поэтому у нас и нет Шекспира... Может поэтому мы, писатели, ничего нового не открываем. Достаточно перечитать Исайю, Иова и вы поймаете себя на странной мысли: во всех их излияниях, во всех тяжбах с Богом и с собою есть что-то от вашей жизни, от каждого из вас. Хотя мы об этом, может быть, и не задумываемся...

*Записал Леонид Гомберг
Бат-Ям, апрель 1994 года*

профессии, я ответил — софер¹ (это слово я знаю давно), то увидел в ее глазах нескрываемое сочувствие.

Я не хотел бы ограничиться этим рассказом, потому что встреча с Израилем не кончается в аэропорту. Эта встреча продолжается и, будем откровенны, не всегда приносит радость. Но я приехал сюда не за вознаграждением. Я не жду награды за свой вполне обычный шаг, особенно сейчас, когда, чтобы пересечь государственную границу, никакой смелости не требуется. Я думаю, что, как здесь говорят, «ихье беседер!» — будет хорошо! Должно быть хорошо! Если нам не будет хорошо тут, то где же нам будет хорошо? Там, где мы перестаем быть евреями? Там, где поджигают еврейские синагоги? Если и здесь нам не будет хорошо, — нам нигде не будет хорошо!

ВОПРОС: Я ваша читательница. Одна из первых книг, которую я прочитала — «Птицы над кладбищем». Эта книга перевернула мое сознание. Больше всего меня поразила одна фраза, сказанная о евреях галута²: «Почему мы всегда беремся переставлять мебель в чужом доме?». Эти слова очень просты, но они перевернули всю мою психологию.

ОТВЕТ: Действительно, одной из тем моего творчества является, на мой взгляд, весьма и весьма сомнительное участие евреев в делах по переустройству мира, в котором они живут чужаками. В моей последней книге «Не отврати лица от смерти», есть слова, которые принадлежал не мне, а моему отцу, светлый ему рай. Он прожил долгую жизнь — девяносто один год. И был очень молчаливым человеком: полчаса молчал, прежде чем замолчать по-настоящему. Он репетировал свое молчание, как актеры репетируют свою роль.

Но однажды он сказал: «Гриша, я знаю, в чем корень всех наших бед...».

Меня это ужасно удивило, потому что до сих пор он никогда не говорил об этом.

«Вся беда заключается в том, что мы всегда перекаливаем уют, когда гладим чужие брюки...».

Нельзя перекаливать уют, когда гладишь собственные брюки, что же говорить о том, чтобы перекалять его, когда гладишь чужие...

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, вы только в Литве жили или в России тоже?

ОТВЕТ: Короткое время я жил в Ярославской области в 1941 году. Потом нас отправили в Южный Казахстан, в Чимкентскую область. Я ходил в казахскую школу, учил казахский язык и говорил на казахском языке лучше, чем сейчас на иврите. Из пришлых в классе было только два ученика — одна девочка и я. Девочка была дочерью солдата, погибшего под Москвой, а я был евреем из незнакомой казахам страны — Литва. Они никак не могли понять, что это.

Я собираюсь написать о тех временах роман: мы жили в феодальном государстве два с половиной года.

А все остальное время я прожил в Литве: сорок восемь лет в Вильнюсе, а тринадцать лет до войны — в маленьком литовском местечке.

¹ Софер — писатель.

² Галут — часть народа (этнической общности), живущая вне страны его происхождения.

организации, опекающие евреев диаспоры. Я по сей день уверен, что Израиль — это огромная строительная площадка, во всех отношениях и, прежде всего, может быть, в духовном отношении. Хотя людей, считающих, что они запанибрата с Богом здесь немало. Но я думаю, что работы здесь хоть отбавляй.

Скорее всего на нашу долю ее достанется не так уж и много, потому что всю свою жизнь, все свои силы мы отдали другой стране, другим идеалам, которые на поверку оказались лживыми, фальшивыми. Но мы делали свое дело, как нам повелевала совесть, многие из нас жили так, чтобы принести пользу не только той стране, не только России или Литве, но и, прежде всего, детям, чтобы сохранить их еврейский дух, чтобы сохранить в них надежду на будущее.

Я еще раз каждому из вас должен сказать за это спасибо! И даже переступаю границу дозволенного: я самому себе только за это говорю спасибо — за то, что раскачивал тот строй, за то, что пытался будить в евреях, которые меня читали, чувство причастности к своему народу, желание быть с ним вместе, каким бы он ни был.

Я знаю, что наш народ очень не прост. В «Еврейской ромашке» я писал: «Каждый еврей любит свой народ, но заставь Хаима любить Ицика — это еще никому не удавалось...».

Я приглашаю вас к беседе, потому что время монологов закончилось. Мы очень долго, слишком долго, жили в монологическом государстве, в государстве, где говорил один человек, а остальные повторяли то, что он говорил. Никого не слушали, ни на какие вопросы не отвечали, кроме тех вопросов, за которые полагался срок. Но такие вопросы задавали только смельчаки.

Я был бы очень рад, чтобы вы мне задали какой-нибудь вопрос, — не стесняюсь. Поверьте, я человек не лживый. Я думаю, следует упомянуть об одном достоинстве моих книг: они написаны абсолютно искренне. В них нет никакой дани моде. Я никогда не был лакеем и ни в какой стране им не буду! Я отвергаю прибыльное лакейство — это не моя дорога, это не мой путь. Я предпочитаю — пусть это звучит громко — бедность богатству, добытому таким путем. Я никогда не делал этого раньше и никогда не сделаю впредь.

Я еще раз хотел бы сказать вам — и тем, кто живет здесь три года, и тем, кто живет здесь тридцать или пятьдесят лет, и тем, кто, как и я, приехал сюда совсем недавно, — огромное спасибо! Я хотел бы, чтобы вы поверили, что ваш выбор правильный, что несмотря на некую жертвенность этого выбора, вы сделали огромное святое дело. Вы привезли сюда свое будущее, а следовательно, вы привезли сюда будущее государства Израиль.

Спасибо вам!

ВОПРОС: Как вас встретил Израиль?

ОТВЕТ: Я не очень хорошо понимаю, о какой встрече вы говорите. Во всяком случае, должен сказать — красного ковра не было. Я сошел с того же трапа, что и все олим хадашим¹.

На меня бросила взгляд, прямо скажу, взгляд не очень благосклонный, пкида² в аэропорту Бен-Гурион. Мое имя ей ничего не говорило. Когда на вопрос о моей

¹ Олим хадашим — новые репатрианты.

² Пкида — служащая.

ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ: «МЫ ПРИВЕЗЛИ С СОБОЙ БУДУЩЕЕ»

(встреча с читателями)

Благодарю вас! Большое спасибо за то, что вы проявляете интерес к творчеству русскоязычных писателей и к русской культуре вообще. Я думаю, что она неотторжима от каждого из вас, что она останется с вами во веки веков. Это, уверяю вас, не помешает вам стать полноправными гражданами Израиля. Я думаю, что здесь нет никакого противоречия: можно любить русскую культуру и быть большим патриотом еврейского государства, можно читать стихи Пушкина и упиваться каждой строчкой Танаха. Я не хочу, чтобы эти вещи противопоставлялись. Когда речь шла о чем-то важном, дорогом, ценном, я никогда в жизни не придерживался принципа «или-или», я всегда придерживался принципа «и».

Я вам очень и очень благодарен! Сожалению, что многие из вас, может быть, большинство, не читали ни одной моей строки, но у меня нет никакого основания вас в этом винить. Дело в том, что долгие годы мое творчество стояло вне литературного и вне правового закона. Меня не печатали в Москве лет двадцать, начали печатать только после того, как избрали в Верховный Совет, когда волею судеб я стал Народным депутатом СССР. Я был делегирован Литвой и избран по списку антикоммунистического блока «Саудис». Только тогда издатели проявили ко мне интерес и решили показать читателям что-то из того, что я написал.

У меня нет никакого желания кого-либо из вас упрекнуть... На одном из моих вечеров встал человек и сказал: «Канович! Мне кажется, вы интересный писатель, но я не читал ни одной вашей строчки». Я ответил: «Не сокрушайтесь! Есть люди, которые не читали ни одного стиха Библии. Это страшнее, чем не читать Кановича!».

Я написал сагу о литовских евреях, сагу, которая переведена на одиннадцать языков. Моя сага не закончена. Меня ждут еще три шага. Я должен справиться с тремя звеньями, чтобы цепь замкнулась и история литовского еврейства, в жизни и судьбе которого отражается жизнь и судьба всякого восточноевропейского еврейства: украинского, русского, польского, венгерского — была закончена. Я окончу ее тем, чем, как считаю, сам окончил свой путь. (Я думаю, что окончил его физически, и в какой-то степени, наверно, духовно). А окончил я его тем, что со мною происходит сегодня: мои сыновья разъехались в разные стороны — старший одиннадцать лет назад уехал в Канаду, младший четыре года назад приехал в Израиль. Вот, наконец, приехал в Израиль и я.

Я вел большую общественную работу. В течение пяти лет был председателем еврейской общины Литвы, писал статьи. Одна из моих статей по-моему более известна, чем вся моя художественная проза. Статья называется «Еврейская ромашка».

До своей алии я побывал в Израиле шесть раз. Впервые я приехал сюда в восьмидесятом году, когда вышла моя книга «Свечи на ветру» в переводе на иврит. Потом приезжал в качестве депутата Верховного Совета СССР на всемирный съезд парламентариев-евреев, потом на сионистский конгресс. Для меня Израиль — не тэра инкогнита, не новая страна. Хотя, конечно, я не могу сказать, что знаю ее досконально. Но я ее почувствовал... Я знаю, что жить в Израиле очень трудно, знаю, что Израиль непохож на те буклеты, которые выпускает Сохнут или другие

— Господи, Господи! — запричитала Данута. — Что же ты молчишь?

Она заметалась, бросилась к хате, но тут из проема дверей выскочил Амос.

— Амосик, Амосик! — вскрикнула Данута и заплакала.

Не сказав ни слова, молодой Брухис обреченно двинулся к грузовику, и вскоре Аарон увидел, как он быстро поднялся по спущенной лесенке в кузов.

Через некоторое время могильная тьма кузова поглотила и заспанного Баруха Брухиса.

Только Мера все еще беседовала с Цаликом.

— Я сама ее приведу, — сказала Данута, когда Аарон шагнул к воротам.

Могила Цалика утопала в цветах.

Коза тыкала в них свою белую мордочку, но Мера ее не прогоняла...

— Хозяйка, — подойдя, сказала Данута. — Господин Барух и Амос ждут вас... Вы уезжаете... уезжаете... уезжаете.

Речь ее напоминала заигранную пластинку.

— Куда? — заученно спросила Мера.

— Господин Барух говорит, что в Палестину. Там много, много цветов.

— А Цалик?.. А мой отец Ицхак? А моя мать Кейла?

Данута взяла ее под руку и повела по кладбищу к крытому брезентом грузовику.

Лесенка была небольшая, но Мера никак не могла попасть ногой — все время поскальзывалась и оступалась.

— Василий! — крикнул Аарон.

Солдат понял его с полуслова.

Они подхватили Мери и легко, как тряпичную куклу, посадили в машину.

— Поехали! — прогудел Василий, обрадовавшись, что наконец он сможет затянуться заработанным дымком.

Аарон поправил кобуру, зачесал свои непокорные лохмы и, как бы прося у матери прощения, припал к ней небритой щекой:

— Не волнуйся... Некоторое время поживут в чужом краю и вернутся.

— Бог вас покарает, — промолвила Данута, кусая губы. Сегодня ее сердце нельзя было отогреть ни ласковым прикосновением, ни любезными словами. — Только не говори, что его нет. Бог есть и пребудет вовеки, ибо, не будь его, вы бы, пожалуй, весь мир покрыли брезентом и превратили в кузов.

Она что-то еще с отчаянным упрямством шептала, но Аарон ее не слышал — грохот мотора сотрясал небеса.

К кладбищу, обдавая клубами дыма солнце, приближался грузовик.

В кабине сидел пожилой солдат в пилотке — шофер.

Рядом с ним, как на волне, покачивался Аарон. Ветер трепал его чуприну.

Грузовик вкатил через распахнутые ворота на кладбище и остановился возле избы.

Аарон открыл дверцу и спрыгнул на вытопанную траву.

Амос увидел, как оставшийся в кабине солдат в пилотке вытащил портсигар, достал оттуда папиросу и закурил.

Кощунственный дымок поплыл над еврейскими могилами.

Из хаты вышла Данута.

Кинулась к Аарону, обняла.

— Скажи ему, чтобы не курил, — попросила.

— Василий! — крикнул Аарон. — Покуришь на обратном пути. Мы недолго.

Солдат толстым, как бутылочная пробка, пальцем погасил папиросу.

— Вечно спешишь, — пожаловалась Данута. — Всегда тебе с нами некогда...

— Спешу, мать, спешу... Все на месте?

Данута сначала не поняла, о ком он спрашивает, потом смекнула и опечалилась:

— Все, кроме Иакова.

— Иаков мне не нужен, — ответил сын.

— Ты приехал за ними? — Данута повернула к хате отяжелевшую голову.

— Да.

— Но они же тебе ничего плохого не сделали. Поили, кормили, одевали...

Из хаты выскользнула Мера. Виногато улыбаясь, она поклонилась Дануте и Аарону, метнула взгляд на солдата в пилотке и быстро, вприпрыжку пустилась в глубь кладбища.

Аарон стоял перед матерью, чужой, нетерпеливый, с кобурой на заднице, и оглядывался вокруг, как будто впервые попал сюда.

Вдали, среди надгробий, расхаживала Мера и спокойно, умиротворенно рвала цветы.

— Хоть ее оставь, — перехватив взгляд сына, прошептала Данута. — Зачем вам такая?..

Просьба матери ужалила Аарона, он дернулся и, желая прекратить негласный и нестерпимый торг, бросил солдатку:

— Василий! Открывай кузов!

Солдат потопал к грузовику, поднялся на цыпочки и распахнул брезент.

Кузов чернел, как могила.

прикрытием от гадливых насмешек, от открытого злорадства, от искушения подняться на крыльцо отнятого дома, заглянуть в окна, побродить по саду, сбегавшему к Неману, потрогать завьюженные благодатной белизной яблоневые ветви.

Брухис-старший уговаривал себя и Амоса, а изредка и Меру, что кладбище — временная остановка, что скоро все изменится. Но время шло, и ничего не менялось.

Ко всем напастям и неудобствам еще прибавились черные слухи о предстоящем переселении бывших заводчиков, домовладельцев, крупных лавочников, раввинов, преданных Торе и Палестине. Иегуда Друкман, хозяин спичечной фабрики, отец Ихиила, клялся и божился, что в Каунасе это уже началось.

Мозг Баруха Брухиса, не терявшийся ни в каких обстоятельствах, находивший тропку в самых дремучих зарослях, лично хоррадочно искал выхода.

Но выхода для всех вместе не было.

— Амос! — сказал Барух Брухис, желая хотя бы спасти сына. — Хоть Литва и мала, но одному человеку в ней всегда удастся спрятаться. Я дам тебе письмо к монсinyору Залаторюсу в Шилале.

— Нет, — отрезал Амос.

— Но почему?

— Хочу жить, а не прятаться. Жить!

— Бывают времена, когда нельзя жить, не пряться, — пытался его уломать отец.

Чем больше Брухис-старший уговаривал его, тем острее чувствовал Амос безысходность их положения. Настойчивость отца, его неожиданные, почти фантастические предложения окопаться в монастыре или выдать себя за иностранца (Брухис обещал достать поддельный паспорт — не то немецкий, не то австрийский) вызывали у Амоса не сочувствие, не понимание, а глухое раздражение. Единственное, о чем он с презрительным упрямством мечтал — это чтобы скорей наступил конец.

И конец наступил.

Было утро как утро — тихое, светлое, не предвещавшее ни молнии, ни грома.

Над кладбищем вставало огромное и справедливое солнце.

Первой откусила солнечный ломоть коза. Она радостно замечала, и ее мекание, как белый теплый дождик, постучалось в засиженное мухами окно и упало на землю.

Амос проснулся на сколоченной Иаковом кровати.

Открыл глаза. Прислушался.

Шум мотора заглушил молитву козы.

Амос наспех натянул на себя штаны и подбежал к окну.

возвращался он вечером с работы и заставлял жену за тем же скорбным и бессмысленным занятием.

— Мера, — умолял ее Брухис-старший. — Разве ты забыла, что евреи цветов на могилу не кладут?

Мера шурилась и четко, как на уроке, отвечала:

— Не все, что евреи делают, они делают хорошо. Евреи, например, бросают цветы под танки. Я помню, как было год назад... Я стояла у окна и смотрела.

Она вырывалась из рук отца, бросалась к какой-нибудь сосне или к ограде, срывала только-только проклюнувшуюся ромашку и торжествующе на все кладбище, на все местечко, на всю Литву, на весь мир объявляла:

— Помяните мое слово: скоро их самих бросят под танки.

Пророчества Меры приводили Амоса в содрогание.

— В больницу бы ее, — горестно говорил он, когда мать удавалось увести в хату.

Легко сказать — в больницу. В прежние времена Брухис-старший без промедления отвез бы жену к докторам в Шяуляй или в Каунас. Он мог себе позволить показать ее в Кенигсберге (там после тридцать третьего года евреев не лечили, но еврейские деньги были сильнее всех запретов!) Так было в прежние времена. А сейчас?.. Бухгалтерского жалованья даже на дорогу не хватит. Будь у него деньги, он бы сам лег в больницу, и Амоса рядом положил, пока не утихли бы страсти.

Состояние Меры пугало его, но Брухис-старший не мог и не хотел мириться с тем, что она повредила в рассудке. В ее словах и поступках он не видел ничего противоестественного. Разве евреи не бросали под советские танки цветы? Бросали! И Аарон Дудак, сын Дануты, и этот чокнутый переплетчик Мейлах Блох, и Хацкель Брегман. Лавочник, а не устоял перед соблазном, швырнул букетик не из почтения к танкам, а из любви к собственной лавочке, авось пожалеют, авось не заберут.

Как ни волновало Баруха Брухиса здоровье жены, больше всего его угнетало другое — невозможность разомкнуть этот заколдованный круг, бежать из этих отравленных ненавистью пределов, избавиться от этой власти, для которой не существовало такого понятия, как чужое. Если нет чужого, рассуждал Брухис, чужой веры, чужого имущества, чужой жизни, значит, все дозволено.

Само проживание на кладбище, унижительное, вынужденное, казалось ему дурным сном. Он согласился перебраться сюда только потому, что не хотел своим несчастьем колоть людям глаза, доставлять радость недругам. Кладбище служило как бы

Но Брухис-старший не спал. Он по-прежнему упрямо смотрел в небо, как будто там, среди перистых облаков, вот-вот должно было появиться Божье начертание — как жить, что делать?

— Рассказывай! — попросил Амос, подойдя к отцу и испытывая зудящий стыд за свои недобрые подозрения.

Господи, как он смел заподозрить отца, что тот пустился в бега, забыв о чести, о порядочности, об обязанностях главы семейства. Если бы отец и впрямь помышлял о побеге, то он и словом не обмолвился бы о Риге, тем паче о Швеции, не стал бы ни с кем делиться подробностями, называть чью-то фамилию.

— А что тут рассказывать? — нахмурился Брухис-старший. — И так все ясно.

— Провал?

— Как бы тебе сказать: и да, и нет. На месте Рижский залив, на месте рыбаки со своими лодками, Швеция на месте, — мрачно пошутил отец. — Не хватает только посредника... Глезера.

— Умер?

— Для нас умер. Не мог, негодяй, сесть за решетку на месяц позже.

Напрасно Данута предсказывала дальнюю дорогу! Но, может, она имела в виду другое направление. Не Швецию, а Восток... Восток — страшно вымолвить — Россия!.. Он, Амос, на третьем курсе такую книгу читал: «Красный террор». На синей обложке — серп и молот, с серпа кровь течет, а на конце молота — череп. Там все написано: и про крестьян, и про купцов, и про фабрикантов, сосланных в Сибирь только за то, что жили лучше, чем их тюремщики и конвоиры.

«Уезжайте! Пока не поздно, уезжайте!».

Куда теперь уедешь? Куда?

За кладбищем — кладбище. За чужбиной — чужбина.

Возвращение отца не внесло никаких перемен в их жизнь.

Мера как ни в чем не бывало продолжала рвать цветы и беседовать с Цаликом. Ей нипочем была Швеция. Ей было наплевать на Сибирь.

Могилы Цалика пылали желто-красным пламенем — негасимым, как неопалимая купина, и Мера выходила из нее, как пророк Моисей — просветленная и непобедимая...

Отец ласково брал ее под руку — таким ласковым он был только в день свадьбы! — и пытался увести в избу.

Каждое утро он отправлялся пешком на фабрику, где новый хозяин Кястас Генис из жалости и уважения к цепкому, безотказному уму Брухиса-старшего устроил его бухгалтером. Усталый и встревоженный, весь изрешеченный костяшками счетов,

Амос смотрел на звезды и думал о том, как все вдруг запуталось, переплелось, стянулось в один тугой узел: и эта игра в пинг-понг до изнеможения, и эти могилы под звездным небом, и эта латышско-шведская тайна отца, и эта прогрессирующая на глазах болезнь матери.

Ему хотелось завывать, заплакать, сжаться в комочек, стать кочкой, но тут он услышал шаги.

— Данута!..

— Молодым на кладбище не спится, — сказала она, приблизившись. — Когда я была помоложе, тоже не могла уснуть. Думала: закрою глаза и больше никогда не проснусь. Но потом привыкла. Человек ко всему привыкает — к кладбищу, к тюрьме, к смерти. Ко всему, кроме чужой постели. — Данута помолчала и продолжала: — Ты меня, Амосик, не слушаешь... об отце думаешь... нехорошо думаешь... нехорошо...

— А ты откуда знаешь? — вырвалось у него.

— Я все знаю.

Амос еще в детстве слышал о чудодейственном даре Дануты предсказывать события — особенно беды или напасти. Она уверяла, что это у нее от прабабушки — бессарабской цыганки, на которой в незапамятное время женился корнет Скуйбышевский.

— Твой отец скоро вернется. Он привезет вам важную весть.

— Какую? — нетерпеливо спросил Амос. — Хорошую или плохую?

— Скорее плохую, чем хорошую. Но ты не унывай. Вас ждет дальняя дорога.

— Куда? — Амос жаждал, чтобы Данута назвала конкретное место: страну, город.

— Неважно, Амосик, куда, а важно откуда. Уезжайте, пока не поздно. Уезжайте.

— А вы?

— Куда нам! С одного кладбища на другое? — воскликнула Данута и медленно поплелась к хате.

Через два дня приехал отец, подавленный, неразговорчивый, похуевший. Уже по его виду Амос понял, что случилось что-то неладное.

Отец не стал есть, умылся холодной колодезной водой, забрался от палящего солнца под мохнатые сосны у самой кладбищенской ограды и принялся глядеть сквозь верхушки в небо.

Было тихо. В синем воздухе кружили заспиртованные шмели.

Жужжащая тишина, как гуд мельничного жернова, клонила ко сну.

- Чью вино? — еще больше опешил Амос.
- Сына... Аарона... Это ж он у вас все отобрал.
- Он, — согласился Амос.

— Если остались золотишко или бумажные деньги, мы их с Иаковым мигом похороним...

Амос поперхнулся очищенной картофелиной, выплюнул ее и почему-то принялся на нее дуть.

— Выкопаем яму и похороним, — продолжала Данута. — А когда вернется старая власть, мы их воскресим...

— Старая власть никогда не вернется, — процедил ошарашенный Амос.

— Вернется. Все возвращается, как сказано в Писании. И ветер, и птицы, и старая власть.

Над столом чадила коптилка, и в ее неверном, дрожащем свете все в хате принимало какой-то призрачный, бестелесный облик. Даже картофелины на столе казались слитками потускневшего золота.

— Ты, Амосик, отцу передай, когда приедет, — прошептала Данута. — А мы яму на всякий случай выкопаем... Недалеко от твоего деда Ицхака. Он всегда умел сторожить деньги, — она улыбнулась, и улыбка, как и коптилка, неверным, мигающим светом вспорола темноту.

Ничего не сказав, Амос вышел во двор. На могильные камни лилось далекое и недоступное сияние звезд. Надгробия плыли в нем, как плоты по Неману, — бесшумно и неразлично. Они подхватили Амоса и, обезличив, понесли к угадывавшемуся в темноте лесу, а оттуда еще дальше, за железнодорожную станцию, куда постоянно прибывали составы с танками.

Он и сейчас, казалось, слышал какой-то грохот, но этот грохот шел не из леса, не с железнодорожной станции, а изнутри. Все его существо сотрясал один-единственный звук, усилившийся и буравивший сознание. Возможно, это был страх, возможно, предчувствие чего-то рокового и неотвратимого, которое лишало его воли, способности противостоять обстоятельствам. В самом деле — как очутился он на этом кладбище, среди этого скопища безмолвных камней, в этой допотопной хате? Что он тут делает? На что надеется — он, знаток римского права, эрудит, о котором профессор Антанавичюс отзывался не иначе, как о прирожденном судебном светиле? Почему он сидит и покорно выслушивает бредни матери, вместо того чтобы бежать отсюда в Каунас, в университет, наконец, в «Монику» или «Конрад», где пока нет ни танков, ни красных флагов, а есть красное французское вино и услужливые кельнеры в белых манишках?

правда, не со свежей булочкой, не с клубничным вареньем, а с куском синего, как слепень, рафинада.

Днем Мера одна или вместе с Данутой гуляла по кладбищу, собирала цветы, чаще всего ромашки, сплетала из них венки, надевала на голову или без слез, сжимая иссохшие губы, клала то к надгробию утонувшего в Немане Цалика, то к памятнику своего отца Ицхака Лева, купца первой гильдии, выдавшего ее замуж за рослого и красивого Баруха Брухиса, который если и любил ее, то только за приданое.

— Это я, Цалик, — говорила Мера безмолвному камню. — Ты меня не узнаешь? — Она поворачивалась к Дануте и повторяла: — Он меня не узнает.

— Узнает, — утешала ее Данута.

— Нет, — твердила Мера. — А Дануту ты, Цалик, узнаешь?.. Она тебя на Хануку¹ наряжала... на каток водила... Господи, Господи, вздыхала она и вытирала сухие глаза, — что ж это на свете творится!.. Сын мать не признает!..

Говорить с ней в такие минуты было бессмысленно, и Данута не мешала ее изливаниям. То был спасительный бред, возвышавший душу, наполнявший сердце любовью, возвращавший смысл опостылевшей жизни — жизни-обманщице, жизни-похитительнице. Каждодневное общение с мертвым Цаликом снова делало ее Матерью, в ней как бы умирала седовласая, почти выжившая из ума старуха и возрождалась Женщина, которой дарили шикарные платья и колье, с которой ездили за границу — в Карлсбад и Баден-Баден, у которой были два прекрасных, как иудейские царевичи, сына.

Чем дальше, тем больше отрывалась Мера от грешной земли. Казалось, житейские заботы ее больше не волнуют — только бы рвать цветы, беседовать с Цаликом и отцом Ицхаком Левом, и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Воспоминания были единственной властью, которой она повиновалась беспрекословно, с каким-то сладостным и томительным раболепием.

Отъезд отца вынудил Амоса отложить свою поездку в Каунас.

Как-то вечером за ужином, когда Мера легла спать — она спала в кровати Шахны, — Данута спросила:

— Скажи, Амосик, честно: у вас есть золото... Деньги?..

— Не знаю... Вряд ли, — смешался тот.

Данута очистила картофелину в мундире, посыпала ее солью и протянула Амосу.

— Я не зря спросила, — голос ее звучал тихо, почти заговорщически. — Вину искупить хочю.

¹ Ханука — еврейский праздник.

— Ну уж, хорошая, — возразила Данута, — настоящая ведьма.

Они вошли в хату.

— Располагайтесь. Эта комната ваша, — Данута показала на освещенный расточительным солнцем квадрат. — А эта — наша!.. Тебе, Амосик, придется на полу спать... на сене, пока Иаков кровать не сколотит...

— Хорошо, — сказал Амос.

Данута накрыла на стол, согрела чай, принесла из погреба кувшин с медом, козий сыр.

Против всех ожиданий Амос на кладбище быстро прижился. Оно казалось ему тем местом на свете, где нет никакой власти, где безраздельно и согласно, на равных правах властвуют жизнь и смерть, где никого, перед тем как закопать в землю, не спрашивают: красный ли ты или белый, коммунист или сионист. Всех уравнивает лопата. Лопата справедливей, чем Сталин и Чемберлен, чем Гитлер или Бенеш. На ее кончике больше равенства, чем во всем мире.

Целыми днями Амос бродил с Иаковом Дудаком по кладбищу, полон, подметал, перетаскивал камни, обновлял надписи, чинил ограду.

Покойников, к счастью, не было, и можно было просто поваляться в высокой кладбищенской траве или постоять в задумчивости у могилы деда Ицхака Лева. Или брата Цалика.

— Летом всегда мало покойников? — спросил однажды Амос у Иакова.

— Мало покойников перед войной, — объяснил могильщик.

— По-твоему, будет война?

— Будет, — буркнул Иаков. — В войну могильщикам делать нечего.

— Почему?

— Потому, что война — это когда мертвых не хоронят.

Дни шли, и Амос все больше привыкал к новому месту.

Удивительное превращение произошло не только с ним, но и с Мерой — она изменилась до неузнаваемости — перестала плакать, лицо ее угрюмое, серое, как запыленное окно, вдруг разгладилось, загорело. Однажды Мера даже попросила у Дануты гребень и у замутненного старостью зеркала с облезшей амальгамой причесала свои волосы, напоминавшие последний, перемешанный с грязью снег.

Данута старалась угождать всем ее прихотям, ухаживала за ней, как за больным ребенком (Мера и впрямь была больна), подавала ей, как много лет тому назад, в постель горячий чай —

Барух Брухис отдышался и продолжал:

— Данута не откажет. Приютит маму, а если и ты надумаешь, то и тебя примет. Поживите на кладбище, пока я вернусь из Риги.

По правде говоря, Амос не надеялся, что все когда-нибудь устроится. Ему казалось, что новая власть пришла надолго, может, на всю жизнь. Тем не менее он по достоинству оценил неожиданное предложение отца. Маме на кладбище и впрямь будет лучше. Данута Дудак — свой человек. Она еще до сих пор, наверно, ходит в платьях, подаренных Мерой Брухис. Только ей Мера Брухис исповедовалась, только с ней, как сестра с сестрой, советовалась. Младший сын Дануты — Аарон, нынешний заместитель начальника мишкинского отдела НКВД, рос до пяти лет вместе с Амосом, ел с ним за одним столом, донашивал его ботинки и шу-бейки.

Мера Брухис долго упиралась, не желая никуда переезжать, но наконец муж и сын переубедили ее. Иаков приехал за Мерой на телеге и перевез на кладбище весь ее скарб, состоявший из двух пуховых подушек, одного байкового одеяла, двух застекленных фотографий в рамках из мореного дерева и горки кухонной посуды.

Когда телега, на которой кроме Меры сидели еще Барух Брухис и Амос, подкатила к кладбищенским воротам, громкий вопль пронзил вековую тишину. Он был такой горький, такой неизбывный и жалкий, что в небо с нагретых сосен черными поминальными платками взмыли непоседливые вороны.

Мера плакала, задыхаясь от слез и унижения.

— Похороните меня, похороните! — просила она, вскидывая и опуская голову. — Я для всех обуза.

— Успокойтесь, хозяйка! — умоляла ее Данута. Она помогла ей слезть с телеги, взяла под руки и медленно, бормоча какие-то ласковые, почти забытые слова, повела ее по полевой дорожке к хате.

— Какая я хозяйка! Какая я хозяйка! — причитала Мера, заламывая руки. — Нищенка! Попрошайка!..

— Хозяйка, хозяйка, — приговаривала Данута. — И всегда останетесь хозяйкой! Дворянин и без поместья дворянин. А голяк с дворцом — все равно быдло и голяк.

— Горе мне, горе! — не унималась Мера.

— Мама! — не выдержал Амос.

Мера вдруг замолкла, окинула сына горестным взглядом и выдохнула:

— Помнишь Дануту? Она хорошая, хорошая, — пропела мать и снова залилась слезами.

долгая судебная тяжба, хлопотный дележ имущества удерживали Баруха Брухиса от такого шага.

Внешне все выглядело пристойно — отец не обижал мать, покупал ей шикарные подарки — колье, платья, браслеты. Он как бы отработывал приданое, позволившее ему взмыть со дна общества на самый гребень — купить сперва лесопилку, потом мебельную фабрику, которую он, Барух Брухис, благодаря своей сметке и хватистости, сумел сделать знаменитой на всю северную Европу.

— Как только все улажу в Риге, я тут же за вами приеду, — сказал отец.

Амос молчал.

— Ты мне не веришь?

Молчание сына становилось вызывающим.

— Не веришь?

— Можно подумать, что от моего ответа что-нибудь зависит, — промолвил Амос. — Сегодня никому никто не верит.

— Даже сын отцу?

— Ни сын отцу, ни страна стране, ни народ народу... В мире слишком много дерьма. А вера такая птица — она в дерьме не гнездится... Ты что — слепой? Не видишь, что вокруг происходит?

— Вижу... вижу... Не зря же я связался с Глезером. Он клянется, что латышские рыбаки за три тысячи американских долларов переправляют на тот берег. За деньгами дело не станет. Я, слава Богу, вовремя догадался часть из них перевести в Стокгольм.

Признание отца не обрадовало, а покорило Амоса. Сколько у него тайн?..

— Ты словно в чем-то меня подозреваешь, — пожаловался отец. Он не рассчитывал на восторги сына, но и такого равнодушия не ожидал. Казалось, кто-кто, а Амос первым должен подхватить его идею.

— Да ни в чем я тебя не подозреваю, — сказал Амос.

Но голос его звучал неискренне, натужно. Он не мог отделаться от ощущения того, что отец всю эту Швецию затеял ради себя, решил избавиться, освободиться от них.

— Я собираюсь подъехать в Каунас, — прохрипел Амос. — Разузнать, отчислили меня из университета или оставили по ошибке?..

— Поезжай, — к его удивлению, отец не воспротивился.

— А как же мама?

— Мама пока останется в Мишкине. Я договорюсь с нашей няней Данутой.

Аарон резко повернулся и спокойно вышел со двора.

— Подумай! — по-литовски добавил Повилас Генис, погладил планшетку и кинулся вдогонку за Дудаком.

Казенная доброта бывшего портняжки, как казалось Амосу, не отдаляла, а приближала опасность. Разумнее всего уехать, исчезнуть, раствориться, пересидеть в спокойном местечке тяжкие времена, потом вернуться в Каунас. Каунас — не Мишкине, в большом городе легче уйти на время на дно.

Но отец — Барух Брухис — уверял, что у него есть план и что, если этот план удастся, все они будут спасены.

Амос не верил отцу. Никакого плана у него нет. Просто ему не хочется оставаться вдвоем с большой мамой, для которой в доме не было ничего дороже, чем эти две фотографии в застекленных рамках и зачехленное, умолкшее пианино.

— Что у тебя за план? — напрямик спросил он отца.

— Есть возможность попасть в Швецию.

— В Швецию?

— Через Ригу... Глезер поможет...

Молодой Брухис не знал никакого Глезера. Отец никогда не посвящал его в свои дела, но Амос догадывался, что у отца кроме мебельной фабрики есть еще какие-то сбережения — скорее всего не в литах и не в латах, а в долларах. Бессмысленно было его расспрашивать об этом. Время от времени Брухис-старший куда-то уезжал, оставив Меру одну. Иногда Амосу казалось, что у него где-то есть любовница — может, она и в самом деле была — и что он не вернется, но Брухис-старший через недели две-три возвращался веселый, помолодевший.

Неужели отец собирается уехать один?

Еще в детстве Амос заметил, что отношения между родителями строятся скорей на терпимости и расчете, чем на обоюдной любви. Да и откуда ей быть взяты? Невеста была старше жениха на шесть весен, и разница в возрасте, незаметная поначалу, с каждым годом проступала все больше и резче. Ицхак Лев, купец первой гильдии, выдавая свою единственную, засидевшуюся в девках дочку, не требовал от бедняцкого отрока Баруха Брухиса любви. Он требовал от зятя трудолюбия и плодородия, чтобы в доме умножались и деньги, и наследники. Доходы и жена, говаривал Ицхак Лев, должны беременеть одновременно.

Доходы в семье Брухисов и впрямь беременели, но Мера рожала только дважды, да и то с перерывом в девять лет.

Когда родился Цалик, отношения между родителями улучшились, но после того, как он утонул в коварном Немане, в доме снова повеяло холодом. В местечке предрекали развод, но, видно,

— Перестань! — прикрикнул на нее сын, но Мера не знала, куда девать себя, ненужную, неприкаянную, уменьшившуюся до размеров курицы с намокшими крыльями.

Наконец она прижала рамки к иссякшей груди, в которой — несмотря на все утраты — еще жило столько любви и печали, что ее хватало на всех, даже на Аарона Дудака, заместителя мишкинского отдела НКВД, и его спутника — угрюмого литовца с планшеткой на тощем боку, и тихо, ступая как бы по разбитому стеклу, поплелась со двора.

— Чем дурака валять, лучше бы какой-нибудь работой занялись, — сказал Аарон, когда Мера удалилась. — Нам нужны грамотные ребята.

— Для чего? — поинтересовался Ихнил.

Амос сурово глянул на изменника.

— Списки составлять. Скоро выборы, — подхватил нить разговора Аарон.

Он чувствовал себя виноватым в бездомности Брухисов, в их насильственном разорении, в котором сам принимал участие, но утешал себя тем, что все это сделано не ради личной корысти, а ради блага большинства. Бсльшинства! Наверно, поэтому ему хотелось как-то облегчить положение Брухисов — хотя бы временно, хотя бы отчасти. Аарон никак не мог согласиться со своим учителем — Мейлахом Блохом, громогласно утверждавшим, что у новой власти с каждым днем все больше врагов — скрытых и явных. Чего, рассуждал Аарон, стоит власть, у которой ежедневно прибавляются враги? Истинная власть должна даже из недругов делать друзей. Разве из Амоса нельзя сделать друга?

Что с того, что он — отпрыск фабриканта и внук купца первой гильдии? А Маркс? А Энгельс? Их отцы тоже не ходили по миру. Происхождение не помешало им стать путеводителями мирового пролетариата. Амос, конечно, путеводителем не станет — кишка тонка! — но кое-какую пользу может принести. Нужно поступать по справедливости. На кой ляд, к примеру, советской власти пинг-понговые ракетки и мячики? Или фотографии старцев? Советская власть что — будет пялиться на двух допотопных евреев?

— Ну как тебе мое предложение? — спросил Аарон у Амоса.

— Какое предложение?

— Списки составлять.

— А может, нам сразу в дворники, — огрызнулся молодой Брухис. — Флаги красные вывешивать.

— Хи-хи, — прыснул Ихнил.

— Мое дело — предложить, — разочарованно протянул заместитель начальника мишкинского отдела НКВД. — Подумай!

— Она хочет, — объяснил Амос, — чтобы вы вернули ей фотографии. Понимаешь — фотографии... Каждый приличный человек имеет фотографии своих родителей.

— Святая правда, — прервал на минуту свою жвачку Ихиил Друкман.

Аарон Дудак смешался. Его впалые, обросшие черной щетиной щеки порозовели, словно на них плеснули помидорным соком. «Каждый приличный человек имеет фотографии своих родителей». Значит, он, Аарон, неприличный человек. У него нет ни одного снимка ни Шахны (Шахны уже и не будет!), ни Дануты. Пока не поздно, надо привезти на кладбище фотографа. Пусть шелкнет мать!.. Он, Аарон Дудак, желает быть приличным человеком.

— Хорошо, хорошо, — затараторил Аарон. — Я поговорю с кем надо... честное слово.

Назавтра Аарон Дудак и впрямь явился во двор Брухисов в сопровождении Повиласа Гениса, брата того, кто стал директором мебельной фабрики.

Они открыли опечатанную дверь Брухисов и вскоре вынесли оттуда две фотографии в застекленных рамках из мореного дуба.

— Спасибо, спасибо, — сдавленным голосом сказала Мера. — Теперь можно и умереть.

— За что ты их благодаришь? За что? — не выдержал Амос.

Но Мера его не слушала. Она вытерла рукавом сперва застекленную мать, потом застекленного отца и вперилась в них испуганно-счастливым взглядом. Ицхак Лев был в бархатном сюртуке, в бархатной ермолке, окладистая борода спадала на широкую купеческую грудь, и каждый волос, каждая сединка на курчавых пейзажах свидетельствовали не только о его святости, но и о тяжелых трудах, коим при жизни не было конца. Кейлу Лев безвестный фотограф запечатлел в длинном черном платье, напоминавшем грозное облако, в высокоом строгом парике, на запястьях у нее теплым домашним пирожным пузырились белые манжеты.

— Теперь можно и умереть, теперь можно и умереть, — как в беспамятстве повторяла Мера.

Амосу была неприятна эта унижительная радость матери. Он не спускал глаз с самодовольного Повиласа Гениса, с его загадочной планшетки, в которой, казалось, стопкой сложены приговоры и Брухисам, и Друкманам, и Тарайлам.

Мера продолжала безостановочно вытирать рукавом стекла, пытаясь отогреть незабвенные лица родителей, вернуть им прежние краски и очертания — прежний блеск глаз, прежнюю розовость щек и прежнее, почти библейское, спокойствие.

отдавала ему сыновьи обноски, то ли оттого, что Амос — не заупрямься Элишева, дочь Банквечера — мог стать его родственником, а может, оттого, что для него, Аарона, ничего не значило через десять-пятнадцать минут нашлепать на дверь новую сургучную печать.

Он искушал Амоса своей добротой, и на какой-то короткий и стыдный миг решимость молодого Брухиса была поколеблена. Душу захлестнула волна странной, тоскливой нежности — нежности к отчому дому, к каждому уголочку и каждому предмету: молодой Брухис мысленно прикоснулся к тяжелой медной ручке дверей, к старому пианино в гостиной, к позолоченному семисвечнику на массивном буфете, и руки его словно опалили горящие свечи, от которых шел тысячелетний запах Храма, хранивший его в детстве от всяких бед и напастей.

Пока они переговаривались, во двор незаметно проскользнула Мера. Она подошла к Амосу и стала что-то шептать по-французски. Чужой язык, напевный и сладкозвучный, только подчеркнул нереальность, призрачность, непрочность того, что происходило во дворе.

Амос слушал мать, не перебивая, изредка вставляя причудливое французское слово и косясь на Дудака. Аарон понимал, что Мера говорит о нем, и потому не уходил, дожидаясь, видно, какой-нибудь просьбы. В том, что у Брухисов национализировали дом, Аарон не видел ничего предосудительного. Но запретить им — Баруху, Мере, Амосу — быть недовольными он не мог. Да он и сам был бы недоволен, случись такое с ним.

— О чем она просит? — с грубоватой откровенностью спросил Аарон у Амоса, словно Мера была глухонемая.

— Мама предлагает выкуп, — неохотно ответил молодой Брухис, желая угодить не столько Дудаку, сколько Мере.

— За ракетки?

— Нет. За родителей.

— За родителей? — переспросил Аарон и обернулся к Ихиилу, как бы ища у него поддержки.

Друкман безучастно стоял у игрального стола и что-то жевал. Он всегда в свободное время жевал, а поскольку свободного времени, если не считать игру с Амосом, у него было вдоволь, он этим коровьим жеванием занимался почти всю свою жизнь.

— За отца и мать, — с вызовом сказал Амос.

— Да, — сказал Аарон. — Но, насколько мне известно, Ицхак Лев и Кейла Лев давно умерли.

Мера вскинула голову и беззлобно, даже с благодарностью уставилась на Аарона. Господи! Он помнит ее девичью фамилию! Помнит имена ее отца и матери. Он же совсем похож на человека!

Иногда он вместе с отцом отправлялся на фабрику и диву давался, когда видел, с каким неподдельным уважением, с какой искренней почитательностью относились к нему рабочие, называвшие Брухиса-старшего, как и прежде, «хозяином». Он и был единственным и законным хозяином, а не лакировщик Кястас Генис, усевшийся в его кресло.

Брухису-старшему причиняла невыносимую боль игра Амоса в «прошлую жизнь». Барух не мог понять, зачем его сын с Ихиилом паясничает в опустевшем дворе. К чему эти звероподобные ужимки? Какой смысл в этом диком, в этом изнуряющем противоборстве, где все, как во сне — и противники, и оружие, и само время, и место действия.

Брухис-старший предлагал сыну, чтобы тот на последние деньги купил ракетки и мячики, но Амос только отмахнулся. Зачем? Настоящая ракетка и всамделишные мячики низвели бы игру до простого развлечения. В том-то и дело, что они не развлекаются. Они протестуют... сопротивляются... борются... против беззакония и насилия... если угодно, оккупации.

То, что не понимал Брухис-старший, сразу же уловил заместитель мишкинского отдела НКВД Аарон Дудак, привыкший во всем видеть не простой смысл, а классовый. Даже в том, где человек справляет большую нужду, он ухитрялся усматривать классовое начало. Как же — одни ходят в дворовый, скособочившийся сортир, а другие — в туалет, выложенный кафельными плитками. Нигде нет равенства. Нигде.

— Ты что, Амос, народ смешишь? — попытался было призвать игроков к благоразумию Аарон. — Сейчас я вам вынесу из дома мячики и ракетку. Где они у тебя спрятаны?

— Не надо, — глухо произнес Амос.

— Ракетки — не винтовки, а мячики — не пули.

— Пули, — стрезал Амос.

— Мы не звери, — сказал Аарон. — Хочешь — пошли за мной!

— Иди, — подтолкнул молчавшего Амоса его напарник Ихиил Друкман. Он знал, что власти, какой бы она ни была, нельзя перечить, особенно в тех случаях, когда она, власть, хочет сделать что-то доброе. — Иди.

— Какой счет? — рассердился Амос.

— Ноль пять... — ответил Ихиил.

— Пошли. Ну? — повторил представитель новой власти.

Ему хотелось быть великодушным то ли оттого, что у него на заднице чернела кобура с новехоньким пистолетом, то ли оттого, что он вдруг вспомнил, как Мера, мать Амоса, еще совсем недавно

Казалось, он вкладывает в удар всю свою ненависть, все свое отчаяние и презрение к Аарону Дудаку, Повиласу Генису, которые в один июньский день лишили его и дома, и сада, и этого стола с натянутой сеткой.

В отличие от Ихиила Друкмана, томившегося от приятельской затеи, молодой Брухис играл со вдохновенным остервенением, с употительной злобой, без устали что-то бормоча — не то молитву, не то ругательства, не то заклинания.

Особенно Амос входил в раж, когда во двор забредал какой-нибудь зевака — красноармеец или возвращающийся с работы мастерской.

В такие минуты он просто творил чудеса — кошкой кидался то вправо, то влево, совершал немыслимые наклоны, коршуном взвивался вверх или камнем падал вниз, пытаясь укротить и послать на поле противника летящий в пронизанном целомудренной голубиной летнем воздухе несуществующий мячик.

Молодой Брухис, как и Мера с Барухом, жаждал мести. Но месть его была не такой лобовой, как родительская. Мера мечтала поджечь дом, чтобы накопленные за долгие годы богатства — серебро, немецкий фарфор, шубы, купленные в Мемеле и Кенигсберге, позолоченные люстры и зеркала, шкафы из красного дерева, ковры и картины с сюжетами из Священного Писания («Авраам приносит в жертву сына Исаака»), висевшие на стенах, не оскверненных ни одной блошкой, ни одним клопиком, сгорели дотла, чтобы от дома осталась только куча остывшего пепла. Барух Брухис был человеком более уравновешенным, чем его жена, и потому его мечты простирались не столь далеко — он обращал свой мстительный взор на соседнюю Германию, на Берлин: «Гитлер, мол, большевикам за все воздаст!».

Амос же не уповал ни на поджог, ни на Гитлера — тоже нашли мстителя за еврейские обиды! Главное, считал он, показать голякам-грабителям, что ничего-ничегошеньки не изменилось. Они должны с Ихиилом по-прежнему играть в пинг-понг — пусть и без ракеток и мячиков. Отец должен каждый день, как он это делал в течение тридцати с лишним лет, отправляться на фабрику и отдавать распоряжения — пусть их и не выполняют. Мать поутру должна красить губы — пусть и без помады. Все должно быть так, как было.

Амос уверял родителей, что советская власть долго не продержится, но ни Барух, ни Мера не верили его обещаниям. Практичные и расчетливые, они знали: что потеряно сегодня, то потеряно навсегда.

— Если солнца долго не видно, это еще не значит, что его нет! — возражал Амос.

— Но почему? Почему? — не унимался молодой Брухис. — Это же не серебряные подставки! Не позолоченные зеркала! Не персидские ковры!

— Нельзя, — коротко, как и подобает представителю новой власти, процедил Аарон. — Сегодня ракетку тебе отдай, завтра — серебро.

Больше Амос ни о чем Аарона не просил. Упрямый и самолюбивый, он разыскал Ихиила Друкмана, такого же горемыку, как и сам, и потащил через все местечко к национализированному родительскому дому.

Ихиил не очень понимал, куда его тащат, но привык подчиняться Амосу еще с тех пор, когда родители увозили их на лето к морю, в Палангу, где они день-деньской бегали вперегонки по песчаному берегу под шум волн и под боязливые крики разморенных на солнце мам.

— Что будем делать? — без всякого интереса, как бы вовсе не требуя ответа, спросил Ихиил, косясь на огромную сургучную печать на двери.

— Играть, — спокойно ответил Амос.

— Играть?

— Ты встань по ту сторону, а я встану по эту, — приказал он своему напарнику, показывая на стол.

— Ты, что, не в своем уме?

— Разыграем подачу, — холодно произнес сын хозяина мебельной фабрики и левой рукой стукнул по воображаемому мячику. — Оп-ля!

— Ей богу, спятил! — ужаснулся Ихиил.

— Я подаю, — промолвил Амос.

— Что за игра без ракеток!.. Без мячика!..

— Давай... — как ни в чем не бывало продолжал молодой Брухис.

Глаза его сузились. На щеках распустились почки недовольства — желваки. Толстые, чувственные губы, покрытые воинственным пушком, задрожали.

— Один ноль!.. — объявил он и добавил: — Мы им всем покажем!

— Кому? — оживился Ихиил.

— Сукиным детям. Они думают — наша игра закончилась. Нет! Наша игра продолжается...

— Не могу, — взмолился Ихиил. — Хоть убей, не могу.

— Играй! Назло тем, кто все у нас отнял. Одиннадцать два, — скороговоркой выпалил Амос и снова ударил по воображаемому мячу.

борот — мебельное дело доставалось Друкманам. Поскольку силы соперников были примерно равны, игра обычно кончалась вничью либо в тот же день, либо на завтра, либо через полгода, когда Амос приезжал из Каунаса на побывку в Мишкине.

В сороковом году игра в пинг-понг для Амоса кончилась — красные национализировали не только мебельную фабрику, но и дом Брухисов и стол с натянутой сеткой в просторном дворе, где появились новые игроки: обнаженные по пояс рабочие и потные, суетливые, неуклюжие красноармейцы в тяжелых кирзовых сапогах и звездастых, сдвинутых набекрень пилотках.

Семью Брухисов временно (заместитель начальника мишкинского отдела НКВД Аарон Дудак так и сказал: «Временно») выселили из двухэтажного дома и водворили в соседнюю квартиру прачки, пахнувшую синькой и несвежим бельем. Мера Брухис наотрез отказалась туда переселяться — круглые сутки караулила свое родное гнездо и на все уговоры лечь спать коротко и грозно отвечала: «Только в могилу!.. Только в могилу!».

На Амоса Брухиса, приехавшего из столицы на летние каникулы, самое сильное впечатление произвело не столько тихое помешательство матери, ее отчаянное и бессмысленное дежурство, сколько захват игрального стола. Это подействовало на него больше, чем национализация отцовской фабрики и кирпичного дома с мезонином и яблоневым садом, спускавшимся к самому Неману. То, что за пинг-понговым столом во дворе хозяйничали чужаки, казалось ему концом света, того света, в котором каждое утро вместе с солнцем всходили свежая булочка, французское стихотворение и мамин поцелуй.

Дом был опечатан грозной сургучной печатью, похожей на сгусток запекшейся крови, и никто, кроме Аарона Дудака или его помощника — Повиласа Гениса, не имел права туда входить. Брухису-старшему разрешили взять только кое-что из мебели — не спальный гарнитур, изготовленный по чертежу из какого-то французского журнала, а пружинистую железную койку, на которой обычно спала прислуга, одеяла и подушки, а также некоторые носильные вещи, не представляющие никакой ценности для новой власти.

Однако Амоса больше всего возмутило то, что Аарон Дудак, старый его знакомый, подмастерье Гедалье Банквечера, за дочками которого они в свое время оба ударили, запретил ему взять обклеенные пупырчатой резиной ракетки и прыгучие, величиной с голубиное яйцо мячики.

— Нельзя, — строго сказал Аарон Дудак, когда Амос обратился к нему с просьбой.

торые он исправно, на протяжении десяти с лишним лет, платил большие деньги строителю-репетитору из Тильзита, вынесут сына на золотой берег где-нибудь в Америке или в Австралии, в Алжире или в Южной Африке, где Господь Бог даже простых евреев, не знающих ни одного языка, кроме родного, делает сказочными богачами. Нечего Амосу прозябать в Литве. Поучится в Каунасском университете (за учебу тоже плачены немалые деньги!) и — в путь-дорогу. В Цюрих или Париж, в Лондон или Вену. В самом деле, что дипломированному адвокату делать на родине? Однако мечтам Брухиса-отца не суждено было сбыться. В дело вмешалась жена — Мера. Никакой Женевы и никакого Парижа. Пусть Амос сидит в Каунасе — в Каунас хоть съездить можно. В Женеве и Париже столько соблазнов! Не приведи Господь, еще привезет оттуда какую-нибудь дурную болезнь или — что во сто крат хуже — чернокожую невестку. Ты что, забыл купишкского раввина Иезикиила Мигдала? Его племянник Шлеймеле — не про Амоса будет сказано! — из Парижа с негритяжкой явился.

Перспектива стать свекром негритянки и дедом негритят, печальный пример племянника купишкского раввина Иезикиила Мигдала, приходившегося им дальним родственником, подточили решительность Брухиса-старшего, и после недолгого и бесплодного сопротивления он отдал жене на растерзание Париж.

Амос Брухис в родительском доме был редким гостем — приезжал на каникулы или на праздники Песах¹ и Рош а-Шана².

Цельми днями слонялся он по местечку, лениво охотясь за местными красотками или играя со своим одногодком Ихилом Друкманом, сыном хозяина спичечной фабрики, великовозрастным бездельником, мечтавшим к великому ужасу отца не о славе фабриканта, а о лаврах игрока в пинг-понг — игру, овладевшую в те годы еврейскими умами не меньше, чем Тора. Чаще всего они играли на свежем воздухе, во дворе Брухисова дома, просторном и хорошо освещенном, где был установлен большой, покрашенный в зеленый цвет стол с натянутой сеткой и где собирались зрители — гимназисты, подмастерья, закончившие работу, высокогрудые девицы, изнывавшие от собственной спелости и громко хлопавшие в запляввшие жирком ладоши после каждого, даже неудачного удара.

Интерес к игре подогревался еще и тем, что играли Амос и Ихиил не на деньги, а на отцовское недвижимое имущество: на кону всегда была чья-нибудь фабрика, и зрители млели от восторга, когда спичечное дело Друкманов переходило к Брухисам или нао-

¹ Песах — еврейский праздник.

² Рош а-Шана — еврейский праздник (Новый год).

— Твой.

— Пусть все знают, что и мой кирпичик есть в его последнем доме... и мой комок глины, — тихо промолвил Аарон, вытер пот и вылез из ямы.

В воротах кладбища показались люди. То были местечковые старухи — вечные великодушные печальницы, которые лучше всего чувствовали себя не дома, где хлопот полон рот, а на кладбище, где есть одна забота — страдать и плакать. На кладбище горе общее, а стало быть, ничье, и плачешь тут не домашними слезами, а словно неземными.

Впереди всех шествовал Хацкель Брегман по прозвищу Еврейские Новости. Сегодня же, после похорон, все местечко узнает, кто и сколько раз падал у могилы в обморок.

Взгляд Аарона выделил и седую голову рабби Гилеля. Во всей его осанке, в твердом и нетерпеливом шаге чувствовалось что-то от древних пророков и царей.

Аарон стянул с себя пропитанную умиротворяющей, потусторонней влагой землю, выпрямился и зашагал навстречу старухам-плакальщицам, собирателю дурных вестей Хацкелю Брегману и осанистому пастырю, выпускнику венского духовного училища, испытывая какое-то удивительное, непонятное чувство, близкое к скорбному ликованию, из-за того, что Шахну придется хоронить не в одиночестве, что его предадут земле не как безумца, а как их ровню, страдальца и мученика.

Светлый ему рай!

АМОС БРУХИС

Амос Брухис, старший сын хозяина мебельной фабрики, выделялся среди всех своих сверстников. Во-первых, он совсем не был похож на еврея — светловолосый, веснушчатый, с выцветшими поросычьими бровями. Во-вторых, поражал всех своей образованностью, знал не два языка — еврейский и литовский, как большинство в местечке, а свободно говорил по-английски и по-французски.

Старший Брухис уверял, что английский и французский языки подобны большим быстроходным кораблям, для которых открыты все гавани мира, в то время как местный язык — не более чем лодка-плоскодонка, качающаяся на приколе и обросшая лишаями. Брухис-отец не сомневался в том, что корабли эти, за ко-

Увидев брата Иакова, рывшего неподалеку от дуплистого кле-
на яму, Аарон стал взбираться на пригорок, где были похоронены
дед Эфраим и бабка Лея.

— Дай я немного покопаю, — попросил он у Иакова.

— Здравствуйте, — сказала Рейзл, уверенная, что Иаков сво-
его занятия не бросит.

— Дай лопату, дай, — пытался улестить брата Аарон, — и вы-
лезай из ямы.

— Лучше ступай в избу. Там саван ждут, — пробормотал
Иаков.

Аарон сунул Рейзл сверток — последнюю одежду Шахны,
спрыгнул в яму и с отчаянной размашистостью, вытолкнув брата,
принялся дорывать могилу.

Иаков стоял на краю ямы, переминаясь с ноги на ногу, молча
наблюдая за работой брата.

— Ты бы хоть Рейзл об Элишеве спросил, — пристыдил его
Аарон.

Молчание Иакова раздражало его. Откуда он такой взялся в
их роду — вроде бы и мать говорлива, и Эзра, по слухам, молчаль-
ником не был, ремесло скомороха обязывало: хочешь заработать —
мели языком. С таким молчальником ни одна девка в постель не
лжет.

Попытки разговорить брата были тщетны. Иакову ни о чем не
хотелось говорить. Особенно про сестру Рейзл — Элишеву. Пока
реб Гедалье Банквечер жив — пусть здоровствует он до ста двадца-
ти лет! — он никогда не отдаст свою младшенькую за могильщика.
На семью Банквечеров одного Дудака хватит — этого
перелицовщика мира, этого латальщика нравов, пытающегося за-
латать вражду братством, неравенство — справедливостью, этого
пустомелю-мечтателя, полагающего, что власть можно сменить,
как брюки — не по душе в клетку, то есть с тюремными
решетками, сшил в полоску, то есть с дорогами в светлое завтра.

Еврею светлого завтра не надо. Еврею нужно просто завтра,
чтобы он мог поутру спокойно встать, без опаски взяться за работу
и чтобы никто ему не выкручивал руки, не хватал за бороду и об-
зывал пархатым жидом, не громил его лавку и не насиловал его
дочерей.

— Вылезай из ямы!.. Так ты до вечера не справишься! —
выкрикнул на щуплого Аарона Иаков.

Аарон не повиновался.

— Вылезай!

— Сейчас, сейчас... Мой же отец, а не твой, — буркнул
портняжка.

У Хацкеля Брегмана нельзя было узнать ни одной доброй новости; он весь состоял либо из дурных, либо из очень дурных новостей.

Хацкель Брегман сам придет на кладбище и с собой десять богомольцев приведет. Похороны — печальное событие, но событие. Евреев, считал Хацкель Брегман, надо каждый день приводить на кладбище, чтобы Бога не гневали, не сетовали на свою судьбу, помнили, что на свете есть место, где богатый получает ровно столько, сколько бедный, а умный столько же, сколько дурак — так стоит ли кичиться своим умом и богатством? Все суета сует и всяческая суета, ибо и погребающий будет погребен, и над плачущим — придет день — заплачут.

Кладбищенские львы приблизились настолько, что теперь уже можно было разглядеть не только их гривы, но и лапы, в которых они торжественно держали роги, наполненные то ли божьей благодатью, то ли горьким зельем, предназначенным для вероотступников и грешников.

— Ты в избу не заходи, — сказал Аарон Рейзл.

Кроме покойной матери, она не видела ни одного мертвого. Это не то, что он. Бывало, за год умирало по десять-двадцать человек, и каждого обмой, обряди.

Аарон никогда не забудет того мальчонку, который отравился грибами. Звали его, кажется, Овадий. Он лежал на столе голый, длиннорукий, пышноволосый, на ногах у него чернели цыпки, коричневые пятки были тверды, как кора. Казалось, от него пахло грибами, теми самыми ядовитыми грибами.

Обмывала его мать — Данута, он, Аарон, только подносил воду. Господи, каким тяжелым было то ведро, словно в нем не вода плескалась, а свинец!

Данута вытерла его, достала из комода гребень, причесала, словно Овадий собирался в гости или готовится к первому своему большому празднику — бармицве.

Его родители вскрикивали от каждого прикосновения гребня к его пышным каштановым волосам.

Отец Овадия беспрестанно молился, а мать тупо приговаривала:

— Накройте его... накройте... ему холодно... холодно...

После смерти сына они прожили недолго — даже памятник ему не успели поставить. Спасибо Иакову: притащил с поля камень, высек имя мальчика, поставил на могилу.

Когда Аарон проходил мимо надгробия, ему всегда хотелось укутать памятник Овадию во что-то теплое и разморозить мальчугана от смерти.

Рейзл изредка останавливалась, срывала колоски и совала их в чувственный рот. Аарон смотрел на нее с гордостью и восхищением — он почему-то был уверен, что Рейзл когда-нибудь родит ему близнецов, мальчика и девочку, и даже заранее, тайком от жены, нарек их именами прадеда и прабабки — Эфраим и Лея. Старший подмастерье Юозас, желая подразнить Аарона, грубовато бросил:

— У евреев близнецов не бывает.

— Почему? — разгневался Аарон.

— Кисточка у них покороче. За раз могут только одного нама-
левать.

— А тебе откуда известно: короче или не короче?

— У вас же ее еще в детстве обрезают, — хохотнул старший подмастерье Юозас, довольный своей шуткой.

Будут близнецы, будут. И обязательно Эфраим и Лея, уговари-
вал себя, бредя по ржаному полю, Аарон. Назло Юозасу, на-
перекор судьбе, в отместку тестю реб Гедалье Банквечеру, ко-
торому вообще не хотелось иметь от голодранца внуков.

Издали показалась каменная ограда еврейского кладбища. Спигород, всплыло в уме.

Высокие мохнатые сосны шумели над надгробиями, образуя огромный шатер или, как говаривал в минуты просветления Шах-
на, скинию¹ Завета.

У самого кладбища, близ ворот, над которыми протягивали друг другу лапы гривастые, высеченные дедом Эфраимом львы, Аарон спохватился, что не уведомил о кончине Шахны рабби Гил-
лея, хотя лавочник Хацкель Брегман по прозвищу Еврейские
Новости, наверно, уже оповестил об этом все местечко. Хацкель
Брегман — ходячая газета, которую не надо выписывать и за ко-
торую не надо платить ни цента. Войдешь в лавку, встретишь на
улице, и первое, что услышишь, это — «Вы знаете?»

От Хацкеля-Еврейские Новости узнаешь, о чем нигде на свете
не пишут. Например, о том, что хозяин мебельной фабрики
Брухис проигрывает ежегодно во Франции в рулетку тысячу ли-
тов, о том, что по дороге в Палестину в Средиземном море затонул
пароход с эмигрантами (Хацкель Брегман был против эмиграции;
эмигрируют ведь не просто евреи, а покупатели). Или о том, чего
еще не случилось, но, к сожалению, случится: сойдет поезд с
рельсов, сгорит лесопилка Ландмана, обанкротится домовладелец
Капер, провалится на следующих выборах бургомистр господин
Тарайла.

¹ Скиния — вместилище для хранения скрижалей Завета.

не дожидаясь ее крапивных слов, тут же стянул с себя саван, свернул его, воткнул в лацкан пиджака иголку, сунул в карман моток ниток и, прежде чем выйти, обратился к тестю, все еще колдовавшему над брюками господина Тарайлы:

— А вы... вы реб Гедалье, на похороны не пойдете?

Банквечер оторвался от шитья, глянул близорукими глазами на зятя, вздохнул (он всегда вздыхал, когда его о чем-нибудь просили) и коротко, с умеренным сожалением процедил:

— А как же господин бургомистр?

Опять господин бургомистр, обиделся Аарон. Впрочем, не будь господина Тарайлы, реб Гедалье все равно не пошел бы на кладбище.

Он избегал общаться со своими кладбищенскими родственниками и даже для мертвых не делал исключения. Банквечер настаивал, чтобы их и на свадьбе не было. Раз уж самую свадьбу отменить нельзя (реб Гедалье был бы просто счастлив, если бы этот шидех — этот брак разладился), то пусть хоть на ней не будет сумасшедшего. Но тут свое слово сказала Рейзл. Мол, выбирай: либо мы отпразднуем свадьбу здесь, на Рыбацкой, либо у Аарона на кладбище. Реб Гедалье испугался и уступил.

Аарон вдруг вспомнил, как Шахна тихо и печально сидел на свадьбе, как в его высохшей жилистой руке сверкала серебряная рюмка с медовым напитком, как он нюхал ароматную жидкость и улыбался, а потом, к удивлению всех гостей, так же тихо и печально заплакал, и плач этот приглушенный, похожий скорее на изнурительную икоту, не прекращался до тех пор, пока Данута-Гадасса не встала из-за стола и, взяв мужа за локоть, не вывела во двор. Но и во дворе Шахна продолжал по-щенячьи скулить. Никто не понимал, почему он плачет. Рабби Гилель, который благословил молодую пару, сказал, желая, видно, успокоить недовольного, надутого Банквечера:

— Безумие прозорливей ума. Может, бедняга постиг то, что нам постичь не дано.

— А что он может постичь? Что? — напустился на пастыря реб Гедалье.

— Это тайна, — спокойно ответил рабби Гилель. — Но если кто-то на земле плачет, то его слезы грешно выталкивать за дверь.

До кладбища от Рыбацкой было версты полторы, а может, и того меньше.

Аарон и Рейзл минули залитое солнцем местечко, потом свернули на серый, посланный, как крестьянская сермяга, проселок, потом, чтобы сократить дорогу, двинулись по ржаному полю, пугая притаившихся среди тучных колосьев перепелов, взмывавших со свистом в безоблачное небо.

Легко сказать — читай.

До женитьбы Аарон мог делать, что ему заблагорассудится. Особенно в свободное время. Он уходил в березовую рощу или в ельник, доставал из-за пазухи книгу, раскрывал на первой попавшейся странице и, страдая от скуки, читал свои подметные книжки. Но когда женился, Рейзл стала следить за каждым его шагом. Она крала у мужа Маркса и Ленина, сдирала переплет, вырывала страницы и, к ужасу и возмущению Аарона, вешала на гвоздь в нужнике. Бедный сторонник Мейлаха Блоха не знал, что делать — то ли нужник снести, то ли с женой развестись.

Отучила его Рейзл и от чтения по ночам. И тут она оказывалась сильнее Маркса и Ленина. Запускала свои белые мягкие руки в его волосы и начала их ерошить, словно пыталась найти там стежку к его потайным мыслям и желаниям, потом в белую, мягкую неволю попадали его шея, плечи, грудь, и Господь Бог, сотворивший Адама и Еву, как бы погружал его усталое тело в хрупкую и трепетную амфору, наполненную медом. Все было до рассвета в меду: и мрак, и стены, и перина, набитая легким гусиным пухом, и переплетенные руки, и ненасытные уста.

Аарон по-прежнему стоял у стола в саване, подавленно-равнодушный к тому, что случилось на кладбище, не в силах постичь, является ли смерть Шахны карой или наградой — скорее всего безотрадным избавлением для матери, столько потерпевшейся с беднягой. Для них же — для Аарона и Иакова, Шахна давно вроде бы умер, ибо страну, в которую еще в молодости переселился отец, населяли не живые люди, а те, кого смерть не забирала, а отпускала до поры до времени за пределы жизни. И вот он, вольноотпущенник, возвращен костлявой оттуда обратно на ломкий миг — похороны всегда длятся только миг, — чтобы закончить свой земной путь точно так же, как он его начинал в день своего рождения — не безумцем, не грешником, а невинным и равным со всеми.

Теперь в местечке, думал Аарон, совсем забыв, что стоит у стола в саване, остался только один человек, у которого Господь отнял разум — сын корчмаря Ешуа Манделя прыщавый Семен (костельный дурачок Станисловюкас не в счет). Семен и в свои семьдесят лет не покинул развилку — до сих пор ждет на ней прихода Мессии, чтобы другие не перехватили. Может, потому посланник Бога и не приходит, что всем нужен. Тот, кто нужен всем, на поверку не нужен никому.

Захваченный невеселыми мыслями о развилке, Аарон и не заметил, как вошла Рейзл. Она укоризненно посмотрела на его наряд, скривила в усмешке большой, чувственный рот, и Аарон,

воюет с толстосумами и кровососами за справедливость и приличное жалованье

Приличное жалованье для него, пожалуй, даже выше справедливости. Хацкелю Брегману, лавочнику, по прозвищу Еврейские Новости подавай литы, справедливость в его глазах не монета, он тебе за нее ничего не даст.

Конечно, хорошо бы, если бы в Мишкине — кроме Кудиркос и Басанавичюса — была бы еще и улица имени Аарона Дудака. Очень даже хорошо. Идешь с Рейзл под руку, и на каждом шагу по-литовски и по-еврейски со стен тебя собственное имя окликает: Аарон Дудак, десять... Аарон Дудак, четырнадцать... Аарон Дудак, двадцать шесть — от каланчи до самого Немана. Над лавками, над парикмахерскими, над шерсточесальней: Дудак! Всюду — Дудак!

Да, много было бы радости, но за красивые глаза улицу не переименуют. Маляры за ладно сшитую одежду не станут перемалевывать Басанавичюса и Кудиркос на Дудака. Ясное дело — не станут.

Надо, чтобы, как у дяди Гирша, был генерал-губернатор, чтобы он провинился перед трудящимися — издал какой-нибудь поганный указ или велел жандармам выпороть портных при всем честном народе только за то, что они требуют надбавки к жалованью.

Бургомистр Тарайла — тихий человек. В него не за что стрелять.

А потом для того, чтобы стрелять, нужен пистолет.

Скажем, пистолет Аарон добудет. У него товарищ — Лейзер Глезер, столяр-краснодеревщик, в Расейняй служит, в шестом пехотном полку. Может одолжить...

Но, Господи, стоит ли вообще стрелять в человека, чтобы твоим именем улицу называли? Пусть хоть сто лет носит старое — Кудиркос или Басанавичюса. Они-то, кажется, чужой крови не проливали.

— Революции без крови не бывают, — внушал ему Мейлах Блох.

В таком случае к черту революции! К черту!.. Пролитая кровь — всегда несправедливость.

— Разве нельзя прожить всю жизнь мирно... с иголкой в руке? — допытывался Аарон у переплетчика.

— Можно. Но только рабскую.

— По мне лучше рабская, чем кровавая, — кипятился молодой портняжка.

— Маркса читай! Ленина! — ополчался на него многоопытный Мейлах Блох.

— Коба, Коба, Коба, — почтительно повторял он, словно заклинание.

Мейлах Блох не сводил воспаленных глаз с трубки, с проворного пальца Аарона, скользившего по высокородным буквам, и радовался тому, что тот не просто дымит, а как бы выполняет некое загадочное действие, обряд, проходит исполненное высоким смыслом посвящение в наследники, в продолжатели их со Сталиным молодости, их жертвенного служения народу, их неустанной борьбы во имя светлого завтра.

— Послушай, — вдруг обратился к Аарону Мейлах Блох, — ты и впрямь Дудак?

— Дудак, — удивился Аарон. — А что?

— Известно ли тебе, что в Советском Союзе есть улица имени Гирша Дудака?

— Неужели? — Аарон был сражен наповал.

— То ли в Минске, то ли в Бобруйске, то ли в самой Москве.

— Имени Гирша Дудака? Так это же мой дядя! — воскликнул изумленный портняжка. — Он до революции в генерал-губернатора стрелял. Мама рассказывала. Неужели целая улица?

Мейлах Блох рассеял все его сомнения: есть улица, есть, может, даже целый город. Ну не город — городок, такой как Мишкине, в Белоруссии или на Украине...

— Представляешь себе, приезжаешь в город своего имени. А? Все бросаются к тебе с расспросами — брат ли ты, сват ли ты того самого Гирша... Каждый норовит тебе руку пожать. Ах, если бы на свете существовал город Блох! Я бы туда завтра же пешком отправился. Но, увы, есть Нью-Йорк, есть Берлин, есть Вена, есть Каунас, а города Блоха нет. Да это и неудивительно. Что я, Мейлах Блох, сделал для мировой революции, для человечества? Ровным счетом ничего. Город надо заработать. Вашингтон!.. Ленинград!.. Свердловск!.. Сталинград!.. Веллингтон!.. — переплетчик отдышался и продолжал: — Второй город Дудаком вряд ли назовут, но если ты продолжишь жизнь так же славно, как твой дядя, то вполне может статься, что твою фамилию присвоят какой-нибудь площади или скверу.

Аарон не возражал, хотя, по правде говоря, предпочел бы не площадь, а что-нибудь поскромнее. Смешно, когда рыночную площадь называют твоим именем. Но главная загвоздка не в месте. А в том, что новое название дают чаще всего не при жизни, а после смерти. Кому охота в двадцать четыре умирать?

Жить, как жил дядя Гирш, думал Аарон, не очень трудно. Дядя тачал сапоги, Аарон шьет лапсердаки и сермяги — разница невелика. Дядя Гирш боролся с угнетателями, и он, его племянник,

— Боевому, боевому, — согласился Мейлах Блох. — А Коба — партийная кличка. У нас у всех были клички. Меня, например, звали Седой.

Мейлах Блох-Седой смочил слюной губы и добавил, что когда-нибудь (в случае победы мировой революции) он, может (если, конечно, раньше не протянет ноги), посетит Москву, встретится с дарителем, и Коба, растрогавшись, обнимет его, расцелует и собственной рукой вырежет стершиеся две цифры... А там можно и спокойно умереть.

Аарон не мог постичь, как это из-за двух цифр можно умереть? Что и говорить — подарок человека, о котором сегодня говорит мир, это великая честь. Но из-за этого умирать?! Если М.Б. так уж дороги эти две цифры, он может их и сам вырезать или попросить у гравера. Да ему их Иаков бесплатно выцарапает — он не такие надписи на надгробьях выводит.

— Если не доживу до этого счастливого дня, то прошу тебя... выполни мою просьбу, — взмолился Мейлах Блох.

— Я выполню все наши просьбы... только живите на здоровье.

— Я прошу тебя об одной милости... только об одной: сдай эту трубку куда следует.

— А куда следует?

— В музей. Пусть все знают, каким другом был для простых людей Сталин.

— Ладно, — утешал его Аарон. — Я сдам ее, не беспокойтесь. Через доктора Фишмана... Или через кого-нибудь другого... Только дайте мне разок затянуться!

Собиравшийся умереть Мейлах Блох не мог отказать своему единомышленнику.

Аарон раскрошил несколько папирос «Арома», набил трубку, зажег и сделал первую историческую затяжку.

Вскоре тесную каморку Мейлаха Блоха затянуло белесой, пахнувшей Сибирью тучкой.

— Ну как? — завистливо осведомился переплетчик, глядя, как тучка взмывает к некрашеному, закопченному потолку.

Аарон одобрительно кивнул. Он курил трубку с каким-то благоговейным наслаждением, словно выпускал из нее не дым, а белые нити, связывавшие его с самыми дальними далями, с Туруханским краем, с Москвой, с Кремлем, со всеми портными земного шара, которые, как и он, Аарон, гнут спину на английских, китайских, немецких банквечеров. Ему хотелось, чтобы в трубке никогда не кончился табак. Закусив мундштук, Аарон пальцем трогал старую надпись, и его воображение укрупняло каждую букву, особенно слово «Коба».

выплавки стали, летчиков, совершивших неслыханный перелет через Ледовитый океан в Америку, засучивших рукава ткачих в белоснежных косынках. Аарон пристально вглядывался в эту колоду, стараясь обнаружить такой снимок, где был бы запечатлен хотя бы один еврей сапожник или портной.

— Есть и портные, — успокаивал его всезнающий Мейлах Блох. — Есть и евреи. Но это особые евреи.

— Особые?

— Счастливые. Потому и особые.

Мейлах Блох переключал рычаг, и они снова оказывались в той, каторжной, завьюженной России, в Туруханском крае, в ссылке, где товарищ Сталин — тогда еще не вождь трудящихся всего мира, а простой узник, подарил ему, Мейлаху, вырезанную из пихты трубку с бесценной дарственной надписью: «Дорогому другу М.Б. от Кобы».

Саму трубку Аарон никогда в глаза не видел. Мейлах Блох никому ее не показывал. Казалось, такой трубки вообще нет, переплетчик придумал ее, чтобы набить себе цену.

— Как же он вам, некурящему, ее подарил? — отваживался усомниться в правдивости его слов Аарон.

— Это я теперь не курю. А тогда занимал в партии второе место. Среди курильщиков, конечно.

— А первое кто занимал?

— Коба, — без запинки отвечал Мейлах Блох.

Аарону не было никакого дела до того, кто первенствовал среди большевиков по курению. Сам он курить не собирался — у реб Гедадье Банквечера не покуришь! Главное, что занимало портняжку, была пихтовая трубка с загадочной надписью «М.Б.» Мало ли на свете таких «М.Б.». Только в Мишкине трое — Мотл Биргер, Мейер Берштанский, брат парикмахера Берштанского, умершего по дороге в Сибирь, и Мейше Баренбойм.

Пусть Мейлах покажет трубку — тогда Аарон во все поверит: и в то, что Блох был вторым курильщиком в партии, и в то, что полжизни провел в тюрьмах и ссылках, и в то, что призрак бродит по Европе, и в то, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей.

Желая еще больше приблизить Аарона к себе, Мейлах Блох однажды достал из комода, оставшегося от прежнего хозяина, завернутую в носовой платок трубку и протянул своему последователю.

«Боевому другу М.Б. От Кобы. 19..» — было выцарапано на мундштуке.

— Не дорогому, а боевому, — поймал на лжи учителя бдительный Аарон.

Пытался Аарон и Рейзл подбить, чтобы к Мейлаху Блоху в кружок ходила. И так ее уговаривал, и эдак — все выгоды и преимущества объяснял. От Мейлаха, мол, такое узнаешь, чего никогда в жизни не знала. Но Рейзл возьми да отрубил: «А я и не хочу знать того, чего никогда в жизни не знала!»

Аарон смешался, путанно и долго стал распространяться об угнетателях и угнетенных, о светлом будущем всех народов, о призраке, который бродит по Европе, о недалеком и счастливом времени, когда кухаркины дети будут править государством.

— И тут, в Литве?

— И тут, и всюду, — бойко отрапортовал Аарон.

— Выходит, президент будет щи варить, а кухарки издавать указы. Не дай Бог дожить до такого дня!

Мейлах Блох нахваливал Аарона за его стремление привлечь в ряды борцов за дело пролетариата свежие силы, но насчет женского пола придерживался ясного и жесткого мнения. Жену, говорил переплетчик, надо выбирать не для постели, а для будущих битв за освобождение человечества, и только когда пролетарии всего земного шара одержат победу, каждый из них сможет взять себе подружку для других нужд.

В щепетильном женском вопросе Аарон и Мейлах Блох решительно расходились во взглядах. Портняжка горячо уверял, что постель для будущих битв за освобождение человечества отнюдь не помеха, а его учитель — наоборот, что постель еще больше закабалает угнетенных.

Особенно любил Аарон слушать про Россию, про ту, что была, и ту, что есть. От рассказов Мейлаха Блоха захватывало дыхание: младший подмастерье Банквечера как бы останавливал время, сдвигал пространства — увязая по пояс в сугробах, он бродил по бесконечным сибирским снегам, катил в собачьей упряжке по тундре, ел сырую рыбу, отпугивал голодных медведей, подходивших в ярангам, ходил с ненцами на охоту, пас круторогих оленей, совершал побеги, прятался в старообрядческих церквях от жандармов.

Из далекого прошлого, из Туруханского края, с реки Енисей Мейлах Блох легко переносил Аарона в сегодняшний день, в белокаменную Москву, в Кремль, где жил и работал самый мудрый человек на свете Иосиф Сталин — товарищ Коба.

Аарон подсаживался к столу в кремлевском кабинете и, не сводя с друга Мейлаха Блоха глаз, следил за тем, как Сталин набивает свою трубку.

Иногда Мейлах Блох вытаскивал откуда-то пачку выцветших фотографий, изображавших бескрайние поля, огромные печи для

почитай, — и подсовывал Аарону книжонку, обернутую для конспирации в селедочную бумагу.

От Маркса пахло селедкой, и всякий раз, когда Аарон принимался листать книжку, у него разыгрывался дьявольский аппетит.

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма!»

Жуя намазанный маслом ломоть хлеба, Аарон старался вникнуть в смысл мудреных марксовых слов, воочию представить себе этот призрак, но как ни тшился, неизменно лицезрел Мейлаха Блоха. В белой одежде, в деревянных, как у пастухов-литовцев, башмаках-клумпес бродил бывший царский ссыльный по окрестным лугам и поймам, по этой самой Европе, и стук его самодельных башмаков отдавался в ночной тишине, как колокольный звон.

Беседы с Мейлахом Блохом были для Аарона своеобразной наградой за долгие рабочие дни, за монотонность работы. Многое из того, что с таким юношеским пылом объяснял переплетчик, было молодому портняжке непонятно, но Аарон слушал его с нескрываемым, почти молитвенным восторгом. Испытывая неловкость за свое невежество, он старался отсутствие знаний возместить безоглядной преданностью и вниманием.

В тесной каморке Мейлаха Блоха, почти лишенной мебели и скорей похожей на тюремную одиночку, чем на жилье (это сходство подчеркивали и железная, с соломенным матрасом койка, и крохотное, забранное в решетку оконце, выходившее в глухой и затхлый двор винно-водочной лавки), Аарон находил убежище от повседневной скуки, от лавочной суеты, превращавшей местечко в сплошной несмолкающий базар, от суровых кладбищенских будней. Пока он не женился на Рейзл, кладбище было не только его домом, но и образом жизни. Воистину горе тому, у кого кладбище — колыбель!

Слушая громовые речи Мейлаха Блоха, глядя в его яростные, увеличивавшиеся от пафоса глаза, вмещавшие и заснеженные сибирские просторы, и среднерусские равнины (он когда-то сидел во Владимирской тюрьме), и роскошные улицы Берлина, где он до прихода Гитлера к власти работал в тайной типографии, выпускавшей подпольные газеты для Литвы, Аарон чувствовал себя почти свободным. Он никому не принадлежал, ни перед кем не отчитывался, ни от кого (разве что от Ленина и Сталина) не зависел. Его свобода была сопряжена с немалыми лишениями, но вот Мейлаха Блоха они вовсе не страшили. Что недоение, что неуют по сравнению с этим ощущением вольности, с этим причастием к тайнам, которые уже сами по себе наполняют неведомым смыслом жизнь?

В ту далекую пятницу (во всяком случае с нее Аарон ведет свой стаж революционера и борца) он и примкнул к кружку бунтовщиков и подрывателей устоев, коим руководил бывший царский ссыльный Мейлах Блох, пробавлявшийся переплетом старых и редких книг. Мейлах Блох якобы состоял в дружбе с самим Владимиром Лениным, вождем мирового пролетариата, и даже вместе отбывал ссылку в Туруханском крае с его верным соратником Иосифом Сталиным, к счастью всех трудящихся, находящимся в полном здравии и в ясном уме.

Мейхал Блох, с которым случайно свел знакомство Аарон, был старше его почти на сорок лет. Он отличался невероятной худобой, зимой и летом носил латаную-перелатаную толстовку, ходил в русских сапогах с высокими голенищами, все заработанные деньги тратил на книги и на помощь беднякам и сиротам, свободно говорил по-русски и по-немецки (немецкий он выучил не в Берлине, а в далеком Туруханском крае), не ел мяса, жил бобылем, без жены и детей. Жена и дети, уверял Мейлах Блох, обуза для настоящего революционера. Жена настоящего революционера — борьба за свободу, а дети — освобожденные от гнета и оков труженики.

Аарон особенно ценил удивительное свойство Мейлаха Блоха быстро и страстно обличать хозяев, или, как он их называл, капиталистов.

Гедалье Банквечер, говорил переплетчик, это мировой капитал, сосущий кровь трудящихся и отказывающийся платить Аарону жалованье, сам же Аарон — наемный труд. Между наемным трудом и капиталом идет война не на жизнь, а на смерть, но придет время (в России оно уже настало!), и пролетариат, раскалив утюг классовой борьбы, так отгладит землю, что на ней ни одного Банквечера не останется.

Аарон не во всем соглашался с неистовым Мейлахом. Реб Гедалье пусть останется. Во-первых, он его тесть. Во-вторых, мастер, каких свет не видывал. В-третьих... Зачем, собственно, в-третьих, если есть во-первых и во-вторых?

Мейлах Блох гневно обрушивался на Аарона за его мягкотелость, называл социал-соглашателем, оппортунистом, втолковывал ему, что пролетариат должен учиться не ремеслу, а, как указывал Ленин, управлению государством. На что Аарон своему учителю отвечал, что лично он не собирается править государством, найдутся, мол, охотники и без него, но переплетчик упорно продолжал ссылаться на своих знакомых — Ленина и Сталина.

— У тебя типично мелкобуржуазное сознание, — печалился Мейлах Блох. — Сразу видно — Маркса ни строчки не читал. На,

Аарон слушал рассеянно. От поучений реб Гедалье-Герца клонило ко сну. Хорошо еще, Рейзл крутилась в мастерской. Гость переводил взгляд на ее толстые черные косы, которые как бы состызались за ее спиной.

Если реб Гедалье Банквечер возьмет его в ученики, думал Аарон, и в самом деле положит ему двадцать литов в месяц, то он купит не один велосипед, а два — для себя и для Рейзл, и в один прекрасный день они выедут за околицу и больше никогда не вернуться ни к шитью, ни к рутью, ни к утюгу, который, не дай Бог, перекалить. Должен же быть на свете такой уголок, где никто не спрашивает, кто ты, и где можно смело перекалить любовью сердце.

— Что ж, — подытожил реб Гедалье, — видно, тебе и впрямь суждено стать мужским портным. У меня только одно условие: когда я умру или когда Пнина преставится, пусть твой братец сошьет нам приличную могилу.

— Сошьет, — поклялся Аарон. — Можете быть спокойны.

Как и было заведено в мастерской на Рыбацкой улице, младший подмастерье Аарон Дудак начал с нагрева утюга.

Утюг был старый, тяжелый, из какого-то уральского чугуна. Реб Гедалье уверял, что купил его в двадцатом году у одного офицера, бежавшего из России в Литву. Может, так оно и было, но Аарона, как, впрочем, и старшего подмастерья Юозаса, грызли сомнения: зачем офицеру понадобилось таскать за собой на чужбину не винтовку, не саблю, не снесь, а увесистый, покрытый лишаями ржавчины утюг?

Первую неделю Аарон трудился с завидным рвением — ни на миг не отходил от утюга, то и дело поднимал чугунную крышку, стараясь по накалу определить, надо ли добавить углей или нет; изредка, когда требовалось его остудить, поливал их из оловянной кружки водой, которая шипела по-кошачьи; поплевывал на гладкий, отполированный низ чугунного челнока и, услышав голос реб Гедалье или старшего подмастерья Юозаса, мчался к заваленному лоскутами материи столу.

Реб Гедалье Банквечер не мог нарадоваться на своего смышленного и расторопного ученика. Надо же — вырос на кладбище, среди ворон и мертвых, а такая сметка, такая сообразительность.

Все шло как по маслу, пока не наступил конец недели.

Узнав в пятницу, что обещанные пять литов он получит только тогда, когда из кочегара перейдет в следующий разряд — в брючники, Аарон рассвирепел. В тот день ему впервые захотелось причинить боль чужому человеку.

мебельной фабрики Брухиса Цалику. Еврей на велосипеде, считал Аарон, счастливый еврей, и тайно мечтал о том времени, когда все евреи Мишкине, да что там Мишкине — всей Литвы — сядут на велосипеды и поедут кто куда: кто на работу, кто в Расейняй, и даже в Эрец Исраэль — Землю Обетованную, о которой ему столько рассказывал Шагна. Юному Аарону казалось, что если хорошенько раскрутить колеса, то на велосипеде можно взлететь на самую высокую гору, а с горы и на небо, и там уже не по булыжнику, не по деревянному тротуару, а по облакам к звездам...

— Согласен? — переспросил ученика реб Гедалье.

— Да, — выдохнул Аарон.

— Но знай, — остудил его пыл реб Гедалье, — портной не могильщик. Могильщику, тому что? Лучше вырыл, хуже вырыл — клиент ни слова не скажет. — Банквечер всех на свете, даже покойников, называл клиентами. — Какая клиенту гробовщика разница: сантиметром глубже яма, сантиметром мельче... Понимаешь?

— Да, — услужливо брякнул Аарон.

— А в нашем, портновском, деле сантиметр решает все. На сантиметр укоротишь — уродом клиента сделаешь. На сантиметр сузишь — красавцем! Ясно?

— Ага.

Чем больше реб Гедалье Банквечер говорил, тем несбыточней казалась его ученику мечта о велосипеде. Придется, видно, опять топтать пешком, помогать брату Иакову вгрызаться в мерзлый суглинок. А жаль.

— В отличие от могильщика портной всю жизнь должен учиться. Думаешь, продел нитку в иголку, и ты уже портной? Не-е-е-т! Настоящий портной не с иголки начинается. Если ты мне ответишь, с чего, я положу тебе еще два лита.

— С порки, — выпалил Аарон.

— Нет. Не с порки, а с утюга. Знаешь, за что нас больше всего не любят?

— Кого — портных?

— Не портных, а евреев.

— Не...

— За то, что всегда перекаливаем утюг. За то, что перекладываем в него углей, когда чужую одежду гладим. — Реб Гедалье Банквечер высокомерно плюнул на пол, как на раскаленную поверхность железного челнока. — Еще в Кенигсберге — там я начинал на Зильбербергерштрассе — мой учитель Ханс Хепке говорил: «Герц! (Он называл меня на Гедалье, а по-ихнему) Герц, говорил он, главное не перекалять утюг, когда гладишь чужую одежду... чужую судьбу, чужую страну...».

— Что ж, — буркнул реб Гедалье. — Если ты проденешь нитку в иголку раньше, чем я чихну, то ты принят. А ну-ка, Юозас, дай-ка хвастунишке все, что требуется, для проверки.

Старший подмастерье Юозас протянул Аарону длинную, извивавшуюся, как дождевой червь, нитку, маленькую, толщиной со свиной волос, иголку, а реб Гедалье полез в карман, достал оттуда бархатный кисет с табаком, двумя пальцами выгреб понюшку и поднес к мясистому носу.

— Продел! — выкрикнул Аарон.

— Апчхи! Апчхи! Апчхи! — грянуло, как на военном параде.

Старший подмастерье Юозас и домочадцы — жена Банквечера Пнина и дочери Рейзл и Элишева — застыли в изумлении: нитка развевалась в иголке торжественно, как национальный флаг в день независимости.

— Кто первый? — хитро прищурился реб Гедалье, не привыкший у себя дома проигрывать.

— Ты, — наконец промолвила жена.

Но реб Гедалье Банквечеру мало было ее поддержки. Она всегда ему поддакивала — чаще всего невпопад, и реб Гедалье злился, коря ее и требуя правды. Но жена Банквечера даже кошке правды не говорила. Скажешь, а та фыркнет!

— Он! — воскликнула Рейзл.

В отличие от матери старшая дочь любила всем перечить. От согласия в доме было зевотно-скучно, и Рейзл, желая себя хоть чем-то развлечь, всем напропалую возражала.

— А ты что скажешь? — обратился хозяин к старшему подмастерью Юозасу.

Зная нрав Банквечера, стараясь не гневить его тихую, как мышь, жену, Юозас малодушно кашлянул в кулак. Для него в мире не было ни побежденных, ни победителей. Он всех делил на тех, кто платит, и тех, кому платят.

— Одновременно, — уклонился от ответа подмастерье.

— Твоя взяла, — сказал реб Гедалье Банквечер и спрятал кисет в карман. — То ли табак отсырел, то ли ты действительно хват. Звать-то тебя как?

— Аарон.

— Ари, значит.

— Нет, Аарон.

— Пять литов в неделю. Согласен?

Шутка сказать — пять литов в неделю, двадцать литов в месяц. Да он за год накопит на велосипед!

Никому Аарон так не завидовал, как местечковым велосипедистам — воспитаннику почтмейстера Клумбиса и сыну хозяина

ником: иголка сновала в его руках с такой скоростью, что в глазах рябило. Но это умение еще не давало права на родство.

Реб Гедалье Банквечер был против брака Аарона и Рейзл.

— Ноги его в моем доме не будет, — грозился старик. — Выгону! Обоих выгону.

— Ну и выгоняй! — заупрямилась Рейзл. — Я за ним на край света...

— На край света?.. Тьфу!

— Или головой в Нема!!

Нет, уж лучше на край света — в спальню Пнины, чем на дно Немана.

Перед тем как дать свое родительское благословение, реб Гедалье Банквечер решил посоветоваться с рабби Гилелем. Рабби Гилель латает прорехи не иголкой, а мыслью. Может, он и его, Банквечера, прореху заштопает? Может, перешьет судьбу Рейзл?

— Говорите, у жениха мать не еврейка? — выслушав посетителя, спросил рабби Гилель.

— Да.

— Ну и что?

— Разве вы, рабби, женились бы не на еврейке?

— Нет, — сказал пастырь.

— Видите! — зацепился за кончик надежды, как за обрыв нитки, реб Гедалье Банквечер.

— Не женился бы вот почему, — не растерялся рабби Гилель. — Во-первых, я уже один раз женат. Во-вторых, ни одна христианка за меня не пойдет, а в-третьих, реб Гедалье, если жена — ведьма, то какая разница, какого она племени.

Реб Гедалье Банквечер был разочарован ответами пастыря. Рабби Гилелю легко шутки шутить — у него нет дочерей, а каково тому, у кого их двое? Конечно, с судьбой не поспоришь, ее за дверь не выставишь. Пришла — открывай. Не пустишь в дверь — в окно пролезет.

О, если б он двенадцать лет тому назад знал, какая угроза нависла над его, Банквечера, домом, он, может, переехал бы в другое местечко, может, отказал бы четырнадцатилетнему Аарону Дудаку, вознамерившемуся стать портным, направил бы его к другому мастеру. Но он только ему сказал:

— Мальчик! Дамскими портными становятся, а мужскими родятся. Ты уверен, что родился мужским?

— Уверен, — ответил четырнадцатилетний Аарон Дудак.

Реб Гедалье Банквечер, лучший портной во всей Жемайтии, о котором говорили, что он родился с иголкой в руке и сантиметром на шее, опешил. Самоуверенность юнца просто пришибла мастера.

бого, и тут же услышишь: рай. Только рай для богатых. А он, Аарон, ищет рая для бедных. Такой рай — Страна Советов!

При упоминании Страны Советов у Аарона перехватывало дыхание. Есть же такой счастливый край на свете! А его угораздило родиться тут, в Литве, да еще на кладбище! На кладбище рождаются только вороны и мертвые.

Нет, его дети должны родиться в Биробиджане, в Стране Советов.

Только Рейзл наотрез: мне, говорит, и тут, в Литве, хорошо, мне, говорит, никакой Страны Советов не надо и потом: что такое рай для бедных? Там, где они становятся еще беднее?

Курица! Глупая курица, думал Аарон, и мысли его перебежали с Рейзл на покойника Шахну, переходили государственную границу сперва с Латвией (Мейлах Блох уверяет: безопасней всего через Латвию!), потом с Советским Союзом, отсюда снова возвращались сюда, в Мишкине, к родным надгробиям, к заставшему в постели отцу, к несчастной матери, которая, казалось, свыклась со своими бедами, как дерево со своей тенью.

— Рейзл! — воскликнул Аарон, сам удивляясь своей решительности. — Ты идешь?

Молчание.

— Рейзл!

Но жена как сквозь землю провалилась.

Реб Гедалье Банквечер молча пришивал к брюкам господина Тарайлы пуговицы, иголка дрожала в его царственной руке, как былинка на ветру. Изредка тесть поднимал голову, отрывался от шитья и пялился на своего непутевого зятя в белом саване — единственной одежде без карманов, — и мысли о бренности всего сущего омрачали его полководческое чело и душу. Не радовал реб Гедалье его зять, не радовал. Надо же было Рейзл втюриться в этого голодранца, в этого пустельгу! Могла же положить милостивый глаз на сына пекаря Берла Файна или на внука лесоторговца Маркуса Фрадкина. А ее, неразумную, потянуло к этому вралю, к этому баламуту, к этому дикарю с кладбища. Если бы он был хоть полным евреем — куда ни шло. Но какой же он еврей, если мать у него полька, а отец — сумасшедший? Да простит ему, Банквечеру, Вседержатель, но тот, у кого не все дома, не еврей, будь он трижды обрезанный; безумец он и есть безумец, к какому племени он ни принадлежал бы. В самом деле, чем этот Шахна отличается от живущего при костеле дурачка Станисловюкаса? Ничем. И тот не ведает, кому молится, и этот.

Единственное, что реб Гедалье признавал за своим зятем, это умение работать. Да что там умение — Аарон был просто волшеб-

— Смерть, — сказал Шахна.

В ту пору Аарон, если и задумывался над смертью, то не испытывал перед ней ни робости, ни почтения, ни страха. Смерть касалась всех, кроме него, но слова Шахны — может, даже не слова, а голос, каким они были сказаны, — проникли под кожу, отозвались в душе коротким обескураживающим эхом.

Рейзл все не приходила, и Аарон, облачившись в саван, стоял у портновского стола, как у амвона, и продолжал предаваться воспоминаниям.

Никто ему не мешал — ни отчаявшийся Гедалье Банквечер, который сам взялся за иголку и хлопотал над брюками господина Тарайлы, ни безмолвные, безголовые манекены с обрубленными руками, ни кошка, которая, как цветной вазончик, равнодушно наблюдала за главной местечковой улицей. На ней ничего особенного не происходило: русские танки стояли в девяти километрах от местечка — в Гайжюнай; на флагштоке почты спокойно развевался трехцветный флаг; приказчики лавочника Хацкеля Брегмана по прозвищу «Еврейские новости» выгружали из фургона свечи; приближалась середина сорокового года.

Вид Аарона в саване раздражал реб Гедалье Банквечера — ломает, лодырь, комедию, вместо того чтобы дело делать. Боже милостивый, задержи господина Тарайлу в Берлине хотя бы до будущего воскресенья! Кто, кто, а портные, Господи, тебя редко донимают своими просьбами. Помогите!

Банквечер закатил глаза к небу, потом перевел взгляд на Аарона. Что с него взять? Отец сумасшедший, и он сумасшедший. И внук будет сумасшедшенький. А если двойня?.. Если сразу двое сумасшедших?

— Сними с себя саван, — прогудел реб Гедалье. — Не могу смотреть на тебя.

Но Аарон и ухом не повел.

Он оглаживал саван и думал, что теперь, после смерти отца, ему никуда не уехать. Пожалуй, еще мать заартачится: начхать мне, мол, на твой Биробиджан, я что, евреев не видела? Евреи везде евреи — что в Литве, что в Америке, что в твоём хваленем Советском Союзе.

Мать ошибается. В Советском Союзе, о котором Аарону столько рассказывал Мейлах Блох, и солнце иначе светит, и ветер всегда не в лицо, а в спину дует, и люди живут душа в душу — одни песни поют, одну пищу едят. Нет там ни Банквечеров, ни таких, как Тарайла.

Мейлах Блох, правда, тамошней жизни только чуточку попробовал. Ну и что? В Америке тоже мало кто был, а спроси лю-

Одно лекарство — смерть! К черту! К черту такое лекарство! Пусть Шахна лучше болеет, спотыкается, падает!..

Желая ему помочь, Аарон целыми днями охотился за пестрыми бабочками, залетавшими на кладбище, зажимал их в горсти и мчался в избу, чтобы показать своему бедному родителю.

— Эта? — спрашивал он, поднося к глазам Шахны полуживую, еще трепетавшую на ладони бабочку.

Шахна долгим и тяжелым взглядом впивался в полевую красавицу и, пожевав толстыми губами-гуссницами, односложно отвечал:

— Нет.

Неудача только раззадоривала Аарона. Он выбегал из избы, выбирал в воздухе очередную жертву и снова, надеясь угодить отцу, приносил ее в горсти.

— Ты лучше бы, Аарончик, травы накопил, — говорила Данута. — Тебе его бабочку все равно не поймать. Она летает не в воздухе.

— А где?

Данута побарабанила пальцем в висок.

Аарон никак не мог представить себе, что это за бабочка, которая летает в человеческой голове, и не прекращал своей охоты. Ему хотелось доказать матери, себе и всему белу свету, что бабочка, из-за которой повредился в рассудке Шахна, порхает где-то поблизости: если не на кладбище, то на выгоне, если не на выгоне, то на чьем-то огороде. Когда-нибудь она залетит в окно, и он, счастливый и освобожденный от погони, подарит ее больному отцу. Отец возьмет у него из рук подарок, приложит, как примочку, ко лбу, и безумие, долгие годы испепелявшее его мозг, отступит не на день, не на два, как бывало, а навсегда.

Навсегда!

Потом, когда Аарон подрос, ловля бабочек не то наскучила ему, не то надоела. Он все реже приносил их в избу, стараясь не глядеть на Шахну, который, завидев его, по-прежнему твердил свое роковое:

— Не эта... не эта... не эта!

Однажды, разглядывая нежные, усыпанные как будто корицей крылышки пленного мотылька, отец твердо и внятно сказал:

— Спасибо, Аарон... Ты добрый.

Его серое, затянутое клочковатыми тучками щетины лицо на миг ожило, заулыбалось, засветилось, но тут же погасло.

— Ты добрый, Аарон. А она добрей.

— Мама?

Пока не приготовит обед, ее из кухни не выцарапаешь, злился Аарон.

Смерть Шахны против ожидания не вызвала в его душе того отклика, который обычно рождает уход близкого человека. Нельзя сказать, что Аарон не любил его. Любил, но какой-то необязательной и прерывистой любовью, какой любят неодушевленный предмет — дерево, дарящее в зной желанную прохладу, или реку, не только поящую, но и с детства втекающую в сердце и плещущую в нем до гробовой доски.

Он испытывал к Шахне чувство необременительной благодарности за то, что тот дал ему жизнь — пусть полусиротскую, пусть неустроенную, что как мог пытался ее скрасить, наполнить смутно угадываемым смыслом. В золе безумия нет-нет да начинали сверкать обжигающие угли печали и мудрости, и тогда Аарон, как зачарованный, смотрел на Шахну; тогда отец казался ему не только самым прекрасным и добрым человеком на свете, но и самым красивым, и даже порча рассудка не столько унижала его, а, наоборот, приподнимала и возвышала над серостью окружающей действительности, над всеми живыми и мертвыми, которые оттачивали своей одинаковостью.

Правда, были дни, когда Аарон стыдился его безумия, его прошлого — как-никак жандармский прихвостень, толмач охранки. Острое чувство стыда не умалялось ни жалостью, ни благодарностью за науку.

Аарон частенько в испуге забирался на чердак или прятался в погреб, чтобы не видеть, как беспомощный Шахна рыскает по кладбищу в поисках своей выдуманной бабочки. Мать, бывало, бежит за ним следом и кричит: «Остановись! Остановись!». А он мчится сломя голову по бурелому, по надгробным камням, спотыкается, падает, и кровь, густая, красная, как закат, кровь течет у него по лицу, словно живица по корявому сосновому стволу. Мать наклоняется над ним, вытирает большим белым полотенцем. А на завтра все сначала: бег, кровь, беспамятство...

Аарон слышал, как доктор Вульф Клебанский, сгорбленный, в выпуклых очках, делавших его похожим на пучеглазую луговую лягушку, тот самый Вульф Клебанский, который продал свой дом и уехал в прошлом году в Америку, сказал опечаленной матери:

— Как это, сударыня, ни прискобно, но медицина знает от расстройства рассудка только одно лекарство — смерть.

Глядя на седого, взлохмаченного Шахну, Аарон чувствовал, как расширяется его маленькое, не привыкшее к несчастьям сердце, как в него вливается необозримая жалость не только к больному отцу, но и ко всему живому.

дней? Посидишь шиве¹, погорюешь и... мы сошьем к пятнадцатому костюму... Ты же... как его, богоборец... ни в рай, ни в ад не веришь... Я тебе заплачу...

— За что?

— За то, что ты вместо семи дней будешь сидеть шиве два дня.

— Нет, — отрезал Аарон.

— Тогда у меня есть другой план, — оживился реб Гедалье. — Будь ты столяр или там кузнец, ничего бы не вышло... я бы тебя и просить не смел... Но портному ведь не кувалдой по наковальне стучать. Портной может работать всюду...

— Вы хотите, чтобы я шил... рядом с покойником? — возмутился зять.

— Да с твоим покойником ничего не случится. От иголки никакого вреда ни живому, ни мертвому... Пойми: я дал господину Тарайле слово. Господин Тарайла наш депутат.

— Ваш депутат, — поправил его Аарон.

— Он собирается выдвинуть правительству требование.

— Какое требование?

— Чтобы в Мишкине построили водопровод.

— Нам нужна справедливость!

— Лучше, Аарончик, справедливость с водопроводом, чем справедливость без водопровода.

Но Аарон и слушать не хотел. Депутат, депутат!.. Скоро таким депутатам дадут коленкой под зад! Реб Гедалье просто не желает видеть, что происходит вокруг. В Литве Красная Армия. А там, где Красная Армия, трудящиеся будут править поминки по всем буржуям и их задолizam.

Аарон разложил на столе купленный у Хацкеля Брегмана холст и, раскроив его, наскоро обметал саван для Шахны.

— Рейзл! — крикнул он, закончив работу. — Я ухожу... Вернусь через неделю!..

Аарон старался не водить жену на кладбище - ни к чему нагонять на нее хандру, приучать к мысли о смерти, но сегодня, в день кончины Шахны, не мог прийти туда один. Мама и Иаков не поймут, и раздор между ними и преуспевающим Гедалье Банквечером еще более углубится.

— Рейзл! — позвал Аарон еще раз и примерил на себя саван.

Саван будет покойнику впору. Шахна почти одинакового с ним роста. Аарон, правда, чуть выше, но, когда они стоят рядом, не различишь, где сын, где отец.

Рейзл, конечно, слышала, что ее зовут, но не показывалась: была, как всегда, занята на кухне, готовила обед для отца, сестры, мужа и старшего подмастерья Юозаса.

¹ Шиве — семидневный обряд оплакивания покойного.

зволено не выполнить своего обещания, а портной, хоть лопни, должен сделать то, что обещал. И обязательно в срок — ни днем раньше, ни днем позже. Обманутый Богом богомолец все равно придет к раввину, а обидевшийся клиент второй раз к тому же портному не придет — хоть златые горы ему посули. Не придет.

Реб Гедалье свято обещал бургомистру Мишкине господину Тарайле сшить до пятнадцатого числа костюм для сейма. Господин Тарайла должен председательствовать на одном заседании — и обязательно в обнове. А пока не то что пиджак — брюки не готовы. Будь он, Гедалье Банквечер, президентом республики, он бы отменил заседание или перенес его на неделю вперед. Войны, слава Богу, нет: правительство держится. Что за спешка?

Одно счастье: господин Тарайла выехал по делу за границу, в Германию. Может, Бог даст, задержится в Берлине.

Ох, не вовремя умер сват Шахна, не вовремя. Мог бы еще чуточку продержаться. Глядишь, реб Гедалье и сшил бы костюм к сроку. Тарайла может на худой конец поехать в Каунас в старом костюме — в том, бежевом, который реб Гедалье сшил ему позапрошлым летом. Если хочешь сделать карьеру, говорит господин Тарайла, надо одеваться как Риббентроп или Иден.

Реб Гедалье не знает, кто такие Риббентроп и Иден. Аарон, тот знаком со всеми. Надо будет при случае спросить.

Что же делать, Господи?

Шахна, отец Аарона, — сумасшедший. Но ведь и сумасшедший — отец.

Теперь Аарон семь дней на работу не выйдет. Дай Бог, чтобы только семь, а семью раз семь? Другого можно было бы уломать, но его... Кто знает, что он через минуту выкинет.

Реб Гедалье Банквечер посулил бы Аарону деньги. Все деньги за костюм. Шутка сказать — двадцать пять литов. Но разве он возьмет, босяк?

Не возьмет!

Послушать зятя, деньги — величайшее зло на белом свете! Ве-ли-чай-шее!

Отец небесный! Побольше бы нам такого зла!

А что если подъехать к нему окольным путем — через Рейзл. Ради Рейзл он готов на все. Но Рейзл не станет его уговаривать: Аарон имеет право помянуть отца так, как водится у всех порядочных людей. Шахна Дудак был сумасшедший, но самый честный человек в местечке.

— Послушай, — взмолился Банквечер. — Что и говорить, горе у тебя, горе. Но, может, Аарон, тебе для поминок хватит двух

от повторяемости бесхитростного обряда захоронения — не столько потрясала или внушала ужас, сколько навевала горькую и нестерпимую скуку.

Еще задолго до того, как Аарон поступил в ученики к Гедалье Банквечеру, лучшему портному во всей Жемайтии, он дважды порывался бежать из отчего дома — хотя название «отчий дом» меньше всего подходило к месту вечного упокоения — сперва с плотогонами, потом со скитальцами цыганами. С плотовщиками он добрался почти до временной столицы Литвы — Каунаса, а с цыганами дошел до Расейняй и, может, стал бы таким же, как они, кочевником, если бы не их причудливый, ни на какой другой не похожий язык и неистребимая склонность к воровству.

Аарона не раз охватывало странное, морозное волнение при мысли, что он родился не там, где все, а на кладбище, среди мертвых. Его постоянно преследовало ощущение, что он и сам долго не протянет или в один прекрасный день спятит, как Шахна. С самого рождения смерть пометила Аарона, как лошадь-однолетку, своим несмываемым клеймом, и потому он с самого детства, с тех пор, как себя помнит, мечтал об одном: во что бы то ни стало смыть его. Пусть брат Иаков орудует лопатой, роет могилы, обмывает и обряжает! Пусть брат Иаков, как дед Эфраим, таскает валуны, высекает на них древнееврейские письмена, изображает ангелов с подбитыми крыльями или львов, держащих в цепких когтях чаши мудрости и любви. Он, Аарон, подыщет для себя другую работу, может, она и не будет такой богоугодной, как труд Иакова, но зато полегче и почище. Он пойдет в парикмахеры или в шsrники, в гончары или портные — только не в гробокопатели!

— Отец умер, — вернувшись, сказал Аарон своему тестю Гедалье Банквечеру.

Любая весть о смерти озадачивала реб Гедалье, приводила в детский, неизбывный трепет, ибо, как он веровал, приближала и его собственную кончину. А Банквечеру хотелось жить вечно. Не потому, что ему уж так нравилось жить, а потому, что хорошему портному одной жизни мало.

— Светлый ему рай! — пробормотал реб Гедалье, искренне расстроившись и стараясь как можно скорей вытеснить из памяти эту весть.

Расстроился, правда, реб Гедалье Банквечер не только из-за кончины своего свата.

Была для расстройства более веская причина.

Дело в том, что Банквечер был человеком слова. Дал слово — сдержит, даже если придется погибнуть. Лгуном, уверял реб Гедалье, может быть кто угодно, но только не портной. Господу по-

НЕ ОТВРАТИ ЛИЦА ОТ СМЕРТИ

(главы из романа)

ААРОН

О смерти Шахны (Аарон называл его не отцом, а, как мать, по имени) он узнал совершенно случайно.

Лавочник Хацкель Брегман по прозвищу Еврейские Новости (Аарон позавчера купил у него два с половиной метра холста на саван) остановил его посреди улицы и с дружелюбной наглостью, как только умеют торговцы и полицейские, спросил: когда похороны? Брат, мол, Иаков, за поминальными свечами приходил.

В самом деле, откуда ему было знать, что Шахна отдал Богу душу. С тех пор, как Аарон женился на Рейзл, он на кладбище почти не показывался, стараясь навсегда забыть этот спигород, как называла погост мама, эти сосны, загаженные вороньим пометом, эту шершавую траву, насквозь пропахшую тленом, эти каменные, безмолвные надгробия со стертými, выцветшими надписями, эту роковую тишину, только изредка нарушаемую стоном и плачем, эту избу-развалюху, которая досталась им в наследство от деда Эфраима и в которой он, Аарон, родился и до своей бармицвы — совершеннолетия — жил вместе с осторожными, ткавшими, казалось, не паутину, а само время пауками, с тихо шуршавшими в стенах жучками-древоточцами, с чуткими непривередливыми мышами в подполье и с ленивой самовлюбленной кошкой, усы которой походили на разучившуюся летать стрекозу. Уже в ту пору Аарон воспринимал эту жизнь как невсамделишную, придуманную — она все время ускользала от него, пряталась в щели и норы, уходила под землю. Даже смерть — то ли от ее обыденности, то ли

ПРОЗА

Григорий КАНОВИЧ
Анатолий АЛЕКСИН

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Михаил КОЗАКОВ
Растрепанный рассказ
90

Александр ГОЛЬДШТЕЙН
Последний патриций
131

МЕМОРИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Леонид ГОМБЕРГ
Добрый человек из Ришон-Лециона
(предисловие)
138

Исаак САВРАНСКИЙ
Карл Ясперс и иудаизм
140

ЦОМЕТ — ПЕРЕКРЕСТОК

Фотоальбом
*

Дорога по бездорожью
* *

СОДЕРЖАНИЕ

Израиль

ПРОЗА

Григорий КАНОВИЧ

Не отвори лица от смерти (главы из романа)

6

«Мы привезли с собой будущее»

(встреча Григория Кановича с читателями)

51

Анатолий АЛЕКСИН

Гарант. Рассказ

55

ПОЭЗИЯ

Илья БОКШТЕЙН

Не соразмерен я своей природе

64

Светлана АКСЕНОВА

Отчего умирает Рахель

72

Зинаида ПАЛВАНОВА

Я остаюсь в Тель-Авиве

79

Сара ПОГРЕБ

Скрипка нараспах

84

Альманах «Цомет — Перекресток» издается
совместно независимыми литераторами Израиля и России.
Произведения печатаются в авторской редакции.
Авторские права на произведения, опубликованные в альманахе,
принадлежат авторам.
Часть тиража этого выпуска распространяется в Израиле, часть — в России.



Издание альманаха финансирует
ЧАСТНАЯ ФИРМА С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИЛЬЯ КОЛЕРОВ И К^О»

Адрес фирмы: 117588, Москва, Новоясеневский просп.,
д. 13, корп. 2. Телефон 425-90-39.

П 27 Цомет—Перекресток: Литературный альманах. Вып. 2. —
Тель-Авив — Москва, 1995. — 352 с.

ISBN 5-86225-136-7

Во второй выпуск альманаха «ЦОМЕТ—ПЕРЕКРЕСТОК» вошли произведения московских литераторов, ныне живущих в Москве и тех, кто по тем или иным причинам покинул Россию, избрав местом проживания Израиль. Это проза, поэзия, публицистика, воспоминания, написанные в разное время и по разным поводам. Есть в этом выпуске альманаха новая рубрика — «Мемориальные страницы».

П $\frac{4702010000-06}{335(03) - 95}$ Без объявл.

ББК 84 (2 Рос-рус) 6

«ЦОМЕТ — ПЕРЕКРЕСТОК»

Литературный альманах

Выпуск второй

Редактор В.Е. Полишук
Технический редактор Т.С. Казовская
Компьютерная верстка О.Н. Емельяновой

Сдано в набор 14.11.94. Подписано к печати 09.02.95.
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,46. Уч.-изд. л. 20. Тираж 2000 экз.

Издательство «ИНФРА-М», 127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.
Типография «Полимаг», 127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.

Ц О М Е Т

ПЕРЕКРЕСТОК

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

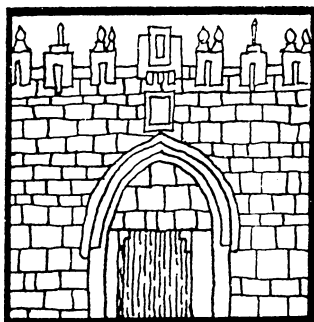
ВЫПУСК ВТОРОЙ

Главный редактор
Леонид Гомберг (Израиль)

Соредактор
Рада Полищук (Россия)

Составители выпуска:
Марк Котлярский (Израиль)
Рада Полищук

Художник:
Марат Закиров (Россия)



Тель-Авив Москва
5755 1995

066 426709 426709 410066 426709 410066 426709 410066 426709 410066 426709 410066



КОМЕТ

ПЕРЕКРЕСТОК

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

ВЫПУСК ВТОРОЙ

